

Вячеслав КАРПЕНКО

ПРИДОРОЖНИК



Калининградский ПЕН-центр, 2009 г.

*Ночью все кошки серы,
И красное видится — черным.
Течет грязевым селем
Кровь по вскрытым аортам.*

*Дымится она и густеет,
И в землю уходит усталость.
И всходит то, что посеешь,
Но вовсе не то, что мечталось...*

ISBN 5-901194-29-2

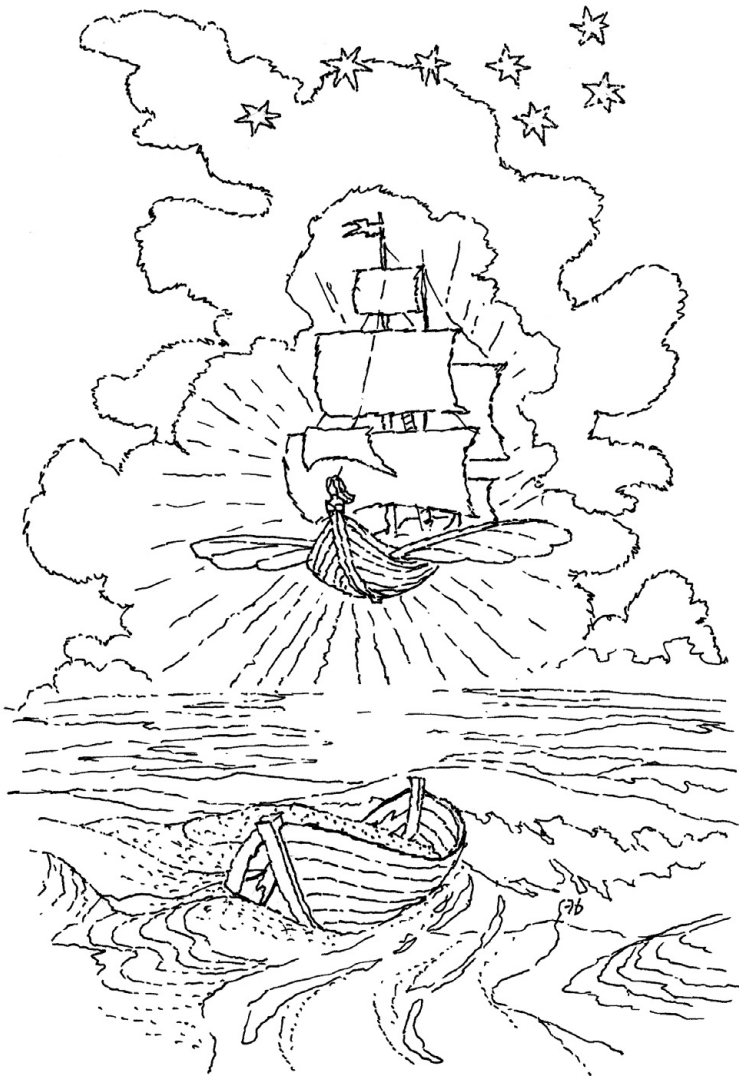
УДК 82-822

ББК 84 (2РОС)

В этот сборник вошли повести и рассказы известного российского писателя Вячеслава Карпенко, созданные в разные годы. Некоторые из них прежде не публиковались. Некоторые из уже известных произведений даны в новой авторской редакции. Впервые в сборник включены стихотворения автора.

© В.М. Карпенко, 2009 г.

© Калининградский ПЕН-центр, 2009 г.



СЛЕДЫ НА ВОДЕ

СВОЙ ПАРЕНЬ

МОТОР ревел надсадно, когда колёса влетали в заснеженную колдобину. Совсем недавно утихла пурга, прорвавшая стену леса, который тесно подступал к дороге по обе стороны. Тогда они выходили из кабины «лендлизового» «Студебеккера» и лопатами отыскивали колею.

...Два человека, замученных двухсоткилометровой дорогой, сжимаемых морозом и съёжившимся лесом. Единственной их опорой в этом замершем за стёклами мире оставался луч фары да пропахшая бензином теплота кабины. Вторая фара была разбита при погрузке.

Они везли обсадные трубы для буровой бригады со станции Княжпогоста, продрогшего нервного узла «железки» Коми-республики. Трубы необходимо доставить срочно: прервать хоть на час работы на буровой означало гибель скважины – зима...

Оставалось двенадцать часов и сто двадцать километров пути. И заносы на дороге подстерегали машину всё чаще. И мотор всё сильнее задыхался в очередном усилии, пока не закипела вода в радиаторе. Приходится остановиться и развести костёр, чтобы натопить снегу. Младший, почти мальчишка, попавший на север из романтического упрямства, неловко оскользнулся, наливая воду в парившее отверстие, и обернул ведро на себя. И теперь надо



вновь набивать снегом прокопченное ведро, а сорокоградусный мороз сразу заковал валенки, ледяной коркой прихватил ватные брюки.

Через несколько километров по новой пришлось отгрести из-под колёс снег. Ноги его сжимало обручем, кружилась голова, и тянуло ко сну, но он кусал губы и ни за что не признался бы в своей слабости. Потом вроде и отпустило, и на следующем перегоне младший даже закончил рассказывать о белом безмолвии, пленившем троих путников, о борьбе и победе, о тайной нежности мужской дружбы. И о волках, которые бывают благороднее человека - не замечены в каннибализме.

- Смотри-ка ты, - покачивал головой водитель, не отрывая глаз от дороги. - Здорово, видать, знал этот Лондон нашу жизнь. Налей... и себе!

Спирт обжигал горло, они открывали двери, чтобы зачерпнуть снега. «Считай, что мороженое» - советовал водитель, с усмешкой кося взгляд на молодого.

- Джек Лондон - это писатель, а всё прошел сам: парнишка «на подхвате», газетчик, матрос, золотоискатель, кажется, даже пират...

- Интересный, стало быть, парень. Ты-то как?.. А сейчас он где?

- Умер. Сорок лет уже...

- Свой был... Пошли копать, а то мотор сорвём начисто.

И вновь они копали. И ехали дальше. И опять отбрасывали снег, освобождая вязнувшие колёса. Пока не показались огни Визинги - небольшого села на берегу северной реки Сысолы, теперь закованной метровым панцирем льда.

Когда младшему разрежали валенки, чтобы снять их с опухших ног, он закричал. Скрипучим криком, вырвавшемся наружу и возвращающим сознание.

На следующий день сорокалетний водитель протиснулся в наиндевелую дверь сельского медпункта.



- Вот: принёс, - он добродушно выдохнул спирто-
во-табачный пар. – Может, быстрее время-то уйдёт.
Ты здесь поправляйся, ничего...

Это была книга Джека Лондона «Смок Белью». И
– бутылка спирта, питьевого.



НАСТРОЕНИЕ

...МЕНЯ всегда раздражали белые ночи. Белые ночи и трамваи.

Видимо, потому что они отрицали меня. Вместе с тобой. Отрицали... и уходили от меня. Всегда – от меня. Белые ночи ОТ меня. ОТ меня – трамваи. Они и тебя скрывали или увозили – ОТ...

От... от... от... всегда – от. Только – ОТ.

А я ждал – КО мне... И ты знала это.

Я тоже пробовал их не замечать.

Поднимал голову, поворачивался спиной. Просто – закрывал глаза...

Но напускная гордыня оборачивалась бессонницей. Или – сбитыми ногами, гудящими от пройденных километров. Поражением, нет... тоской.

...Есть на Севере болезнь. МЕРЯЧКА – МОРОКИ – так её называют северные люди.

Болезнь снегов и света. Болезнь... Красоты! Болезнь слабости и одиночества.

Неприяття Природой – Человека. Непрощения Блудного Сына.

Здесь человек живёт день. Месяц. Несколько месяцев.

Над ним – дёргается Небо. Над ним – изгибается, колышется, взрывается и ревёт Небо. Ревёт, бушует Свет. Свет... Свет и Цвет. Краски. Свето-краски!

Зелёные, розовые, красные, оранжевые, голу-



бые. Фиолетовые, оранжевые. Оранжевые, как абрикос – на исчерно-синем холоде ночи. Оранжевые. ОРАНЖЕ...

- Потушите Небо! – выскакивает в снег и кричит человек. Человечек – под колышущимся, раскалённым морозом небом. – По-отушите небо... Потуши...туши...

... Ушёл, наверное, последний трамвай?

Посмотри: под ногами теплятся каштаны. Влажные каштаны, за коричневым их глянцем – сочувствие, там жизнь – за глянцево-влажной коричневой кожей.

Ты набираешь пригоршни каштанов. Матово-влажных. Жаждущих тепла и земли. Жаждущих своего слияния, возвращения в её, Земли, лоно.

И ты просыпаешься ночью, и тянешься к их сочувственному теплу... Ты уверена, что можно вернуть в себя это тепло – и ничем не отвечать?

К утру каштаны засыхают. Чего, кажется, не доставало им? – Немногого, как и нам: разделённости их одиночества. Земли. Слияния...

Ещё ползает белая ночь. Уже взвизгнули трамваи.
- Потуши... ПО-ТУ-ШШШИ-ТЕ-НЕ-БО!..



ДОРОГИ

МНЕ дважды повезло. Мне просто удивительно повезло. Я приехал в этот город. Сумел приехать, не мог не приехать. А это было трудно сделать - приехать. Трудно и – необходимо. Необходимо, пусть и трудно. Необходимое – всегда трудно.

Но я приехал. Я не мог не приехать.

Впрочем, не приехал – прилетел, хоть это и ничего не меняет. Я прилетел и вошёл в телефонную будку.

- Не могу ли я услы...

- Ох, это ведь ты... опять – ты! Ну конечно же – ты... Так можно ведь зайкой стать – не ждала...

Ну конечно же – я. Приехал, прилетел. Примчался. Заявился, да? Да. Да-да. Прилетел в эту будку. Телефонную. Теперь все будки – мои.

Ты только говори. Всё, что угодно – говори. Молча – говори.

Да. Да-да-да.... Чего я хочу? Действительно, чего я хочу...

Я хочу совсем немногого.

Совсем необходимого. Хочу так много. Счастья увиде... «Алло! Алло.. Ал...»

Гудки.

Короткие.

Короткие. Как – свидание. Как – жизнь.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

*«Девушка, которая с первым лучом солнца
положит на могилу Бируте цветок,
найдёт его вечером в руках суженого...»
(...в Паланге)*

«АЛЛО, ты сейчас выйдешь, и мы поедем... мы уедем... совсем уедем!»

- Но...ты?! Здравствуй, для начала! Откуда...

«Конечно – здравствуй. ЗДРАВСТВУЙ! Я жду тебя, и она ждёт – Бируте. Ты ведь не забыла её?»

- Забыла-а?! Ты...

...Весталке нельзя любить. Только для Бога горит твой костёр. Ты забылась, Бируте? Ты не можешь – не должна – смотреть в глаза смертному. Даже – князю. Твоему – Князю.

Бойся, Бируте, страшна месть за твою любовь. Не Бога месть, нет – что Богу до маленькой весталки, закланной людьми ему в невесты. Закланной людьми, чтобы откупиться за свои грехи. Страшна месть оскорблённого шептания, обиженной надежды на спасение. Чувствуешь, какие взгляды змеятся по твоим плечам?

Оглянись: слабеет огонь, который тебя обрекли поддерживать. Вернись – и опустятся руки, уже поднимающие камни в пыли собственных маленьких страстей. Вернись... забудь князя и заглуши биение своего сердца, успокой дыхание, так вызывающе



обостряющее грудь. Вернись, забудь, тебе, как прежде, будет сытно и покойно – бесстрастно и ровноладно. Вернись – это просвистел первый камень... его скоро назовут Громом, этот камень. Так удобно – взвалить на богов и гром от них...

Шумит в соснах прибой. Что-то шепчут ветру дюны. Тает под луною выплеснутой морем янтарь...

«Послушай, зачем ты встаёшь так рано? Где нашла ты цветок такой поздней осенью? Вернись: ты заклана, по плечам твоим уже змеятся взгляды оскоплённых кастрюль. Вернись – тянутся руки за камнем, обёрнутым в сплетню...

- Алло, я ведь могу... могу поднять этот цветок!
Тает поднятый тобою янтарь.



ПОЧЁМ НЫНЧЕ ТОТ ПУД СОЛИ?..

Повесть в рассказах

- А море ещё солоней, чем я думал...

*«Обнаружили баркас белого цвета,
Без хода, с самодельным парусом».*
(Из радиограммы с борта
поискового самолёта)

...- СТРАШНО мне, Дима, никогда я, видно не привыкну. Возвращайся быстрее... вернёшься – может, уедем отсюда. Уедем? Ты механик, везде работу найдёшь...

Они стояли у самой воды, по щиколотку в ползущем, прогретом с утра песке. Невдалеке, у хлипкого дощатого причала покачивался баркас. Солнце отражалось в его недавно крашенных бортах. На баркасе всё было готово к отходу. Бригадир, возившийся на борту, разогнул спину и махнул рукой.

- Пошли, Дмитрий! Прособирались, последние нынче отваливаем.

- Не верю я ему, морю этому...

Проходов провел рукой по щеке жены, успокаивая.

- Зря ты... Иду-иду, Николаич! Зря ты, Валюха, в



море и так горькой соли много. Привыкай уж, к вечеру ведь вернемся. Вон какая погода отличная, далась бы рыба!

Баркас медленно отвалил. Дмитрий прибавил оборотов, и берег стал удаляться быстрее.

– Стоит твоя-то, не уходит, – кивнул бригадир. – Не обвыкнет все никак, моя вот меня с вечера к черту на рога послала и носу на прощанье не высунула, попрощалась за двадцать лет... Да тоже – вид один делает!.. Так, говоришь, Мить, квадрат вчера узнал?

– Корешок у меня на тральце штурманит: рассказывал, что там косяк тресковый жирует, они на пути засекли. Далековато...

– А нам чего – далековато, с мотором чать.

Мерно постукивал мотор. Оба матроса задремали – видно, вчера в соседний колхоз по девкам бегали. Николаич курил и в такт мыслям своим и ритму двигателя сплевывал за борт.

Проходов думал о том, что только в рейсе и можно помолчать: самое мужское дело – молчание о своем... И еще думал, что пора бы переходить на траулер, вон какие на днях еще два красавца-СРТ¹ пришли в управление. Поработал два года – хватит, а то и забудешь все, чему в мореходке учился. Вон, постукивает себе, у этого движка и мотористу скучно. Да-а, должна же Валюха когда-то привыкнуть к его рейсам... Если на траулере – это по три-четыре месяца, а здесь из-за одного дня в рев ударяется. Ребенок нужен, вдвоем бы и ждали. Привык же он, коренной смоляк, к Балтике, и она ничего – притерпится.

А лов удался. Не соврал ему штурман. Косяк попался плотный, баркас потихоньку оседал под треской. Сначала брали подряд. Дмитрий посмотрел на возбужденное лицо бригадира, шутливо крикнул в самое ухо: «Всю Балтику на берег вывернуть хочешь?..»

¹ СРТ – средний рыболовный траулер.



- Только крупняк беру!

И не заметили, как с вечера приползли от горизонта тучи. Как налетел ветер, который, впрочем, сразу и ослаб. Лишь сильная зыбь качала баркас, да изредка набежит волна покруче. Но какой же рыбак оставит сети за бортом, да еще с рыбой.

- Выберем и – к дому, – Николаич поторапливал свою маленькую бригаду, уже предвкушая, как дивятся на берегу их удаче.

Забилась последняя треска, засыпая на борту, как проснулся шторм. Море рывкнуло и вцепилось в баркас. Ветер сорвал пену и мокрыми дробинами швырнул в лицо капли.

Дмитрий вывел регулятор оборотов двигателя до предела. Высчитал, что часа полтора ветер будет помощником, а потом придется повернуть, и волны начнут лупить по скулам.

- Проскочим, ничего! – крикнул он бригадиру, удерживающему руль.

А ветер шалел все больше. Волна догоняла суденышко, проносила его на себе. Игра эта становилась опасной: оголялся винт, и древний двигатель нервно увеличивал обороты. Дмитрий настороженно прислушивался к выхлопу и вздохам во втором цилиндре. Дотянуть бы...

До берега оставалось не более часа, когда двигатель затрясло, словно в коклюше. Вот тебе – чтоб не было скучно, глазил-таки... Дмитрий резко перекрыл топливо.

Несмотря на ветер, на баркасе стало так тихо, что бригадир схватился за грудь – там громко шел будильник, его Николаич всегда брал с собой в море. И все услышали это радостное тиканье, радостное и важное, отсутствующее – как воспоминание.

Волна, примеряясь, хлопнула по правому борту около кормы. И, поняв беспомощность суденышка, понесла его в сторону. Заиграла, закружила баркас так, что и не понять было – куда несет...



- Парус, парус ставь... у меня одеяло... и плащ-палатку...

- Рыбу – за борт! Ах, ты черт, рыбу-у...

...Третьи сутки ярится Балтика.

Третьи сутки притихший поселок Пионерский всматривается в набухший свинцовый горизонт. Сначала невернувшийся баркас искали СРТ, теперь квадрат за квадратом ощупывает самолет, а траулеры настроили рации на его волну.

Валюху забрала к себе жена бригадира. Ольга Трофимовна только молча гладила плечо молодой женщины, она не теряла надежды так быстро, ей и на Каспии приходилось ждать, когда они с Николаичем там жили... За двадцать лет сколько слез выплакано, а девчонка – что ж, пусть поплачет, слеза бабья тяжесть с собой уносит...

А рыбаки третьи сутки сопротивлялись Балтике, которая все пыталась их подмять. И знали, что их ищут: иногда слышали самолет. Он пролетал, и становилось страшнее – умирать сызнова не хотелось.

Дмитрий Проходов чувствовал себя виноватым и помал пальцы в остывшем двигателе. И, выглянув, снова прятался под плащ-палаткой, которой он обтянул движок. Там было страшно темно, и громче била волна. Но хуже было видеть сведенные в кулак лица, обращаемые к нему взгляды – как же, как, ну?!. Может быть, они и не винили его, но смотреть на них он не мог.

Они сорвали голоса и уже потеряли силы кричать вновь пролетающему самолету, но все же сипели, словно там их могли услышать. А потом – неожиданно близко и огромно, хотя он вовсе и не был таким большим, – увидели траулер и его черный борт над собой, и людей в зюйдвестках на этом борту. Люди кричали непонятно, не по-русски, но разве это имело какое-то значение – это все равно были люди, датчане или финны или кто там, они были свои – моряки...



...– Реви, девка, реви – легче будет. Дитё бы вам завести, да это дело наживное... вот вернутся. Реви: вернутся, тогда никак солонить нельзя, – успокаивала Ольга Трофимовна женщину.

Резко рванул по комнате сквозняк. Заорал с порога мальчишка, старший сын соседей Санька: «Там траулер подходит, тетя Оля! И баркас на буксире...»

- Вот видишь... – всхлипнула Ольга Трофимовна.
– Ждешь их, чертей мокрых...

Траулер уже швартовался.

Рыбаки с баркаса, худые и переодетые в робы да свитера спасателей, кутались на палубе в полушубки. Дмитрий увидел жену.

И не забыть ему вот этих женских опрокинутых глаз, расплавленных обрадованным горем. А бригадир степенно обнимал жену, и Ольга Трофимовна, словно ничего и не случилось, и они только сегодня расставались, что-то бурчала про щетину и пропахлость табачищем.

- Ди-има-а! Уедем, сразу уедем, – шепотом кричала Валюха, а Дмитрий поправлял ей платок и согласно кивал, и улыбался, потому что, когда их везли домой, облазил траулер и в машинном отделении посмотрел на работу, и теперь уж точно перейдет на большое судно, он и с Николаичем договорился – поддержит его уход перед начальством. На новый траулер порекомендует, у него везде друзья...

А будильник тогда бригадир выбросил за борт.

И придется теперь покупать новый.

2.

*«...Мозоли, как шевроны.
Шевроны, как мозоли.
По-флотски макароны
Я сдобрил крепкой со-
лью.
Та соль.»*



*Как в парусах сырых,
Во мне еще живет,
Во-первых.
Ну, а во-вторых,—
до свадьбы заживет...»
(С. С и м к и н,
«Четвертое море»)*

...НАКОНЕЦ-то последняя сетка из ста двадцати сбросила на борт три рыбины. Размалеванный концевой буй взобрался на борт и, описав плавную дугу в воздухе, солидно утвердился в кругу собратьев.

- Ша-ба-аш!

На палубе внезапно наступившую тишину закреплял последними ударами молоток бондаря. Матросы доставали влажные сигареты, с удовольствием вытягивали ноги в сапогах, оклеенных чешуей по самые бедра. Лениво переругивались.

- Рубка-а-а! Воду на палубу-у!

Слышится перезвон телеграфа, затем мерные выхлопы двигателя. Позвонили на обед. В салоне висит пар и сдобные проперченные шутки.

Удерживая горячую миску, осторожно всплывает радист. У каждого к нему дело: он на земле одним ухом стоит.

- Володя, куда идем? Картину махать?

- Тебе бы только киношку... Число сегодня какое? – тридцать первое! К «семьдесят восьмому» за посылкой идем. Новый год встретим что надо: даже елку шлют с базы.

- А почта?

- Эх, и гульнем...

- Слышь, маркони, а далеко до семьдесят восьмого?

Море спокойно. К траулеру, что шел от базы, приблизились вплотную. Взяли посылку – ящик здоровый оказался, почту взяли... Покричали дружкам-знакомым.



Потом отбежали с милю, в дрейф легли.

...Пашка-кок персональную посылку получил. Давно он ходит, новый год и то в третий раз здесь встречается, знает жена, что надо в праздник. И письма – тоже есть. Они и в будни здесь нужны – письма... Повар Пашка отличный, даже шашлык порой преподносит. Честь-честью, на палочке. А в море после работы еда – дело большое, с пустым пузом много не наработаешь. Любят его ребята – понимают заботу.

На Новый год Пашка сюрприз готовит, запирается на камбузе, никого не пускает. Камбузник с важной физией ходит, салажонок!

Такой уж это праздник – Новый год – семейный праздник: всех он волнует, каждый с чем-то своим к нему приходит, каждый свои года прикидывает, каждому – по своему дорог... И подготовиться хочется получше: хоть и далеко от берегажданного, а от родного обычая отрываться не резон. Вот и роются в вещах: надеть что получше; баньку принять, побриться; письма прежние поперебирать. Радиограмму тоже придумать позаковыристей – чтоб на берегу грусть смягчить, чтоб вроде рядом посидеть.

Что ни говори, а дел много перед праздником. Вот еще посылку разобрать, шуткам поулыбаться, елочку нарядить...

Вечер подошел незаметно. Побегали самостоятельно – рыбу поискали, потом на пеленг разведчиков вышли, всем отрядом в один район вышли, где рыбу засекали. Вот уж и сети выметали. Через час в Москве новый год. Потом ещё через час – дома – в Калининграде. А здесь, у Ян-Майена, двадцать ноль-ноль. Трижды встречать можно!

Елочку нарядили перед вахтой. Маленькая, искусственная, а все приятно: по-домашнему вроде. Судов вокруг – город огромный. И везде, на каждом судне, сейчас так же: собрались в салоне и ждут.

Ждут.



Розданы радиogramмы.

Каждый о своем думает, свое вспоминает.

А ждут вместе. Как и работают.

Кружка перед каждым стоит, а в кружке той - смесь. В посылке: и шампанское, и вино, и водка – понемногу всего. Даже коньяка бутылка. Не делиться же – в чайник все, после разберемся!

Ждут...

В приемнике – как в груди – часы отбивают. Капитан встает.

За что первый тост?

За берег, конечно. И за родных-близких, как по радио говорят. И за землю-родину, что далеко, а поди ж ты -- вот она, рядом. И еще многое вмещает этот один молчаливый рыбацкий тост:

- Будем...

Над флотом огни взвиваются, пускают ракеты. Над одним траулером больше, над другим меньше: от третьего штурмана зависит, какой позапасливее на берегу да не жмотный – целый салют устраивает. Красиво! И радостно. И чуточку грустно...

Только Пашка-кок свой обещанный «сюрприз» внес, как вахтенный зааврапил. Буи, кричит, притонули. Это уж столько рыбы в сетях, не доглядишь – весь порядок на дно уйдет. Не хотелось бы Пашку обидеть, а теперь - какой уж здесь «Наполеон»! А старался ведь человек... Праздник праздником, а в море первое дело – работа. А то так напразднуешься, что потом на берегу у кассы людям в глаза стыдно смотреть будет. Кок не первый год ходит, он тоже понимает.

В одиннадцать начали выборку, не стала ждать рыба утра. Дед Мороз одарить захотел, видно. С первых сеток килограммов до двести пошло. Потом за триста перевалило. Шуба такая через рол тянется, что страшно становится. «Шубой» у нас рыбу в сети называют, когда из-за нее и сетки самой не видно. А сеток еще до ста за бортом.



...Вот и механиков на палубу выперли – мало рук на такую рыбку! Теперь капитан у штурвала стоит, стар-мех – в машине, да Володя-радист – у себя в рубке. Остальные наверху, на рыбе. Почти по пояс уж в ней, в сельди, стоим, руки занемели, а весело: музыку «маркони» на палубу дал. И добро – трюма завтра забьем!

Сегодня? Времени сколько уже? Четвертый час?! – Не пришлось дважды Новый год встретить. И не беда – «Наполеон» днем съедим с удовольствием полным, Пашу поблагодарим. А деда Мороза вместе с Москвой помянули-встретили, хватит. Вот с подарком его управимся, отдохнем до базы. Там, глядишь, и к берегу...

А дома... на берегу... спят давно...

3.

*«...Хороший парень –
это не профессия,
ты человеком будь!»*
(Из разговора на палубе.)

...КАЗАЛОСЬ, не задался у нас этот рейс с самого начала.

Уже потому не задался, что какой-то болван запланировал наш отход на пятницу. Конечно, это все предрассудки – какая там разница, в какой день выходить? Только лучше бы на пятницу отход не планировали. Приметы не врут. Портнадзору что – лишь бы скорее вытолкнуть по графику, сам-то он с берега нам помашет. А махать в пятницу ручкой – это тебе не в море выйти!

Ну, положим, и мы не дураки – в пятницу выходить. Вот тебе и предрассудок: в главном двигателе что-то забарахлило как раз в самый этот раз. Не пускается наш главный двигун, хоть механики бьются там, еще и цивильных костюмов сбросить не успев. Не пускается, хоть мы сверху сочувствие выражаем и последние свои береговые капли отдаем – барах-



лит двигун и все тут! Заведется он ровно в двадцать четыре ноль-ночь, как только субботе начаться...

Но важнее другое: не задался рейс в самом деле потому, что нашего прежнего капитана сменил в этом рейсе новый. И никто из команды о нем и слыхом не слыхивал... А с прежним мы несколько рейсов ходили на этом траулере, который у нас «Мерефой» называется. Добычливо ходили, себе позавидовать можно.

Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан...

Это пел перед отходом бондарь Витька Сысоев на палубе, перебирая струны гитары, играть на которой он не умел, но очень любил. Витька попал дневальным на отходе, и к вечеру его не сменили, потому что он холостой, а механики все равно должны были провожаться до полуночи. Так что никто из провожающих не уходил, а Витька сидел на задраенном и обтянутом брезентом трюме и пел про эту самую девушку «с глазами дикой серны», которую полюбил капитан.

- Вить, а нашего нового как зовут?

Сысоев обычно все знал раньше других в силу певучести своего характера. Но тут даже он сплоховал: «А черт его знает, этого нового кэпа... И вообще, ребята говорили: он всю жизнь старпомом где-то ходил. Наш-то Трофимыч умел ловить! Чует мое сердце, не будет с этим старпомом удачи... черт его фамилию знает...»

- Скребцов моя фамилия. Валентин Степанович Скребцов, – раздалось рядом с нами, и новый капитан выступил из тени от рубки, откуда-то прямо из лебедки, что ли, он выступил.

Так себе был капитан, ничего приметного, кроме формы: все галуны положенные сверкают. А ведь только вчера, небось, назначение получил! Посмотрим, конечно, только не будет из него хорошего рыбака, чего бы иначе он в старпомах так долго сидел?..



- Вы почему, товарищ матрос, поете? Работы на отходе мало? Вот тряпка какая-то на палубе валяется, а вы... поете!

Ну точно, старпом он закоренелый, заавралит он нас, если рыбы не будет. Трофимыч-то таких вояк и близко к судну не подпускал, хоть и драл с нас три шкуры в работе...

- Я не матрос. Я – бондарь! Может, мне сойти прикажите? На берегу попеть? – Витька Сысоев за словом в карман не лазал, и цену себе знал – таких бондарей поискать было на флоте. Молоток у него смычком летал, не то что струны его гитары однотонной.

Новый капитан, Скребцов этот В. С., молча повернулся и ушел в корму. Его что, никто не провожал? Нет, не задался у нас рейс с самого начала, что говорить...

Была середина мая. Погода в это время неустойчивая – весна. А волна на Балтике неприятная – крутая, резкая, все в тебе выворачивает; зато сразу переболеешь, все береговые напасти заодно из тебя выкрутит. А до промысла еще несколько суток, у всех есть время от берега отдохнуть, в ритм войти.

Это ерунда, когда кто-то хлещется: я, мол, такой, для меня, мол, никакой морской болезни не существует! Заливает этот «волк». Потому что нет такого моряка, которого море не бьет – по-разному, конечно. Словно сразу предупреждает: все игрушки-бирюльки на берегу остались, здесь шуточки лучше не шутить!

Одного несколько часов поколотит, потошнит малость или настроение сядет от вялости, на кисло-соленое потянет, как женщину в положении интересном, благо кадка с капустой в начале рейса всегда на виду стоит. Другого на несколько дней и в койку уложит, на палубу потянет рыб покормить. Тоже ничего страшного, себя превозмочь в какой-то момент надо и сиднем-бездельем не сидеть, пройдет. Треть-



его так измочалит, что шабаш - наплавался. Не принимает его море, хоть с детства камушки по воде плескал. И пересаживают такого на первый попутный траулер: прощай-морьяк-привет-пешеход...

А море бьет всех: и того, кто десять лет ходит, и кто вчера на палубу ступил, и кто только три недели после рейса на берегу отдохнул – всех предупреждает море, чтобы не задавались шибко. Да у нас команда уже подобранная, без выпендрёжа дело знаем.

Середина мая была, весна. В проливах Зунд, Каттегат, Скагеррак заблудились туманы. И наша «Мерефа» наощупь, под гудки и бой колокола-рынды, медленно пробиралась к Северному морю. Рында – это, конечно, больше для традиции и красоты, но иногда траулер только бок о бок расходился с каким-нибудь неизвестным судном, так что только медный перезвон напоминал о жизни в этом тумане.

А на выходе в Северное море нас встретило солнце, штиль, хороший прогноз на погоду. И плохой – на рыбу. Но мы-то как раз за рыбой сюда и шли, впереди три с лишком месяца – их работать надо, загорать мы и дома можем. Флагман сообщил, что весь флот недалеко, на границе Северного с Норвежским, большинство в пролове, но лучшего и нигде нет. Здесь, мол, и будем, дальше не ходить, дальше разведчики пока бегают.

Все, что флагман кэпу передавал, мы узнавали от маркони-радиста, он нам все новости доводил. Даром что он капитанский радист – вместе они пришли, - а парень отличный оказался. «Оказался» – потому что за разочарованием в новом капитане мы не сразу и заметили еще одного новенького. У всех радистов в море одно имя, это он на берегу Петр, Спиридон, или там Эдик, в море же все они – «Маркони».

«Капитанским» наш новый маркони даже дважды оказался, он сам и рассказал: и ходил с ним, Скребцовым, раньше, когда тот в старпомах был, и родс-



твенники они какие-то. Родственников, известно, не выбирают, только ему можно было поверить, что от этого еще больше придинок получается. А отказываться, мол, с ним снова идти - неудобно, вроде посочувствовал, «хоть один знакомый на новом месте нужен» – так его кэп уговаривал. Да и молва о добрых заработках на «Мерефе» соблазнила. Так, дура, заработки-то те от Трофимыча...

Может, и перебрал маркони насчет лишней к себе требовательности, чтобы мы его сразу не отвели, но парень он отличный оказался, компанейский, веселый. Ленивый, быстро проявилось, но маркони почти все такие, им это прощается, потому что они «одним ухом на земле стоят», а каждому охота радиограмму лишнюю отбить-получить. К тому же, при любой рыбе, при любом аврале не трогают их в работу: одна забота – связь постоянная, руки у него, как у пианиста, всегда здоровые должны быть, без связи в море пропадешь. Зато, когда все на палубе вкальвают, когда уж и спины затекают и руки виснут вдоль тела сами, как включит маркони радио на палубу, да такое что-нибудь забористое – сами руки задвигаются, хоть ты уже трижды по четыре на палубе отпахал. Такая их нужная работа – людей веселить, радовать и между собой связывать...

Так вот, не везло нам с самого начала, хоть маркони компанейский попался, хоть погода баловала, да и работать все хотели. Не везло. Новый капитан букой ходит, в кают-компании, где все обедаем и по вечерам кино крутим, почти не показывается, пока попросил даже еду ему в каюту приносить. А голос его только вахтенные и слышали, когда курс давал, да еще бригадир с рыбмастером, когда он их советовать вызывал. «Советоваться»...

Наш Трофимыч так иногда мог «посоветовать» кому-нибудь – аж уши трещали, сам все знал. А работать заставлял – жилы лопались, он же только поддал с крыла по первое число да смеялся: «После



кассы отдохнете, бубны-kozyри!» И в салоне язык почесать не последним был: свойский парень, только ему не перечь лучше, даже когда неправ - спишет к чертовой бабушке, ищи после такого добычливого. Вообще-то, если честно, мы при нем немножко пиратами были, обижались на нас свои моряки: обмечем чужие порядки, нахрапом возьмем рыбу из-под носа товарища, хоть тот и раньше сети вымечет. Наш-то: перекроет косяк – в наших сетях «шубу» рыбную валит, а сосед пустыря хлебает. Умел. И сходило.

Не задался рейс. Все одно к одному. Капитан молчком себе думает, с промысловиками «советуется», флот в пролове. А тут еще эхолот полетел, не пишет ничего, когда рыбу искать надо. Вот и начали бегать за мелкой рыбешкой по пеленгам разведчиков да товарищей по отряду. Сети, считай, вслепую сыпали. Их ведь утром, все одно, что полные, что пустые – вытаскивать надо... И, вроде все чин по чину начинали: когда первые сети выметывали, кок наш Николай испек огромный крендель из лучшей муки и сам к началу "вожака"² привязал – мол, чтобы сразу к Нептуну подарком нашим попал; и деньги все, какие у кого от берега остались, за борт под первую сеть бросили. Даже капитан новый, Скребцов В.С., усмехнувшись чему-то не очень весело, все карманы вывернул в море – мы специально смотрели. Ан, нет – пустырь пришел...

Бухтеть мы потихоньку начали по кубрикам.

Маркони притих, его капитан, видно, насчет эхолота накрутил: тот у себя в рубке заперся, нас без новостей оставил. С эхолотом колдовал, а может, спал – музыка там в рубке жужжала потихоньку, не унывал он. Но через несколько дней ведь починил-таки эхолот!

И мы бегать начали, море винтом взбивать. Несколько суток бегали. То кругами, слышно только, как реверсы меняются – то малый, то средний, то стоп и назад. А то – как зарядим без остановки на



самом полном, полсутки летим, только рулевые меняются да анекдоты знакомые обсасываются... Капитан, правда, из рубки даже поесть не выходит. Носимся, забыли, когда и сети сыпали. Нас, конечно, кэп через боцмана красить что-то там заставлял, судно мыть, а чего его мыть – и чешуйки рыбьей не сыщешь, да и не в порт же идем. Ну точно, старпом он закоренелый, этот Скребцов, куда ему с такой фамилией больше. Заавралит он нас водными да пожарными тревогами, хоть засохнет там у эхолота. Заавралит, а без рыбы – кому надо...

Потом вдруг за полночь – ни одного огонька вблизи, ни одного судна другого рядом не слышно – ударил звонок на выметку. Двигатель замолчал – в дрейф легли. Так, дрейфуя, и выметали сети. Да не сто-сто-двадцать, – все равно наутро пустыря тащить, так не пожалел же нас, зараза! – а все сто пятьдесят велел ставить. Хоть смех тот на нашем горбу скажется, но посмеемся над ним – завтра. Сегодня хоть ночного подъема по шлюпочной тревоге не будет – он нам еще, кажется, шлюпочной не устраивал!..

Не рассвело еще, а звонок задергался по кубрикам – ах, чтоб тебе... Чего он там еще придумал?! Одевались медленно, глаз не раскрывая: трещётка нас подняла, а разбудить не сумела. Шторма не ощущалось, как и вчера шла по морю длинная долгая волна – это было дыхание очень далекого шторма, но не сам шторм. Траулер медленно, сонно поднимало на пологий гребень протяжной волны, так же спокойно, будто осторожно, опускало. Неторопливо одеваясь, колебались – надевать ли робы резиновые, зюйдвестки. Или в ватниках достаточно выскочить да в сапоги налегке всунуться: отделаться и назад – в койки.

Только здесь бригадир влетает, очумелым голосом орет – буи, мол, притонули! А буи притонули

² "Вожак" – начало каната, несущего сеть.



– выбирать сети срочно, если не хочешь весь порядок потерять: рыба в сетях и не малая, от малой рыбы буи не притонут.

Надо ж, повезло экпу. Случайно видно ночью косяк нагнало. Тут уж мы глаза продрали, заторопились: и портянки намотали, и робу натянули, и ножи шкерочные похватили – сколько ее ни будь, а резать-потрошить придется, не зима. В первый раз за рейс, неужели пофартило?..

А рыба шла. Сетка туго переваливалась через рол, свободные моряки уже начали ее резать. И погода – как на заказ. И чайки весело горланили над сетями, пророча еще большую рыбу. Чаек мы все любили, они сопровождали нас, куда-то улетая лишь к вечеру и рано утром появляясь снова в надежде на легкую добычу. Кажется, мы даже узнавали среди них знакомых, во всяком случае, сегодня их суматошные крики сулили удачу, и мы радовались этим крикам, и бросали за борт порезанных сетью селедок, и с удовольствием смотрели, как птицы целой гурьбой падали в воду – сегодня всем хватит!

В таком настроении нам не хватало лишь музыки, но маркони уже догадался и шарил в эфире. Эфирная разноголосица, которую он – случайно ли, нарочно – дал на транслятор, так точно вплелась в возбужденные крики чаек, в шорох шпиля, наматывающего вожак, в потрескивание рола и стук ножей на разделочном столе – так точно вплелась в наш ритм та эфирная разноголосица, что хотелось обнять весь этот мир зеленой колышущейся воды и голубого неба, обнять даже нового капитана, Скребцова того Валентина Степановича, пусть он и случайно напал на эту рыбу.

А рыба шла. И лилась музыка. И некогда уже было прикурить. И все, даже «дед», пришли на палубу шкерить рыбу, хохотать старой шутке и давать темп резки. Хотя кто же угонится из Витькой Сысоевым, бондарем, или за нашим «рыбкиным»



Петровичем – они могли по сто пятьдесят голов в минуту резать, а потом бежать к своим бочкам, солить, забивать, откатывать. Никто за ними не успевает, а – стремятся, просто так стараются – из лихости и хорошего настроения. «Отец родной» Николай всех чаем обносит, почти в рот куски сует и не хочет на камбуз возвращаться, где ему в одиночестве обед готовить нужно. Даже у кэпа – везло б ему тысячу лет! – там, на крыле рубки, вроде лицо потеплело, или от солнца так кажется? А рыба все шла...

И всю наступившую ночь мы выбирали рыбу, останавливались и резали, и снова выбирали. И не обижались на подвалившую работу, хоть и тяжеленько то веселье доставалось – обедать и ужинать по очереди бегали. Но выбрали-таки все сети.

Забили трюма – семьдесят пять тонн за двое суток, еще и на палубе в брезенте тонны три недошкеренной рыбы оставалось, когда кэп через бригадира всех спать погнал. И то – большинство так не раздеваясь и упали... А траулер уже курс на базу взял. И кого там капитан покрепче нашел, чтобы у штурвала стоять?

Когда проснулись, к нам в кубрик маркони завернул. Новость удивительную принес, даже старик Петрович, рыбмастер, пришел послушать: капитан-то новый пеленг пашей рыбалки на весь флот передал, туда сейчас все суда бегут. Наш прежний кэп Трофимыч уж такое не отмочил бы – втихую сдал рыбу, да назад. Там второй груз, наверняка, взять можно... Н-да... С какого-такого богатства капитан уловом нашим разбрасывается?

- А что, – пожевал папиросу Петрович. – Может, его сермяжная правда здесь есть. Весь ведь флот в прогаре... не куркуль...

Витька же Сысоев выгнал нас на палубу: терзать свою гитару принялся многозначительно - «повезло, мол...»



Такой рыбы у нас в этом рейсе больше не было. Но и пустыря тоже не таскали, три-пять тонн почти постоянно брали. И не надрывались, и без работы не сидели. Теперь уж на подвахту только желающие приходили, но кто же откажется рыбу пошкерить в компании, когда на палубе солнце, когда чайки горла-нят, когда через музыку байка проскальзывает, когда – настроение, кто же откажется?

И вот этот день.

День, в общем, как другие. Только усталости чуть больше, чуть желаннее отдых – груз снова добира-ли, к походу на базу дело шло.

Резали не торопясь, музыка плыла медленная, чайки примелькались, к солнцу приленились – по пояс голые трудимся, июнь начался... Правда, мар-кони передал, что шторма ждут в нашем районе, но сейчас не страшно и несколько деньков шторма – отдохнем чуть от рыбы, да пока к базе сходим, утихнет. Летние штормы они недолгие. И вот этот день. Резали потихоньку, музыку маркони поймал медленную, чайки за рыбой у борта падали на воду неторопливо.

- Гля-ань-ка!.. – пропел Витька Сысоев.

Глянули: маркони с улыбкой на палубу вышел, что-то в руках держит.

- Эксперимент! – говорит.

И подбрасывает в воздух чайку, как он ее пой-мал только? Но чайка та уже не белая, и синевой снежной под солнцем и небом не отдает. Пестрая какая-то чайка, вся в красных, черных, зеленых до ядовитости пятнах и полосах, где он только краски добыл?

– Во-он зачем ему краски понадобились... «По-нем-ножку-у...», – протянул боцман.

А чайка, что маркони выпустил, – ее уж не по-теряешь из виду, – испуганно пролетела в сторону, почти скрылась. Но тут же и назад вернулась. Туда, где ее сородичи над рыбой переругивались. Тоже



– за рыбой, или просто к своим, кто ее узнает.

Только теперь не была она «своя»: сперва одна-другая, потом многие, а там уже и вся стая набросилась на пеструю чайку. Гомон недобрый, невеселый хрип они подняли, громкий и противный визг над траулером завихрился вместе с клубками птиц. И каждая стремится ударить разрисованную нашим маркони чайку. Только потому, что белых чаек было много, и они мешали друг другу, «эксперимент» не кончился сразу.

А она – пестрая птица-чайка – явно не понимала причины общей вспыхнувшей ненависти. Она металась от одной товарки к другой, может быть, среди них была и вовсе близкая, чайка металась, словно крича: «Да это же я!.. я! Почему вы не узнаете меня... За что?..» Или что там она еще кричала... кто узнает, но «эксперимент» кончился, и пестрокрылая чайка пропала.

Маркони улыбался, повеселил он нас славно.

Плыла медленная музыка, мелькали деловито белые чайки, сверкало солнце на рыбьей чешуе, сверкало повсюду.

- Мда-а... – протянул Петрович, рыбмастер.

- Во-он зачем краска, – шевелил губами боцман.

- Да-а, экс-пе-ри-мент, – тихо и по складам говорил Витька Сысоев, который ближе всех стоял к маркони и потому первым ударил весельчака.

Слабо ударил, тот не упал, только отлетел к лебедке и, схватившись за скулу, непонимающе уставился на нас. Мы отвернулись – надо было работать дальше.

Маркони ушел к себе. И щелчком прервалась музыка.

- Пойди к капитану, – сказал мне рыбмастер, распрямляясь над бочкой, которую он только что откатил, – Пойди к капитану, будь они хоть десять раз родственники. Пусть эта гнида идет на палубу и занимается делом. И пусть капитан отправляет его



первой оказией. А то, не приведи боже, конечно, его с крыла первой волной смыть может... Так мы думаем, – Петрович обвел всех взглядом, он был самый старший на палубе, и он дольше всех ходил в море.

Я и сказал все это Скребцову Валентину Степанычу. Кроме волны, конечно, всё сказал. «Работайте...», – ответил он. Еще сказал, чтобы Петрович к нему зашел: «...Сысоев пока поработает за рыбмастера».

Говорить с маркони мне было трудно: он не понимал. Но в волну, судя по лицу, поверил. И на палубу вышел, и шкерочный нож взял, который ему бондарь бросил.

Нигде маркони не трогают в работу на палубе, его работа – связь постоянная, у них на судне своя работа нужная – людей радовать и меж собой соединять.

У этого кончилась такая работа. Взял он нож шкерочный, резать рыбу начал под тишину нашу. Но недолго резал – швырнул нож почти к ногам моим, убежал, зубами заскрипел.

А Петрович как раз от кэпа вернулся.

– Нормальный он человек, – сказал рыбмастер. – Поработаем еще. При мне дал радиограмму на базу о замене нашего... экспериментщика. Стучит сейчас свою отходную. Не повезло кэпу, конечно... подолгу мы на берегу не бываем, что ж поделать, судьба. Сына вот и упустил... мм-да-а... рейс. А туда же – «сдьмая вода»...

Лежит теперь тот шкерочный нож у меня в столе, хоть и траулера нашего и в помине уж нет. Не очень и видный нож, весь потемнелый, источенный частой правкой.

И кажется, стоит его лизнуть, и теперь, наверное, ощутишь горечь соли.



4.

*«Ты только не злись на меня,
но...
я устала. Так жить очень тяжело,
Устала! Я уезжаю от твоего
моря,
Я больше не могу...»
(Из письма в море)*

МОРЕ было спокойно. Насколько может быть спокойна Северная Атлантика в феврале. И шла рыба. У всех ныли руки и спины. В те несколько часов, что выпадали свободными в сутках, матросы спали крепко и без сновидений. А утром снова серебристый поток заливал палубу логгера, подвахта сменяла друга друга; только палубная команда - наскоро поев и выкурив по мятой, влажной то ли от воды, то ли от пота, сигарете – продолжала раскачиваться в такт судну, упираясь раставленными ногами в палубу; продолжала наваливать новые потоки сельди, катать бочки, майнать их в трюм. Была усталость. Но это усталость удовлетворенная, умиротворенная результатом, усталость от хорошей работы, ведь и шли за ней, за рыбой: рыба – план, заработок, гордость и подарки, отдых на берегу «на всю катушку»...

Шла рыба. Большая рыба.

Святослав, конечно, тоже радовался улову. Он обещал Марии с дочкой взять отпуск и слетать куда-нибудь на юг, заехать к ее родителям, которые не видели еще маленькой Наташки. Бросить море он не мог, как настаивала жена, – что он, боцман, будет делать на берегу? Море давало ему уверенность, да и привык он за эти пять лет. И к хорошим заработкам привык, и к тоске, которую давали рейсы: на берегу он ждал моря, в море – вспоминал берег. Разве может быть жизнь полнее этого...

Порыв ветра ударил холодной солью и согнал улыбку с губ боцмана. Святослав только сейчас по-



настоящему почувствовал, что прошло уже три с лишним месяца рейса, что тоска нет-нет да перехватывает глухо дыхание. Почти месяц впереди, а писем нет. Нет и нет. До сих пор его удовлетворяли редкие радиограммы с трафаретным текстом пожелания удачи. Что ж, суеты на берегу много. Но письма, письма – их не пришло ни одного; в море так не бывает, не должно быть...

Траулер спешил к плавбазе, солидно переваливаясь с волны на волну. Еще бы: трюмы полны рыбой, и траулер знает цену своей работе. Палуба, сверкающая стекающими потоками встречной волны. Люди, переполненные ожиданием вестей с берега, почты на базе. Траулер торопился во все свои четыреста лошадиных сил главного двигателя...

Вот она – база. Громоздится среди маленьких тральцов, медленно, почти незаметно, покачиваются ее борта; с логгера надо далеко запрокинуть голову, чтобы увидеть людей на палубе этого плавучего центра флота.

Да черт с ней, с очередью на сдачу рыбы! Рыба-то подождет, нашу почту отдайте! – Одним касанием судно тычется в борт громадины-матки, словно целует ее после разлуки, а сверху летит пакет с почтой, разорвать который тянутся десятки рук.

Боцман в стороне прикуривает новую сигарету от окурка, хотя это его обязанность и привилегия – ловить пакет. Кому хочется поймать на себе сожалющий взгляд соседа, которому неловко станет перед ним за радостную пачку писем, любое из которых и даже несколько уступил бы опять ничего не получившему боцману... Это ж представить только, никто бы не выдержал такого, за что!..

Святослав стискивает зубы, чтобы жалость к себе не хлынула в него, это еще хуже сочувственных взглядов – жалость к себе, ест она тебя живьем, руки тебе опускает... Он курит в стороне от разрываемого пакета и лишь по окостеневшему лицу, пе-



речеркнутому отросшими за рейс усами, да по его явному намерению уйти прочь с палубы – можно понять, как он ждет, ждет, ждет...

– Усы! Пляши, боцман!

Святослав аккуратно сплевывает недокурок и неторопливо берет протянутый конверт. Осторожно ступая, словно боясь расплескать радость, уже ослабившую лицо, несет конверт в каюту.

Там, наедине, распечатывает. Знакомый почерк! ...И незнакомые, сухо-официальные слова. «Встретила... Прости... Ждать так трудно... Наташка здорова... Не ищи и не огорчайся. Ты так долго был в море...»

Перед глазами поплыло, вдруг выплыла елка, нарядная елка – конечно, и этот год она встречала одна... Да, боцман, другой нет у тебя специальности. Елка загорается такими яркими огнями. Гарь... гарь сожженной его деревни, а мать копает землянку для пятерых, и все мал-мала меньше... Протопанная семилетняя тропинка в школу, что в соседнем, за шесть километров, селе. А потом – топор и запах свежеструганных бревен, и работать, кормить... А море дало уверенность, да и средства, что говорить. И она, Мария, радовалась тогда его возвращению и его рассказам, и они вдвоем – только вдвоем, это чуть позже можно встретиться с друзьями, только вдвоем, – выпивали приготовленное ею вино, съедали все вкусные салаты, что любила она готовить, совсем рано укладывались спать, и ему было приятно, что кровать не раскачивается, и еще пока не хватало этой постоянной качки...

«Ну, конечно, и опять елка без меня. Но ведь возвращался, я всегда же возвращался – домой, к ней. А она тоже живой человек. Образование... ерунда, вон уже библиотека какая... Да... ведь много людей ходит в море, штурмана, механики... не могут без рейсов, не в одних деньгах... и ждут же их. Не у всех же... Да ведь предупреждала, что не может так



долго, сам...» – Он снова посмотрел на письмо со знакомым почерком. «А вот у тебя – так!»

- Стас, тебя старпом зовет.

- Да-да, иду...

А теперь – как? Стихи писал, втихомолку... плохие, ей. Кто в море не пишет стихов? Цветы после рейса в любое время года... Кто из моряков не приносит цветы? Но ведь квартиры не было все равно, а море... что ж, оно – море. А – дочь, Наташка?

- ...Боцман, слышь, што ли. Ну и дыму здесь, ты не к котлу подключился? Заболел? Там старпом зовёт, на якорь становиться будем, – матрос покачал головой и полез по трапу.

- Хватит!

- Чего?.. – свесился моряк.

- Я говорю – работать надо, идем... – Святослав натянул куртку и поднялся следом.

...А дни за днями разменивали месяц. Медленные дни. Длинный месяц. А в месяце – тридцать ночей, и тридцать раз наступает утро, и сны уходят...

Рассвет – как враг.

Торопится рассвет.

...Бледнея, пропадет плечо:

Ты рядом, но тебя и рядом нет.

Лицо угасло. Времени подсчет

Здесь бесполезен – вековой,

минутный...

Как ни старайся, все перечеркнёт:

Лицо угасло. Наступило утро.

Святослав смял листок, бросил, взял чемодан. «Плохие стихи... Кто в море не пишет стихов? Кто из моряков не приносит цветов... в любое время года?» В городе пахло осенью и треснувшими арбузами, хотя была весна. Траулер слегка чиркнул изржавленным бортом о причал, потерял немного и протянул сходни к берегу, словно сливаясь с ним в рукопожатии, словно примиряя море с берегом. «Ловко швартовал, кэп...» – машинально подумал боцман и ступил на сходни.



- Так ты самолетом, Стас? – капитан перегнулся через крыло рубки и сочувственно посмотрел вслед неловко еще ступающему по земле боцману, который сбрил усы, но не снял этим ни усталости, ни заботы.

- Привыкай по земле ходить – не качается, а?! – попробовал пошутить капитан. – Бывай, Стас...

В городе пахло осенью и треснувшими арбузами – от тающего снега. Но была весна.

5.

*Словно камень
Скатился
С высокой горы
Так упал я
В сегодняшний день.
(ИсикаваТакубоку)*

...ГДАНЬСК или Гдыня... ну, конечно же, – Гданьск... Оттуда и началась его история, что на весь флот прогремела... сперва удивленным слухом, никто ж не знал причины, да и не поверил бы... хотя нет – моряки-то приняли. Потом, возможно, анекдотом обернулась, да ему уже все равно было.

Две тогда истории ходили по городу, а город – флот, рыбаки. Вторая – с королевским замком, Кирилл и сейчас видит округлые стены развалин... глухую толщу ста рых стен семиугольной башни. Со стен замка, укрепленных ребрами контрфорсов, просматривался весь город.

Он лазал там еще на службе, матросом, там пил с другом «Бенедиктин», название которого почему-то казалось даже по звуку подходящим именно к этим местам. И ел шоколад – в первое свое увольнение, того времени сейчас и представить невозможно...

Он смутными глазами взглянул на окно. За стеклами падал серый снег, порывы ветра внезапно за-



ставляли снежинки уноситься в сторону, поднимали от земли новые, закручивали их в столбы.

Да, память... чего вдруг припомнилась та давнишняя история... пять... смотри-ка, пять лет уже прошло! Чего ради вспомнилась та история... да, в Гданьске, где их траулер стоял на ремонте; так бесшабашно и даже... а что? – и красиво начавшейся. Эффектно, моряки искони любят эффект.

Они еще в мореходке с практики подъезжали к училищу от Московского вокзала каждый курсант – на трех такси... и традиция диктовала, и собственное мальчишеское ухарство, да и от голодного военного детства это было, наверное, освобождением, от всей той сдержанности хлебных очередей. А здесь – хозяин сразу трех машин: в первой через Кировский, потом Каменноостровский мосты на тихие аллеи Каменного острова вылетала рядом с таксистом – мичманка. Это ее вначале встречал долговязый Лексей Лексеич, начальник училища, их «кап-раз», капитан первого ранга, встречал, тая улыбку и грозя костистым кулаком второй машине.

Потому что вторая везла самого, ух как просоленного, «маремана» (теперь второкурсника!) «с морей». А уже в третьем такси следовал его чемодан с робой, до белизны вымытой морской модой, и с гюйсом-воротником, обесцвеченным каустиком до блеклой голубизны северного неба. За этот гюйс еще предстояло получить от того же Лексей Лексеича пять нарядов вне очереди...

Позже, уже всерьез работая по несколько месяцев в Атлантике, они могли прямо с рейса, получив на борту аванс, слетать постричься-побриться в Москву, чтобы непременно вечерним рейсом и вернуться. Или пообедать – там же, просто и скромно пообедать без спиртного в хорошем ресторане, завершив компотом, и обязательно привезти счет, где тот компот значился.

Но нет, все не то, мимо, мимо... Не одно ухарс-



тво двигало им тогда в Гданьске на ремонте после четырехмесячного рейса, не мальчик ведь уже был. Тридцать два года исполнилось тогда главному механику среднего рыболовного траулера с финским названием «Кола», и «Дедом»³ Кирилла называли на судне еще и любовно.

Нет, позже он ни разу не пожалел о своем поступке, наверное, повторил бы его снова, не будь теперешнего ощущения тщеты вообще всего, кроме самой жизни. Но тогда ведь тоже была – его жизнь, это определяет ведь человека, да – свой поступок, свой прорыв на другую ступень мудрости через бытийное благоразумие и... да, и через страх.

Это могло показаться странным, но именно в те тридцать два ему ударило в голову, что не может он без Марины. И страх утратить ее, копившийся четыре месяца рейса, повел его вместе с любовью. Такого еще не было, и потому он молчал, хотя на судне обычно не бывает секретов.

Была весна. Северное море дышало теплыми туманами, а в Гданьске лопались на деревьях почки и плыл клейкий запах первых листьев. Он совсем немного гульнул со своими механцами, ровно столько, чтобы одурманил этот запах листовяного настоя и смешавшегося с ним терпкого духа водорослей, который принес с собой туман.

Он набрал полную сумку всякой всячины «Выборовой» и сел в такси, а ребята понимающе помахали руками – видно, и в этом чужом городе есть куда ехать их молодому Деду!..

Возможно, они остановили бы, но он никогда о том не пожалел.

Надо, надо... надо вот сейчас... иначе он задохнется в этом воздухе, иначе всю жизнь будет преследовать его эта неосуществлённость... как преследует тот безответный пинок здорового воспитателя

³ Дед – так моряки называют главного (старшего) механика.



Ивана Альбертовича в детдоме... было Кире пять лет и ему удалось дотянуться и даже сделать глоток из банки с молоком, почему-то оказавшейся... просто вот так и стоящей на столе в их комнате. Эта банка потом стала зачем-то часто попадаться ему, остриженному наголо из-за насекомых еще в эвакуационном пункте мальчишке с нелепо торчащими ушами. Он даже помнит щербину на кромке той банки и сладость единственного глотка молока, после которого получал здоровенный пинок... и надо было еще убирать это молоко на полу. Все становилось каким-то наваждением, потому что не мог он удержаться от того глотка, хоть и всегда его заранее тошнило от страха перед неминуемым пинком Ивана Альбертовича, неведомо откуда подстерегающего Киру. Мать нашла его в детдоме через год, но он долго еще сжимался в комок, поднося к губам стакан с молоком...

Какими словами убедил он гданьского водителя везти его к границе Ольштына, отдал ли он какие-то деньги? Это не имело значения никогда: значит, бывают такие слова и такое полетное состояние, что способны завихрить собою и чужого тебе человека; а может, позволяют и тому человеку вернуться к своему чему-то или обрести что-то свое, несбывшееся, расправить крылья своему... тому — запуганному и неосуществленному. За один такой полет надо любить любовь, и можно благодарить рождение твое за безоглядность ее крыльев...

Они почти досветла говорили за любовь с хорунжим-пограничником, к которому привез его Войтек и который оказался каким-то родичем водителя. Перед рассветом польский побратим в старательно застегнутом кителе поставил Кирилла на чуть приметную тропу среди высокой мокрой травы. Поставил с цветочным горшком в руках, а в горшке цвела бело-желтая чайная роза — ее передавал хорунжий «паненке Марине» вместе с поклоном... Да, и «бра-



товым поцелуем» – хорунжий крутанул ус и туманно улыбнулся чему-то своему.

Без приключений добрался Кирилл до Багратионовска и сел в первый рейсовый автобус. Ранние пассажиры тоже улыбались, глядя на цветок.

Но Марины дома не было. И в городе: «Она же в отпуск уехала, разве не писала тебе? Путевка горела», – удивилась ее мать. «Вы ведь не предупредили ее...– добавила мать обиженно, увидев его лицо и поспешно принимая горшок с чайной розой.– Да и... знаете, молода она для вас, не обижайтесь уж. У нее...»

- Как это вы оказались здесь? – спросили механика в рыбпорту.

У него не было тех слов, как не было и тех крыльев, чтобы вернуться на судно. «Приехал домой... по своей земле. Заболел...» – бормотал он, не умея солгать и сам не зная правды. Но тут вернулся в порт его траулер, и вмешался капитан, как-то сумев притупить скандал приказом о списании механика на берег. «Поработай в техотделе, там люди позарез нужны, ничего, – говорил капитан ему. – Думать надо бы... Через рейс-другой заберу, назад придешь. Да хоть и вторым поначалу...». Он был согласен с капитаном.

И на субботник он пошел вместе с портовиками, потому что как раз рухнула семиугольная башня, и остатки «Палаты московитов», названной так еще по первому посольству русичей Василия III. Стены подсекали тросами, натягиваемыми мощными тракторами и танками, которые были впряжены сразу несколько, словно кони-тяжеловозы. Замок начальством города было решено снести. И на субботниках горожане вместе с солдатами разбирали разбитые стены тринадцатого века.

Город был, в общем-то, небольшой, пусть и областной, так что ничего странного не оказалось, когда провинившегося механика столкнула судьба с Борисом, а художник уже ввел его в круг ровесни-



ков, для которых замок стал не только ценностью исторической, но и способом утверждения истин, вынесенных из детства и школы. В их детстве рушилось слишком многое, на глазах рушилось. И теперь они ощутили свое право сохранять и себя противопоставить разрушению.

Из развалин древнего замка у художников, архитекторов и журналистов выросла идея «Музея мира», способного своими порушенными стенами и башнями напомнить – что же несет война. И молодые люди со всем азартом и неоглядностью бросились отстаивать этот проект, уже премированный на конкурсе. Отстаивать перед теми, кто вначале проект не понял по невежеству, а потом не решился отменить приказ о сносе – чтобы не признаться в том невежестве.

История замка вобрала столетия города и труда, и опыта, и знания нескольких народов, живущих на этих землях рядом: Коперник и Кант, первая книга на литовском языке и отец Суворова, бывший здесь комендантом. И те солдаты последней войны, совсем недавно в последний раз штурмовавшие эти стены... Память. Она увлекла моряка – его отец тоже погиб где-то здесь. И отвлекла было его.

Потому что Марина вернулась, а мать ее убедила в «несамостоятельности» этого моряка – «все, мол, они такие, пьют ведь небось! И ждать не дождешься с этого их моря, что за семья...» Все случилось так обычно и просто, но ему-то казалось, что эту пустоту в душе ничто не заполнит, а он устал от мужского своего одиночества в общежитии. Его матери уже не было к той поре на свете. И девушка ушла: «Я замуж выхожу... ты не сердись.» Не сердись... и в самом деле – на что же сердиться-то?

Да-а, и вправду: пришла беда, открывая ворота. Его траулер был еще в море, а он составлял обычные ремонтные ведомости, когда вызвали Кирилла в управление. И не просто – аж к самому начальнику управления. Да так, что даже и ждать в приемной не



пришлось. Секретарша, будто напуганная его фамилией, заскочила в кабинет и тут же открыла перед ним дверь.

Грузный, но как-то по-военному подтянутый Главный, которого он и видел-то за все время раза два в президиуме, вышел из-за стола ему навстречу. Механик растерялся сразу: лицо Главного... да как же его зовут-то... нет, не вспомнить, у секретарши бы... лицо начальника было расстроено и бледно, а это, наверное, хуже, чем если бы оно угрожало или злилось. Хуже, хуже...

- Ну и натворил же ты, братец... – управляющий заглянул в листок, что держал в руке. – Бегунов! Как же ты здесь оказался, когда судно твое в Гданьском стояло? И капитан твой... хор-рош, подлец... думали – все шито-крыто, отсидишься? Для этого сперва свою команду получше надо знать... а тебе – друзей-товарищей. Что за моряки пошли – анонимщики, тьфу!.. Пацан, ах пацан – и ведь не понимаешь, да?! Письмо о твоём «десанте» написали... кто-то, чтоб его! И не строй целочку, я все знаю – даже, что невеста, к кому летел, отставку дала. Что-о?..

Он не знал, что говорить тогда, у него просто холодно было внутри, и вина перед своим кэпом давила больше всего... и перед ним, вот этим простецким пожилым мужиком, который не кажется сейчас начальником, хотя, наверное, может и под суд отдать. Он поежился.

- Ладно... Р-ромео, все знаю. А замок тебе на кой черт сдался? Что там за подписи ты собирал? Что тебе-то в тех развалинах? Ты же ме-ха-ник, трудяга! – какое тебе дело до их интеллигентских выкрутасов, этих твоих художников-картежников? Что?! – лицо Главного побагровело.

- История...

- Тебе, братец, своей истории не расхлебать всю жизнь, а ты о мировой печёшься. Есть кому о ней думать.



И дорога в море ему закрылась навсегда. Как-то так произошло, что и в техотделе ему предложили уйти.

- Куда? – спросил он.

- И в порт не ходи... – отвел глаза его шеф.

Пить в том городе было легко, он надевал мундир с шевронами и прямел спиной, не касаясь стены в шумной пивной возле площади, откуда были видны работы на развалинах. В пивной всегда толкались моряки, его узнавали и не очень расспрашивали о жизни, ему сочувствовали, как любому списанному на берег надолго, и наливали широко. Опускаться оказывалось легко и приятно, ему нравилось жалеть себя... А вернувшиеся из рейса ребята с его траулера собрали однажды денег и засунули насильно пачку в карман. «Кто же из вас? – терзал он себя. – Кто писал-то?..» Он вглядывался в каждого, но спрашивать не решился, ему сначала было противно само укоренившееся подозрение, а после стало все равно. О капитане он тоже не спрашивал.

Когда стало вовсе невозможно, он продал форму и уехал. Шоферил в геологической партии, да тоже... О море пытался забыть, пытался как угодно затуманить память свою, а вот поди ж ты, помнится. И вот здесь теперь, что он ищет, потеряв самого себя?

Прошлую зиму он удачно пережил, чего там...

Приятель устраивался работать сторожем высоко в горах, куда добирались только спортсмены да метеорологи, и взял его с собой. Приятель тот скоро исчез, а он прижился здесь на всю зиму в тепле и сыте, и в тишине. Тишина, правда, отступала в выходные дни, когда поднимались щеголеватые парни-туристы с рюкзаками, магнитофонами, лыжами. И с девушками, веселыми, длинноногими, беспечными. Детей с ними никогда не было, и Кириллу почему-то казалось, что дети были бы неуместны рядом с этими легкими, озабоченными весельем и здоровьем, молодыми людьми.



Остальное время он помогал дежурному метеорологу разгрести снег и допивать оставленное вино. Или спирт, который выдавался вахтенному технику на какие-то технические нужды. Приборка в двух домиках турбазы много времени не занимала, а грабители, от которых он должен был охранять заносимые метелями домики, откуда здесь возьмутся?

Теперь, впрочем, вторую неделю стояла непогода, зима заканчивалась даже здесь в горах. А это самое неприятное время: то заколобродит неожиданный ветер, то солнце припечет и где-то ухнет лавина, то низкие облака начинают сыпать жесткую снеговую крупу, а потом мороз заставляет сжиматься камни. И снова ветер.

Но зато это и самые спокойные дни, безлюдные.

Молчали заснеженные, пересеченные темными складками, горы. Маленькое окошко в его небольшой комнатке-сторожке зависало над обрывающимся вниз валунным скатом. И верхушки хребтов словно волны набегали на окошко прямо из серого низкого неба.

Ветер бесновался и стонал в каждой морщине каменных волн, он вбивал снег в эти морщины, спрессовывая его в длинные белые языки – будто старался и снег превратить в камень. Лишь камень и мог сопротивляться этому времени, их спор продолжается столько, сколько он, сидящий в тепле за окошком, и вообразить себе не может. И все же то время дает человеку ощутить себя: медленное, равнодушно-бесконечное время, неподвластное мысли и потому даже не пугающее человека. Его не пугает этот движущийся, свистящий, хохочущий воздух, что уносит его дыхание, как уносит и невидимые частицы камня, скругляя края трещин и изломов, и сами бока хребтов сглаживая, и неподвижные волны их каменных всплесков.

«Пять лет, – подумал Кирилл. – Вон куда занесло, а все с морем сравниваешь...»



Он поежился, прогоняя безжизненные мысли, когда вдруг дошли до него резкие, чуть сипловатые крики двух черных птиц. То есть, вначале он чуть распознал их крик, вмешавшийся в посвист ветра, а после уж увидел их самих – двух черных альпийских галок с острыми клювами. Галки косо летели навстречу ветру, низко поперек белого склона горы летели. «Как печатные, – отметил он. – Черные на белом... Летят ведь».

У самого окна на обрыве, все так же переключаясь, хоть и были совсем рядом, птицы сели. Чуть потоптались на месте, встряхнулись и пошли к его домику, высоко поднимая лапы и по-прежнему подбадривая один другого своими вскриками.

Он прильнул к самому окну, словно стараясь удержать их взглядом, но птицы исчезли. Вскоре он услышал позванивание щеколды, хлопанье крыльев и постукивание в дверь крепких клювов. «А... на гнездо уже собирают» – догадался он. Так и было: птицы в два клюва настойчиво выдирали ворсинки из войлочной обивки.

Кирилл оторвался от окошка, тихонько подошел к двери и осторожно приоткрыл: птицы неохотно взмахнули крыльями и сразу сели на перила крыльца. Ветер колюче ударил в приотворенную щель, выбивая слезу. Галки словно понимали, что он не хотел их пугать. В клюве каждой виднелось по клочку надерганной шерсти, напоминающей паклю, и птицы поглядывали на него круглыми черными глазами, будто отсылая его назад в комнату. «Пигхи, пиуги... У каждого свое дело, – казалось, говорили они. Изжелта-розовые клювы не открывались, горловой звук напоминал бормотанье. – Пыхть-пиуги... Что особенного?..»

Дул ветер. Морщились стекающие вниз серобелыми складками горы. Все так же смурнело низкое небо, тяжелые клочья облаков оседали на вершинах хребта, суля новый снегопад. Но все же



в жёстком дуновении ветра проскальзывала, вздохом ли, чутошной одышкой, но проскальзывала струя помягче – близилась весна. И клювы этих птиц, с ворсинками войлока, тоже сушили весну и новую жизнь в гнезде.

Он уже закрывал дверь, когда раздался недалёкий хлопок и одна из птиц забила крыльями, ваяясь с перил на снег. Крик второй птицы, косо поднявшейся на крыло, отозвался у человека в груди.

Раненная галка попыталась подняться и боком съехала с косого сугроба. Она еще не выпустила из клюва своего пучка шерсти, глаза ее с недоуменным и больным вопросом остановились на Кирилле, а он широко открыл дверь, удерживая рывки ветра. Он не мог оторваться от этих глаз, которые становились всё безразличнее, уже сливаясь со снеговой фиолетовой тенью, и скоро потухли. «Ну вот и все... – мелькнуло в голове. И вернулся мыслями к выстрелу: – Осатанел от скуки. Так вот...» А вечером пил с метеорологом остатки спирта, и в углу жилья молодого техника прилеплась та мелкашка, а на тумбочке вместе с какими-то схемами и расчетами лежала рисованная мишень со множеством удачно пробитых дырок.

Бывший механик охотно пил разведенный спирт и думал, что больше не сможет смотреть в свое окно, видеть насупленные хребты, слушать ветер; еще думал, что не сможет видеть ни галок, которые прилетают сюда за паклей для гнезд, ни метких метеорологов. Жизнь обрывает жизнь... «И ведь со скуки... так вот», – эта бессмыслица в который раз вошла в него, дальше надо было снова гасить постоянный вопрос. Он уйдет отсюда, хоть и перезимовал здесь, и поесть-выпить здесь всегда находилось. «Уйти... не надо мне», – других мыслей не было. И вдруг вспомнилось: «своей истории не расхлебать, а ты о мировой печешься, есть кому о ней думать.» Так кому же? – Ночью он исправно допил свою рюмку и пожелал востроглазому технику спокойных сновидений.



А ранним утром он уже был в городе у пивного ларька. Здесь, в городе, стояла почти жара, деревья зеленели, розовели последние цветы урюка и снежно белели черешни. И его узнавали у пивного ларька, а позже у гастронома: «Здорово, Дед!».

...Каким это образом прозвище тянулось за ним через всю страну, хотя давно утратило свой изначальный смысл? Он и сам уже редко вспоминал, или старался не помнить, что было время, когда так называли его уважительно, что тогда – там, в море, пять лет назад – у него даже было право так величаться. «Дед, стармех, старший механик...» – ухмыльнулся он, а перед глазами косо летели навстречу ветру, летели низко поперек белого склона горы две черные альпийские галки. «Как печатные... а чайки белые... также вот летят ведь».

Кирилл оглянулся, увидел того, кто окликнул его «дедом». Увидел неизменный замызганный плащ-мапомерку, из-под коротких обтрепанных рукавов которого высовывались подвернутые рукава заношенного свитера. Взглянул на себя словно со стороны, отчужденно. И он ничем не отличается. «Вот тебе и Дед!..» Ближайшее, Каспийское, море плескалось отсюда где-то за три тысячи верст, а его все еще окликали «дедом» даже полужнакомые случайные люди. Да других у него и не было последние годы, других он ведь и сам не хотел и не искал, проваливаясь все дальше в этот омут.

Что делает он здесь, у пивного ларька этого южного сытого города? Все эти пять лет – куда они, что помнится? «Вот как, только эти галки и остались... – усмехнулся он криво. – Хва-тит!».

Кирилл вдруг выплеснул на землю из стакана, осторожно поставил стакан на ящик рядом. И пошел, не оглядываясь. «Тронулся! – услышал за спиной. – Ты куда это, Дед?».

Вскоре Кирилл был уже на почте. Телеграмма подалась длинная и несуразная, да и где бы он взял



деньги на такую телеграмму? Он сел писать письмо своему бывшему капитану. «Вот так, – мелькали мысли. – Хоть рядом с морем...».

И над тем морем будут летать белые чайки. На встречу ветру.

6.

- Мама, а чудеса Дед Мороз делает?

- Делает, сын. Спи...

- А он, всегда один приходит? Почему он один?

- Не всегда, с ним Снегурочка бывает. Спи же...

СЕЙЧАС уже было ясно, что никуда не попасть.

Еще недавно оживленная улица опустела в момент. Перемешанный торопливыми ногами липкий снег медленно расплывался по тротуару, откуда-то слышалась музыка и невидимый смех, которые делали улицу еще пустынее.

Они стояли рядом под козырьком киоска, за стеклами которого молчали журналы. Одна из газет смущенно поздравляла их с Новым годом. С наступающим Новым годом – до него оставалось совсем немного, а их нигде и никто не ждал.

Чем-то неувловимым они были похожи – эти юноша и девушка у газетного киоска на пустынной улице. Может быть, от общей растерянности, или – от желания успокоить один другого. Или от лимонного света фонаря, в котором все расплывалось, становилось мягким и невесомым. Но они были в самом деле чем-то похожи, чуть ли привздернутыми носами, обиженно ли приспущенными уголками детских губ. Их и звали-то одинаково: только его всегда называли Валюшей, а ее – тоже всегда – Валькой.

До двенадцати оставалось пятнадцать минут.

Через пятнадцать минут положено истомившимся над закусками гостям встать и взволновать себя и друзей своих нестройными тостами. И – рюмочным зво-



ном. И вспомнить что-то уютное, может быть – запах маминной руки, подкладывающей дед-морозов подарок. Или – одинокую ракету, запущенную остервеневшим от разлуки штурманом в очередную волну. Многое далекое или желанное – и потому особо волнующее – вспоминается в эти двенадцать часов...

– ...Ну и не надо: мы вот здесь встретим! Кто так еще праздновал? Не мучься, Валюша: я ведь к тебе ехала. В ресторане я могла бы и в Минске посидеть, а здесь зато морем пахнет. И мне вовсе не холодно...

Ей было холодно. Он чувствовал, как Валька сжимается, загоня дрожь внутрь, куда-то под сердце. И в который раз подумал, как нескладно получилось с ее приездом: сорвался быстро, ничего не подготовив, ребятам в общежитии сказал, чтобы не ждали, да и в ресторане, если б повезло, разве были бы они одни? А ему надо сказать Вальке наконец, как нужна она ему, весной ведь, он защитится и уйдет в море... Дома-то она могла бы весело праздновать... не мерзнуть, а вот – приехала. И теперь согласна пить шампанское здесь... из бутылки. Хорошо хоть упростили швейцара вынести это шампанское.

Валька дотянулась губами до его щеки и высвободила руку:

– Дурашка, ведь семь минут осталось.

От фонарного света часы расплывались, циферблат казался необъятным и словно плыл по воздуху. Сумка, которую Валька открыла, тоже выглядела великоватой и казалась хозяйственной в руках тоненькой Вальки, тоненькой даже в этой черной синтетической шубке. Из сумки она достала зеленую бутылку и шоколадку, которую швейцар почему-то сам догадался вынести «на сдачу». Валюша оморозившимися пальцами срывал с пробки фольгу. Какой-то мужчина появился и топтался на остановке, нетерпеливо вздергивая голову на часы и в глубину улицы, откуда мог появиться хоть какой-то транспорт.

И подошел ведь трамвай! И в его лязге, и в пус-



тоте за светящимися окнами молодые люди у киоска почувствовали себя еще более сиротливыми, они невольно коснулись друг друга плечами, чтобы не потеряться в этой сиротливости.

Мужчина неудобно взбирался в трамвай: руки заняты, а на ступеньках, видно, снег натоптали до льда. И Валюша уже хотел перебежать дорогу, но тот вошел в вагон и смотрел на них в окно. И словно ждал чего-то. Медленно тронулся трамвай, а юноша снова завозился с пробкой.

– Что вы эт-то делаете?!

Они оба вздрогнули от неожиданного крика. И увидели того мужчину, прыгающего назад со своими свертками. Кондукторша расплющила на стекле лицо, потом махнула водителю – мол, уже набрался! Трамвай взвизгнул на повороте...

– ...Я эт-то вас спрашиваю, вам что – места на земле нету?

И отдышался:

– Идем! За мной...

– Вы не имеете... – Валька просунула руку юноше под локоть.

– Имею... Идем же, может, успеем.

И заторопился, оглядываясь и бурча, впереди них. ...Дом стоял здесь же, невдалеке, они поднялись следом на второй этаж.

– ...Оправдываться некогда и не к чему. Как есть, тому быть, малы еще осуждать... Лучше все равно теперь не найти, – словно не человек сказал, а дверь скрипнула, открываясь.

Юноша и девушка стояли на пороге, а из комнат по-прежнему скрипел голос, который почему-то заволаживал и подчинял их себе.

– Раздевайтесь... а-а, черт... зеркало потом... стул на кухне... проходите же, еще и уговаривай! – хлопнула пробка и включенный приемник отозвался перезвоном курантов.

– Еще минута: выпьем за старый, как положено... будь он неладен...



– А теперь за Новый, уж всем сестрам по серьгам пусть будет... нового счастья желать не буду – это берегите. Пей девочка, до дна пей... от тебя это счастье больше зависит... Хрупкое оно – счастье-то мужское, не с морем бы ему вязаться...

– А теперь – похозяйничаем!

Они могли отдышаться и оглядеться. Их неожиданный хозяин казался бы полным, если бы не вытянутое лицо с твердыми глазами под пепельными бровями. Брови почти не выделялись на немного отечном бледном лице, по которому трудно было определить возраст, но молодые гости жили в том своем времени, когда люди в сорок кажутся уже почти стариками. Новый китель с несколькими шевронами и петлей на рукаве казался на мужчине затасканным, и по лацкану ползла дорожка из пепла. И вся квартира была пепельной: валялись книги, которых давно не брали в руки, на сером пианино громоздилось несколько запыленных чемоданов, а на письменном столе засох цветок. И везде пепел, он каким-то путем попал даже в плоскую и, наверное, красивую люстру...

Пока хозяин закуривал новую сигарету, а потом, вспомнив, открывал форточку, девушка толкнула друга, показала глазами. Юноша тоже увидел на приемнике среди того же пепла – обручальное кольцо.

– Золотое... – сказал он шепотом.

– Брошено, – шепнула Валька и обвела взглядом комнату.

– Лежит просто, – одними губами сказал Валюша, его встревожил ее поспешный вывод, в голосе девушки слышалась тревога.

– Бро-ошено... – зашептала огорченно Валька и выпрямилась.

– Осмотрелись? Знакомиться принято... лучше позже, чем ...– голос по-прежнему скрипуч и равнодушен, но рука у локтя Валюши – добрая.

– Валю...лентин!

– Тебя, забияка?



– Валь... Валентина!

– Ха-ха-ха... ха-кха-хо... Ну, сюрпризы – как знаменье... Ха-ох-хо!

Беспечный и громкий хохот так не вязался с настроением этого человека и с самой комнатой, что Валька, как тогда на остановке, ухватилась за рукав юноши и совсем по-бабьи прикрыла рот ладошкой. А хохот, освобождаясь, рвал прокуренный серый воздух, колебал холодный поток, текущий от распахнутой форточки.

– Ах-ха... вот ок-казия, братки, во-от смех-ху! – не мог остановиться хозяин, – одни Вальки... нет, кто поверит... Ух... Одни Вальки собрались!

И теперь уже хохоча втроем и удивляясь совпадению, принялись они хлопотать по квартире, сталкиваясь, мешая друг другу и смеясь оттого еще пуще.

И Валька выгнала мужчин на лестницу: «Ровно десять минут курить... не меньше, но не больше!»

И Валентин Григорьевич, подмигнув тезке – «хоть отчества различают», – ушел вниз. И вернулся, когда Валька уже перевешивалась в нетерпении через перила, готовясь звать погромче. Он вернулся, сам смущаясь неожиданным удовольствием: тащил горбатенькую, измятую сосенку. «Пусть и без игрушек...»

Поставили ее меж тремя чемоданами. Сосенка блестела каплями стаявшего снега и одним боком была красавицей. «Это ведь как взглянешь», – философствовала, весело пьянея, Валька.

– ...А вы почему, Валь Гри, решили прыгнуть? Ведь ждали же вас где-то, правда?! – Валька нагорланилась и наплясалась, а теперь уселась с ногами на диван и пыталась противиться сну. – Вы моряк?

– Рыбак я... капитан даже, вот!.. Ждали... да не там, где дожидаться надо... С моря трудно ждать, девочка. У тебя, что, Валюша – ты уж прости! – Валюша-Валентин, курево кончилось? Что куришь-то? Выпьем... напоследок.

– ...Хочешь сигару? Натуральная гавана... из Гава-



ны... ха! Я их одному другу-любителю все возил... почти каждый рейс... да бог им судья! Ты кем будешь?

– Технологом по обработке. Не хочу я курить, Григорич.

Валька ткнула носом в плечо Валюши.

– Ложись, забияка. Ложитесь – пятый час. Вон в той комнате, там в шкафу белье из прачечной. Пора отдыхать. – Капитан поднялся с кресла, голос его снова заскрипел.

...На улице шел снег. Крупными, мягкими хлопьями, как и положено в такую ночь. Где-нибудь дежурил Дед Мороз: самый настоящий, добрый, дарящий. Тем, кто в него верил, снились добрые сны. Даже, если сон застал кого-то на борту качаемого волнами судна. И пробуждение сулило подарки.

Шел сонный снег.

По улице еще никто не проходил, и снег ложился ровно, сглаживал прошлогодние следы, которые походили на шрамы.

Окна спали в доме. И в других домах – во всем городе, или почти во всем. Светилось в доме только одно окно, потом в нем – погашенном – светилась кошачьим глазом точка сигареты. Погасла, и она.

...Валька проснулась легко... За окном сверкало дерево, укутанное снегом. Сверкал в Вальке вчерашний день, а наступивший новый казался совсем розовым. Она щелкнула юношу по носу.

– Вставай, лежка! Где наш Дед Мороз?

– Ты ведь не уедешь... останешься теперь – со мной? – зашептал он. – Мы придумаем что-нибудь, нам надо теперь – вместе...

Он хлопотливо одевался, стесняясь. И побежал умываться, но сразу из другой комнаты крикнул: «Иди скорее!»

Валька босиком зашлепала следом.

Валька никогда не видела ананас, даже издалека. Читала, знала, что – есть. Даже запах по книге знала – земляничный. А – не видела и не держала.



– Ананас, – сказал Валюша.

– Тебе, – сказал.

Ананас лежал на прибранном столе. Чемоданов не было, и книги стояли на полках. И брошенного среди пепла кольца – тоже не было. Ананас был теплый даже на взгляд. Под ним лежала записка. Голос записки был скрипуч, словно у открывающейся двери.

«Ухожу в рейс. Надолго. Вам должно быть хорошо. Ключи на приемнике. Оставьте их у себя – у меня есть вторые. Квартира оплачена вперед, и никто не придет. Ананас делите сами».

– Пополам, – сказала Валька.

Они вышли в снег. Было здорово, снежки сами скатывались, и Валька сразу попала точно. А Валюша скатал один, но бросать не захотелось. Он подхватил ее на руки.

– ...И ведь даже фамилии не подписал, – перестал вдруг юноша кружить смеющуюся Вальку.

– Дед Мороз! – сказала Валька и положила голову ему на плечо. – Идем домой, ты ведь тоже есть хочешь?..

7.

*«А ты ещё имеешь смелость
По луже топать каблуком.
И в горле боль, но ты, как птица,
Поёшь...»*

(Л. Мартынов).

МЕДВЕЖОНОК был игрушечный, с черной тряпошной шерстью, с нелепо раскоряченными тупыми лапами, подшитыми, будто валенки, кожей. Нос у него сморщился, казалось, что он принохивается к собственному запаху и даже недоволен им. На самом деле медвежонок привык к своему захватанному мазутными руками телу, привык и к соляроному духу, пропитавшему его давно и накрепко.

Если бы даже у игрушки этой была память, то и



тогда медвежонку было б нелегко припомнить, каким он был прежде. И вернула бы память не к черному плюшу, из которого его кроили, а к хрустящему восторженному смеху мальчугана, что кормил медвежонка кашей. Однажды ложка попала зачем-то в круглый веселый глаз, манная капля прокатилась к носу, да так и засохла шрамом, вздернувшим курносую пуговку еще сильнее.

Но у Мини – так звали медвежонка, когда он не ходил еще в море – не существовало памяти и до сегодняшнего дня он вполне довольствовался своим висячим положением над серой подушкой с грубым черным клеймом почти посредине, прихлопнутым рукой явно небрежной и равнодушной. Раньше, когда на эту койку еще приходили письма, Мини по конвертам сразу узнавал ту же руку: место для штампа всегда выбиралось самое неожиданное – на лице, на самом ярком цветке. И хотя хозяин радовался и таким конвертам, Мини казалось, что ставит штампы один и тот же человек. Но Мини был только медвежонком, да и то – игрушечным...

Сейчас медвежонку оказалось бы не до рассуждений, будь он даже живым, Серая подушка под ним ерзала, сухо клацали стальные крючки, на которых болтались зеленые потертые шторы, что отделяли коечный мир медвежонка от остальной каюты. Когда шторы с визгом съезжались в одну сторону, Мини мог видеть, как болтается в прикрепленном к переборке подстаканнике консервная банка из-под сгущёнки. Банка та издавна служила в пепельницах и была полна мелких, спаленных до фильтров окурков. Снаружи доносились удары, от которых все резче клацали крючками шторы, все раздраженной дергалась банка, все чаще выпрыгивали из нее обожженные фильтры сигарет, а пепельное облако все гуще оседало на полку внизу, стекая затем неслышными серыми ручейками куда-то ниже...



Мини уже, конечно, встречался со штормом. Но сейчас его неправдашние глаза были растеряны: он раскачивался на своем шнурке в такт нарастающим снаружи ударам, пока не стал колотиться по дну верхней койки. Мах – удар, еще мах – еще удар; ра-аз – бах!-два-а – бах!..

Иногда при толчке снаружи совсем грубом, от которого поскрипывала переборка, Мини несмело жаловался тем единственным звуком, который зашили ему в животе. Ай-ма-а!.. Но медвежонка никто не слышал. Каюта была пуста и гулка.

Шла «Флора» – тайфун. Какому потерянному безумцу привиделось впервые в этом коварном буйстве женское имя?..

Средний рыболовный траулер «Мерефа» задыхался и карабкался на темную водяную гору в бесплодной надежде, что гора окажется единственной; а добравшись – стремительно и длинно скользил по спине этой горы, сливая с себя потоки и постанывая. К новой волне, которая поднималась где-то в небе...

И хозяину было не до жалоб Мини, маленького неправдашного медвежонка с манным шрамом на переносице и растерянными глазами. Хозяин его, второй механик «Мерефы», скользил по рифленому железному настилу, с тревогой вслушиваясь в над-рывное хрипение главного двигателя.

В вентиляторе давился брызгами холодный ветер, но механик все не мог выкроить время, чтобы от-вернуть раструб вентилятора, который он еще утром сам направил жерлом к носу траулера.

Сейчас лучшая музыка для всех на борту – ровный гуд двигателей. Этот рокот удерживает на плаву их жизни, поэтому механик часто прикладывает тыльной стороной ладони к тем местам, где за крышками скрываются подшипники. Можно быть спокойным: масло почти не нагрелось, как кстати промыли они всей машинной командой коллектор и сменили масло позапрошлой ночью!.. Черт его



знает, сколько еще штормовать придется, дури в этой «Флоре», хоть отбавляй, хоть молись на нее. За весь февраль всего пять промысловых дней, что за напасть такая!..

Было около четырех ночи. Конец вахте, и механик чаще посматривает на хронометр.

Траулер вдруг швырнуло резко и зло. Механик поехал к компрессору, с трудом удерживаясь на ногах, вцепился в трубу охлаждения. Двигатель взвыл и начал набирать обороты: там – в этом кипящем море – винт оголился и молот воздух. Механик бросился к регулятору, но судно уже выровнялось и теперь потащило куда-то вверх.

Он свистнул в штурманскую.

– Вы что – сдурели там! Пятьдесят пять крен! Двигун запороть хотите, м-мать вашу!..

– Н-не уд-держал на в-волну рулевой, Виталич. Лаг-гом встрет-тил, м-муд-дрец! Мне здесь с-стекло выдави-ило, – штурман от злости заикался там, на другом конце переговорной трубы.

– Шуточки... Третьего пойдешь будить, моего тоже толкни!

– Д-добро!

Через полчаса он сдал вахту третьему механику и поднялся в рубку. Сменившийся матрос пристраивал на место разбитого стекла фанеру. В рубке было свежо, и второй штурман задыхался на верхнем этаже витиеватого мата. Вахтенный штурман стучал ногтем по барометру и улыбался довольно беззаботно и выспанно – он был совсем молодой.

– Вот! Вот с-смотри на него, В-виталич! Не может руля в руках удержать, стервец непросоленный. А в штурмана ведь мет-тит!

– Зачем же практикантов к рулю в такую погоду ставить. Давай помогу заколотить!..

– Пусть сам уродуется, не манную кашу лопать!

– Брось, Аркадий, чего теперь-то психовать. Пусть отдыхает, у меня лучше получится. А то вон



Сергея твой задубеет здесь за вахту, весь твой псих у него боком выйдет...

Море в последний раз свистануло брызгами, потом стало чуть тише: фанера приглушила рев.

– Радетель ты наш! – штурман кивнул сменщику, взял механика под локоть. – Не укачала девушка-Флора? К утру кончится. И не девушка уже – столько времени от Кубы шла, всю Атлантику измочалила, а все силищи, не приведи бог... Покурим в салоне?

– Нет... наверх поднимусь. Соляром прокоптел, хоть воздуха вдохнуть свежего.

– Смотри там, наверху: у нас как-то рыбмастер вышел на крыло покурить – только его...

По мокрому трапу механик вскарабкался на верхний мостик. Вот здесь ветер дул настоящий, нужно было согнуться, чтобы устоять перед ним. И вокруг было только море, море, море.

Траулер напряженно подрагивал где-то изнутри, и было странно, что эта точка сопротивляется и выстаивает в такой коловерти. Механик, удерживаясь за леера, раскачивался вместе с траулером, замороженный дрожанием судна, напряжением волны, которая все не могла перевернуть траулер, пропастью, куда летел он, чтобы на следующей волне вновь вырваться – вверх.

Небо было совсем чистым. И очень черным, прямо неестественно по-театральному черным. И звезды казались вырезанными из фольги и приклеенными.

А под траулером терзалось живое море.

У моря были глубокие глаза, в которые смотрел сейчас механик, и руки-волны казались мягкими и зовущими. «Боишься!» – ласково-насмешливо звали глаза, раскидывая руки. «Не боишься?», – спрашивал ветер, когда мостик с механиком взлетал по гребню волны так высоко, что хоть – отцепляй любую звезду. «Боишься...» – шепта-



ла пена, когда судно с человеком, сжимающим леера, летело в пустоту.

Ему стало тревожно. Не страшно, чего бояться моряку, когда надежно работает двигатель и судно послушно штурвалу... Но он представил, как далека отсюда земля, и тоска по берегу прервала дыхание, потому что глаза у моря показались знакомым-знакомые, такие до боли знакомые, что механик уже судорожно вцепился в мокрые, обжигающие солью и холодом леера и наклонился – к самым глазам.

Каким-то немислимым нутряным усилием он заставил себя оторваться, вырваться из этого наваждения. И спустился в каюту.

Там было тихо, лишь Мини, его замусоленный тряпочный медвежонок-талисман, несмело жаловался и смотрел растерянными глазами, раскачиваясь на своем шнурке.

А потом медвежонок сидел на маленьком столике, навечно привинченном к переборке, и уже с любопытством и нежностью смотрел на человека, да ерзал по столику, чтобы придвинуться ближе к листку бумаги – наверное, хотел заглянуть в листок. Но Мини читать не умел, поэтому моряк писал письмо, доверяя бумаге свое наваждение и свою тоску.

Какие только письма не пишутся в море, когда Атлантикой играет тайфун с женским именем Флора, а волна смотрит на моряка знакомыми, далекими-далекими глазами... Прочитают ли они те строки, в которые заглядывает игрушечный медвежонок Мини с манным шрамом, вздергивающим и без того курносый нос его?..

Море все плавнее раскачивает траулер. И черный игрушечный медвежонок привычно пахнет соляжкой, согревая щеку уснувшего рядом механика...



8.

*«Все тихо и молчит,
и вот луна взошла...»*
(Ф. Тютчев)

ПОЗДНИМ вечером ко мне постучалась женщина.

Переехал я в эту квартиру совсем недавно и еще никого не знал. Впрочем, лицо женщины было мне знакомо: запомнилось в несколько случайных встреч на лестничной площадке. Совсем короткие волосы придавали ее лицу мальчишечьё выражение, если видеть мимоходом, выглядела она совсем молоденькой. Да и фигура у нее была подростковой, чуточку даже угловатой. Ей не шла помада, делавшая рот меньше и жестче. Потому что губы тоже были подростково припухлые, и непонятно, зачем их нужно скрывать этим жестким помадным рисунком.

И только глаза возвращали ей возраст, быть может, увеличивали. В них стоял некий грустный вопрос, ни к кому не обращаемый, плыли отрешенность и холод, от которых становилось неловко. Хотелось скорее пройти мимо: видимо, сказывался простой инстинкт самосохранения, или обыкновенный бытовой эгоизм, называй, как хочешь, — человеку, который сталкивается с подобным взглядом, является чувство неосознанной вины, взваливать же эту вину за здорово живешь на себя вовсе не хочется.

Но я быстро забывал этот взгляд чужого человека, помочь которому ты не способен. Да и не знаешь — как, не знаешь даже, нужно ли — помогать. Иногда ведь и грусть и боль — достояние столь же сладкое, что и радость. Страдание очищает и приподнимает человека над обыденностью, и это более интимное, более хранимое достояние: радостью человек охотно поделится, боль и грусть сильный человек не понесет на люди, это свое... А незнакомая женщина производила именно такое впечатление — человека, который привык самостоятельно распоряжаться своей судьбой.



Она попросила о помощи.

Ей необходимо позвонить. Прежде всего, узнать время прилета самолета. Я не расслышал, из какого города он летел, понял только – самолет пролетный и сядет на полчаса.

За окном шумели проходящие машины, потрескивала неоновая реклама. Ее свет окрашивал падающий снег в розовое. С непривычки снег мог показаться искрами, несущимися с большого пожара. Эти неправдашние искры-снежинки, на которые я так любил смотреть и которые примиряли меня с этим приоконным неоном, почему-то не показались женщине, которая вошла в комнату, закончив телефонные хлопоты. В руках у нее была телеграмма.

– Какой... безобразный снег, – она передернула плечами и прислонилась к дверному косяку так резко, словно желала нарочно ощутить реальную жесткость дерева. – А снег этот нельзя... потушить?..

Наверное, ей было необходимо выговориться, а может, даже выплакаться, и если бы здесь было купе вагона, а я не был бы соседом, с которым завтра придется здороваться, то так и случилось бы. Странно, однако, мы склонны порой случайно встреченным людям открывать такое сокровенное, чего не доверили б и самому близкому...

– Мне ужасно неловко... да и не знаю, как вы отнесетесь к такой навязчивости. Только мне не к кому сейчас обратиться, а вы... – она определенно знала, как я отнесусь к любой ее просьбе. Разве можно отказать в чем-то женщине, когда она постучалась поздним вечером, и когда у нее усталые глаза, и когда за окном несется откуда-то багровый снег?..

Предложить ей есть? Кофе?

– И не беспокойтесь, ради бога. Просто мне очень нужно быть в час в аэропорту... а вызвать такси можно от вас. Если...

Я стал сбивчиво говорить, что нет никакого беспокойства, что я сегодня один и все равно буду поздно



работать, что рад буду хоть чем-то быть ей полезным – соседи же... И все это – стараясь не натолкнуться на отсутствующий взгляд, не выдать своего интереса к ней. Потом – больше для того, чтобы как-то подтвердить свою готовность быть полезным – предложил отвезти ее самому.

– Это было бы самое лучшее, – сразу сказала она. – Нам ведь хватит сорока минут на дорогу?.. Двадцати? В половине первого буду готова.

И вышла, бросив резкий, что-то свое будто зачеркивающий, взгляд на горящий за окном снег.

Когда мы садились в машину, снег перестал идти, хоть небо и было еще затянуто низкими облаками. Было тускло и тихо. Доехали мы молча. Ее рука лежала на колене, открытом полкой черной шубы. Колено обтягивал тонкий чулок, а в руке подрагивала все та же телеграмма, зачем-то взятая ею с собой. Казалось, молчаливая моя соседка так и не выпускала этот листок из руки с той минуты, как получила: словно конец нити, по которой надо идти далеко... Да мало ли что можно нафантазировать себе в молчании рядом с незнакомой женщиной, сосредоточенной в себе настолько, что жесткая складка залегла у сжатых губ...

Мы подъехали к аэропорту.

Здание светилось суетно и сонно. И внутри царил напряженный сон, изредка дробящийся голосом репродуктора. Здесь люди привычно оживали на мгновение, чтобы вновь окунуться в настороженную дрему. Свет ламп сжимал веки и накладывал резкие тени на обезразличенные сном и усталым ожиданием лица.

– Прибыл рейс Мурманск–Минводы, – сказал репродуктор. – Самолет вылетит на Минводы через тридцать пять минут, – добавил репродуктор устало.

Моя спутница прошла на выход. Губы жестко сжимались на совсем остывшем лице. Рука все так же сжимала листок телеграммы. Навстречу ей уже вылились пассажиры приземлившегося самолета.



Вернулась спутница неожиданно быстро.

Я не заметил, как она подошла, а когда тронула мой локоть – не вдрызг узнал ее.

Глаза – распахнутые глаза ее – светились голубым мерцанием, как те маленькие, застенчиво-броские, бело-голубые цветы, что облепили большую ветку в руке женщины. Цветы были мне незнакомы, очень далекие и нездешние, как и женщина, что явилась с ними. Шубка распахнулась, а губам моей вновь явленной соседки вернулась припухлая беззащитность. Телеграммы не было. Вместо листка бумаги держала она эту ветку с далекими цветами, словно вобравшими в себя холодное, радостное снежное сияние, нежное и резкое, будто хруст утренней пороши...

На нас оглядывались пассажиры аэровокзала. И меня волновало это признание, пусть я и был простой случайностью.

Мне казалось, что и сон исчезал из-под высоких потолков зала ожидания. И само ожидание этих людей не казалось теперь сонным и бессмысленным. Они вырывались из случайной дремы своей и – улетали в другую, новую жизнь. Почему-то в дороге чаще пребывают мужчины.

Где-то их ждали уютные женские руки. Ждали раскрытые тёплые губы. И глаза, распахнутые невыразительными словами телеграмм. Ради тех глаз можно было вытерпеть даже обезличивающий, тусклый свет всех станционных ламп...

Мы возвращались в темной, без неба, ночи, когда женщина протянула руку к ветровому стеклу. «Прощу вас, остановитесь!..»

Я выключил мотор. И свет. Вокруг было безмолвно и безлюдно.

А сквозь облака пробилась, и вот уже выкатилась большая оранжевая луна. Стало светло; все кругом залилось бело-голубым светом. Призрачным и все же таким реальным, что хотелось почувствовать этот свет на ощупь.



– Когда она взойдет – ее везде видно, правда?
– сама себе подтвердила женщина.

Мне представились далекие заснеженные холмы, на одном из которых мог, наверное, стоять сейчас человек и так же зачарованно смотреть на этот оранжевый диск в небе. Мог стоять он и на вздыбленной волной палубе. Потому что, действительно, луна – видна везде, когда она взойдет. И потому что она сводит взгляды этих двух, зачем-то разъединенных во времени и пространстве.

И, наверное, в этом пространстве меж ними есть свой смысл, как в той неувядающей ветке с белыми цветами, согревающей руку женщины. Как в том тихом свете, что обливает их обоих, когда взойдет луна.

Есть смысл в напряженных ожиданиях, стынувших женских глазах, готовых взорваться нежностью на встречу голубому сиянию. И блажен, кого видят эти женские глаза через дороги и время.

Когда взойдет луна...



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВАРЕНЬЕ

Странный мы всё-таки народ – двойственный, что ли... В каком ещё краю встречают-отмечают Рождество дважды? Или - Новый год? Только на Руси, даже если она бывшая Восточная Пруссия. Язычники мы всё-таки, пусть и завязтые атеисты.

Из-за приверженности традициям приятель мой, вполне благополучный и благонамеренный человек, попал «как кур в ощип». Сам он и рассказал эту историю: не поймёшь теперь, смешную ли, грустную...

Увлечение у него вполне безобидное. Каждый год в конце лета и всю почти осень священнодействует он на кухне - варит разные варенья. И надо сказать, вкуснейшие, притом всегда одной консистенции, так что его-то варенье, в которое он никогда не добавляет воду, по одной ложке узнаешь. Клубничное, малиновое, сливовое, из черноплодки и яблок, даже из перележалых бананов, на которые почти не тратится сахар.

Разумеется, всё это разнообразие никогда не съедается, банки и баночки скапливаются в шкафах на веранде и в подполе, он раздаёт их друзьям и на кафедре. Жена его Александра, долгоногая и черноокая хохлушка, очень деятельная и, в отличие от него, скромного филфаковского доцента, управляющая



солидной транспортной фирмой, порой благодушно ворчит на такое засилие банок-склянок, но это так, походя и любя... Живут они уже двенадцатый год, каждый вторым браком, который оказался удачным, быть может оттого, что он на семь лет старше и на столько же примирившийся с жизнью, быть может – именно по разнице темпераментов. Но она до сих пор влюблена в его меланхоличное пение романсов, в его огромную библиотеку и начитанность, и в его умелые руки, которыми он, филолог, может и полку новую соорудить не хуже журнально-итальянской, и без слесаря-водопроводчика обойтись. И ещё любит Александра рождественско-новогодние праздники, начиная с двадцать пятого декабря и заканчивая четырнадцатым январём.

Приглашает Александра уже который год троих своих институтских подруг «на свеженькое варенье... ну, вы знаете...». Они – Катенька, Вера и Ната – и вправду знают и любят этот их сложившийся обряд, дань его увлечению: именно на первое Рождество (пусть и католическое) после всяких закусок и вин выставляются баночки с новыми вареньями – на пробу и восторги. Катенька уже давно разведена, бездетна и не всегда приходит в сопровождении очередного «ах, он такой душка, это – теперь навечно», зато Вера и Ната вполне благополучны в замужестве и умело управляют со своими «мужиками», предоставляя им считать себя «главами», которые, впрочем, деятельно поворачиваются шеей... И они все красивы или милы, подруги Александры, хотя и каждая по-своему.

Ах, как прекрасны эти зрелые женщины в такую рождественскую ночь, как обжигающе манящи донесёнными до декабря солнечно-золотистыми шейками и грудью, чуть прикрытой мягкой тканью – черной, фиолетовой и вишнёвой, из-под которой видимо-дразняще проступают неувядшие бутоны сосков! Как женственны эти мягкие колени долгих ног



на высоких каблуках, что придают женщине такую полётность в мягком комнатном вальсе! Как округлы эти обжигающие локотки, доверчиво лежащие на мужском плече, как таинственно глубоки эти глаза в мерцающем свете ёлочных лампадок, как влажны эти умело подкрашенные губы в сводящей с ума полуулыбке!..

А за окном уже глубоко тёмно, уже ночь открыла форточку и в неё так сладко и свежо врывается серебряным облачком морозный воздух. И как по заказу ватными голубоватыми хлопьями в слабом посверке уличного фонаря медленно падают к земле тяжелые снежинки, всё плотнее сбиваясь друг к другу и укрывая, наконец, человеческую неопрятность земли.

– А теперь – дегустировать Митино варенье! – зовет всех Александра к накрытому столу с чайным самоваром во главе. Щеки её девичье розовеют, чуть раскосые глаза теплы весельем и выпитым шампанским, узкие запястья кажутся ещё тоньше в серебряных браслетах, а тонкие пальцы уже раскладывают сухие печенья в плетёные корзинки.

– Красавица всё же у тебя Шурочка! – говорит хозяйину кто-то из мужей, тут же получая шутиливо-ревнивый тычок от собственной половины. – И ты, и ты, киска, у меня мила...

– А к варенью нынче Масандра, – машет салфеткой хозяйка. – Настоящий портвейн, не туфта – из Крыма, от родителей тащила.

Она и в самом деле позволила себе летне-осенний отпуск у родителей, «в кои то времена вырвалась!».

Она уже, как и ежегодно, положила себе в расписное блюдце по ложке разного варенья из нескольких баночек, шеренгою выстроенных по столу. И все гости так же привычно накладывают себе разноцветные маленькие порции, стараясь не смешивать их на блюдце. Дегустация! «Что-то жидковато оно у тебя нынче», – мельком проговаривает



Александра мужу, отпивая вино и поднося ложку к влажным губам. Он пожимает плечами и опрокидывает рюмку водки – вино он не пьёт.

Она делает маленький, совсем чутошный глоток, потом пробует ложечку розовым язычком и зачем-то подносит ложечку к самому чуть вздёрнутому носику. В глазах её скользит тень удивления, она переводит взгляд на мужа, потом на белокурую Нату, занятую рукавом своего благоверного, умудрившегося таки капнуть на себя вареньем. Белолицая Ната встречается с этим взглядом и вдруг щёки её пунцуют, она слишком поспешно уводит свои глаза, берёт розовеющий бокал и поднимает его: «За тебя, дорогая!..»

Все шумят здравственными словами, улыбаются, чокаясь и выпивая. Вино и правда, отличное, и не пьянит, но – располагает. «Ну, ну, подружка...» - чуть не вслух проборматывает хозяйка и уже несёт к губам новую порцию.

Глаза её темнеют, она пристальней и дольше вновь смотрит на мужа, который вдруг ощущает этот тяжелеющий взгляд, ещё не понимая, но уже с долей неюта пытается подмигнуть Александре: ну как, мол, всё хорошо? Но этот её взгляд уже ртутно перетекает на Катеньку, нынче одинокую, но на правах дружбы «ангажирующую» поочерёдно каждого из троих мужчин. Катенька поменьше и, пожалуй, поизящнее своих подруг, портит её разве что небрежная сигарета и небольшой шрам, вздёрнувший уголок рта будто в постоянной усмешке. Но она добрая и безотказная, всегда готовая помочь, и влюбчивая до восторженных или отчаянных слёз.

«Вот это уже его варево, - с какой-то лабораторной усмешкой пробует Александра из очередной ложечки. – И это... а это – Ве-ерка постаралась, с курагой он никогда не делал...». А он, уже дрогнувшей рукой, опрокидывает новую рюмку холодного «Флагмана» и всё равно ощущает, как вязкая тревога заполняет грудь.



Мужья её подруг безмятежно и рассеяно смотривают в телевизор, а женщины, уже торопливо и устремленно отпробовавшие из всех баночек, скучнеют, искоса бросая взгляды друг на друга и, в то же время, стараясь не пересечься этими взглядами. Его же мысли судорожно сталкиваются в голове, глаз он ни на кого не поднимает, а лицо горит пятнами – хоть прикуривай от них.

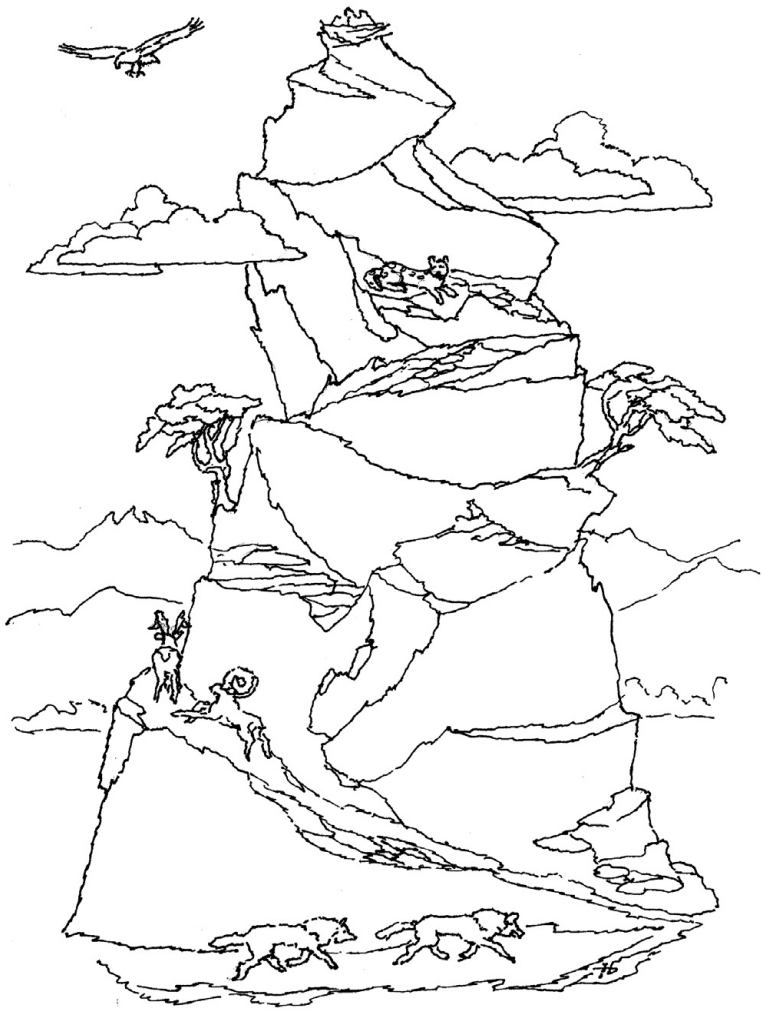
Криво улыбаясь, он подходит к тёмному окну, за которым зачем-то разошёлся ветер и гонит по городу настоящую метель с тоской и безотрадностью. «Она поняла...», - стучит в голове и влажное стекло окна не может охладить лба.

Так и было: она ведь знала, что варить он мог только ночами, сколько таких ночей у них было, когда он, пахнувший смородиной или яблоками, нырял в постель, и эти запахи добавляли к их страсти ещё что-то более дикое или совсем нежное – в зависимости от того, что булькало в это время на плите. И он ведь никак не мог отказаться от помощи Катюши, когда она «заглянула на минутку, не надо ли помочь». А в следующий раз Вера «забежала» с новым рецептом и они до утра его опробовали. А Наташа...

Он вышел на кухню, глубоко затянулся дымом сигареты. Нет, курить он теперь не бросит... Вошла она с измазанными вареньем блюдцами. С усмешкой, выдержав паузу и осторожно составив посуду в раковину, она вдруг растрепала ему затылок: «Ну-ну, куришь теперь... Вот и это Рождество ушло...» И добавила: «Все мы родственники на этой земле, так? Как там? – да воздастся ему по делам его...».

А за окном метёт метель.





ЗВЕРИНЫМИ ТРОПАМИ

В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА...

Из повести «Проклятие (Мороки)»

... МЕДВЕДЬ был большой. И жирный. Гарпанча знал это ещё в тот момент, как впервые увидел след. «Лето прошло хорошо, наелся дедушка», - подумал.

Он седьмой день шёл этим следом, ожидая, что хозяин леса заляжет, пора бы ему. А тот всё брёл, не меняя направления, нехотя, скорее по привычке, путая следы и злясь на что-то - это охотник тоже видел по глубоким царапинам на стволах, по вырванным с корнем деревцам, вот и прихлопнутый, вовсе нетронутый зверем молоденький лосёнок зря только попался под тяжелую лапу, невесть зачем забредя в эту чащобу.

Кружит амикан, кружит... «Верно скоро встретятся с Григорием», - думает себе охотник. Гарпанча с начала выслеживания даже в мыслях стал называть себя тем христианским именем, которое дали русские при крещении. Он знает, что так надо, помнит всегда, как помнит, что старый Сэдюк ему не отец, а спас его Большой Иван, купец нынешний. Бровин тогда ещё и купцом не был, он бродил по тайге один, золото промышлял: вот и набрёл однажды на стойбище родителей мальчишки, которые уже остыли, а двухлетний Гилгэ еще цеплялся возле них за жизнь.



Он бы давно догнал медведя, если бы не вёл с собой оленя. «Как привезёшь, если Григорию повезёт», - рассуждал, оборачиваясь и заглядывая в пугливые глаза, выказывающие, что животное тоже чует зверя. Итик, лайка Сэдюка, кажется, и так уже недоволен таким долгим следованьем, но этого медведя нужно брать наверняка, Григорий же без ружья пошёл. Рогатина да нож. Старик учил охотника, рассказывал, но что толку от слов, когда одному на медведя ходить еще не приходилось. А брать надо: Сэдюк стар, и люди на него косятся, говорят, что не дело было старику ссориться с Большим Иваном. Гарпанча очень хотел принести мясо, доказать верность слов отца, что жить можно и без пороха. Хотя он тоже не понимал, почему бы их тойону и не показать купцу, где лежит золото.

Сам бы он, Гилгэ, обязательно бы показал. Купец однажды пересыпал в ладонь юноши песок и камешек дал подержать, тяжёлый камешек, Гилгэ даже понюхал его зачем-то, когда купец просил такие смотреть на речках. «Не жалко для Большого Ивана, - думал. - Почему жалко, мне не нужны...» А у Бровина, когда ссыпал обратно в мешочек, глаза краснели, как угли, на которые подуешь ночью. Но Гилгэ те камни не попадались.

И еще он благодарен Большому Ивану за то, что Григорий не родной сын Сэдюку. «Пусть облизывает жир с губ Тонкуль сколько хочет, - успокаивает он себя мыслями, дергая оленя. - Не будет Арапэ ему женой...» Даже закон здесь за Гилгэ, одного они рода - Тонкуль и Арапас. А с Гарпанчой никакие они не родственники, хоть и поила тогда своим молоком мать девушки. Брат Арапэ, ровесник его, умер, и мать тоже, остался один Григорий. Так он и называет себя, когда охотится на амикана - хозяина леса, их предка, хотя Арапас любит Гарпанча, а не Григорий; но пусть дух амикана думает, что выслеживает его Григорий - христианин, в десятую свою весну кре-



щённый смешным отцом Варсонофием, у которого голос не хуже самого амикана.

Сейчас будто тот голос услышал Григорий, но откуда взяться здесь отцу Санофею? - Медведь, дедушка это.

Юноша подозвал к себе собаку одним шелестом пальцев. Потому что Итик тоже слышал и чуял, напрыгшись всем телом, приподняв губы над клыками в беззвучном рычании, ветер к нему нес запах врага. «Григорий выследил, дак», - и юноша перекрестился, как учил отец Санофей, чтобы русский бог помог охотнику.

Затем привязал оленя на длинный чумбур, чтобы сыт был и не сбежал, а из мешка достал маленького божка, которого давно дал приёмный отец, и пообещал тому божку кусочек печени со свежей кровью от амикана, если духи помогут добыть зверя и отведут с дороги злую силу. Итик все понимал и ждал, подняв уши и шерсть вздыбив.

Дальше Итик побежал вперёд, вбирая в себя воздух и тихонько поскуливая от возбуждения. Охотник знал, что пёс теперь не промахнется, выведет точно и задержит, сколько надо. Рогатина была тяжёлая, толстое древко ее морил сам старейший из цельной рябины, а где глава рода брал кованую двурогую насадку, Грапанча не знал, давно эта рогатина у Сэдюка, до того ещё, как появился он, Гарпанча, сейчас притворяющийся русским Григорием, чтобы не узнал его медведь. Нож же он купил сам у Бровина, за своего соболя купил, и Иван Кузьмич хороший нож выбрал своему крестнику: вот Григорий чувствует на поясе – нож всегда под рукой.

Теперь Итик лаял уже громко и беспорядочно, он метался вокруг и старался не попасть под лапу здешнему хозяину. А тот злился, потому что он пришёл на место, здесь он и хотел устроиться ночевать на зиму.

Охотник одним взглядом оценил небольшую про-



галину, увидел вывороченные корни старой лиственницы, давно упавшей и уже покрытой мхом, отметил крону ёлки, как раз покрывшей поднятый лиственными корнями пласт земли, и большую яму под ними; верно, хозяин этот не один год здесь отдыхал, а может даже и родился в этой берлоге, потому что яма была увеличена явно самим зверем и груда хвороста натаскана им же.

Охотник сразу оценил и толстый ствол лиственницы чуть поодаль себя, и чистую, без кустов и травы, землю вокруг того ствола, а земля устлана отжившей хвоей, нехорошая то опора. Но лучшего не было, да и зверь уже заметил врага, их взгляды встретились, шерсть поднялась на загривке медведя, он рыкнул на увёртливого хриплого пса и повернулся оскаленной мордой к человеку. «Большой амака, человек такого не видел...» - мелькнуло.

– Ки-и-к... – не совсем решительно каркнул Гарпанча, но и собрался с силой. – Ку-у-к! Ки-как!

Так кричит ворон, так ворон охотится, и охотник предупреждает дедушку-амака, что не один, мол, он здесь. «Это не я боюсь тебя... другой человек боится... это Гарпанча боится, Григорий я», - то ли думал, то ли бормотал охотник, чуя, как страх сжал затылок, а ноги заохлодели и на мгновение они стали мягкими. «Ки-и-к!» - снова поддержал себя и упругими теперь от поддержки ногами переступил к примененному стволу, не отводя взгляда от зверя.

Итик казался вертлявым комочком рядом с громадным туловом медвежьим, наверное пёс и был-то всего с голову да шею таёжного хозяина. Не мысли, так - тени мыслей проносились, как теньями была и память о стойбище, где трудно отошли за лето от прошлой голодной зимы, а мяса опять нет, и скоро совсем ляжет новый снег, а люди уже забили первых оленей, пропадут люди.

– Как кочевать тогда? Без оленя и без мяса? – спрашивал охотник медведя.



Мгновения все, как мысль. Потому что больше ведь не отпущено. «Дедушка» этот здесь дома и вовсе не рад гостю, собака которого норовит ухватить побольнее, задержать. Знает Итик, как надо. А охотник выставил острия перед собой, другим концом рогатины нащупывая упор у дерева. Рыкнул медведь и нежданно легко метнулся к человеку. Только ждало все же жало, прямо в грудь у плеча вонзилось, отпрянул было зверь, но здесь же поднялся с рыком натужным, громоподобным, протягивая передние лапы навстречу ожогу.

Сзади же Итик наскакивает, пасть шерстью чужой забита, тоже разъярился Итик, до живого достать норовя. Пытается хозяин, не глядя, отмахнуться лапой от пса. И ревёт страшно, клыки желтые показывает, дух тяжёлый из пасти слышен. Туда, пониже оскала и суёт охотник рогулину острую снова, пока навис над ним зверь, а пёс, как ждал, вцепился где-то внизу. Так всей тяжестью плечей и лап и на-сунулся, разъяряясь, медведь на острие.

Вошел один рог под ключицу, другой наискось пониже - в середину груди... неудачно вошли рога, только боль несут, а не смертельно. Зверь же навстречу той боли прет, лапой с когтями домахнуть до охотника жаждет, пена из пасти течет.

Ничего теперь не изменить. На Итика, на дерево, в которое уперлось древко рогатины, да на нож надежда. Бог ли, дух ли помогут, а тень разъярённого зверя лежит уже на небольшом перед ним человечке. «Ровно Большой Иван...» - мысль ли, шорох ее, просто память?

Напряжённно, жалобно постанывает древко под тяжестью... Итик! Собака попалась всё же на отмашку звериную, отлетела назад, за лохматую спину... нож сам в руке... вот туда под лапы нырнуть, успеть и прижаться... мокрое брюхо и грудь, а нож сам понимает, куда ему идти...

Гора мохнатого мяса, булькая чем-то внутри,



урча и тяжеловесно обмякая, навалилась на охотника, неверно завернула, будто выказывая на прощание уходящую силу, неумолимо выдавливая из плеча Гарпанчи ту руку, что без ножа, больно становится, искристо и тошнотно... и дышать тяжело - мокрая шерсть всё лицо закрыла, душный запах залил рот, нос, глаза теменью... а-а, Итик, жив, поди? - еле дергается бессильная неповоротная башка амикана - в ухо, что ли, вцепился Итик?.. но тело медвежье еще горячее, еще толчками выходит из него жизнь, к этим толчкам можно приноровиться, чтобы выбраться... боком, пласью, ползком... ф-фу-ух! - выдыхает плотную надышанность Гарпанча и поднимается поскорее. Только левая рука не даёт выпрямиться, обвисает и тянет все тело в свою сторону. «Ничего, - думает парень. - Неживой амикан-дедушка».

– Это не я тебя убил, это русский Григорий тебя убил... ищи его иди! – бормочет, как положено, Гарпанча медведю, а рука не хочет слушаться, и плечу горячо, делается оно большое, и рука тяжелеет. «Ничего, дедушке вот совсем плохо, неживой теперь», - успокаивает себя Гарпанча.

– Домой теперь повезем дедушку, – медведю и псу говорит Гарпанча, заставляет себя наклониться и вытащить нож, надо печень открыть: самому кусочек теплой поест, чтобы легче стало, Итику дать, божку обещал...

– Хорошие боги помогали Григорию тому, благодарит Григорий, однако, – пробует улыбнуться Гарпанча, но рука все мешает выпрямиться, а откуда-то из подвздоха будто выталкивается тягучая боль.

Всё же он, глядя на зализывающего свой бок Итика, переваливает тушу медведя поудобнее, хотя для этого приходится стать на колени, почти лечь, и вскрывает податливое брюхо. А надо ещё сходить к оленю, сделать волокушу, навалить на неё эту добычу, пока не заоченела. И каждый шаг даётся все труднее, вислая рука тянет тело к земле, мучительно



тупая боль будит желание лечь поудобнее и забыться. Незаметно начавшийся снег на некоторое время поможет Гарпанче перебороть забытье, но боль берет своё. «Рассердился на меня дедушка видно...» - проскальзывает еще мысль. - «Или духи мои обиделись...»



ПУСТЫНЯ

... ВЕТЕР дует порывами, несет над землёй острую снежную крупу пополам с пылью и песком. Солнце поднимается нехотя, как бы плавая в полупрозрачной дымке, и медленно разливает свой свет на безрадостную, безликую равнину.

Глинистая земля, лишь кое-где прикрытая пролысинами хрупкого снега, кажется, не может родить никакой жизни: редкие кусты жёсткого биюргуна и дрожащие побеги полыни смотрятся сиротливыми и случайными.

Никакой дороги или тропы не оставляла на себе промёрзшая почва, а случайный след почти сразу стирался ветром. Беда путникам, затерявшимся здесь, в стороне дорог и ориентиров.

Кажется, и время здесь движется по-своему, отмечая лишь вековые да тысячелетние мгновения. Ровная земная гладь теряется, тонет где-то в зыбком горизонте, а он колеблется и мерцает – то ли небо впереди, то ли море...

Неопытному человеку даже солнце в такой зимний день не послужило бы путеводом: на небе, кроме истинного, столь же ясно видны несколько ложных солнц, обведённых кругами. И это не странность, не мираж даже, а лишь холодное свойство сильного преломления лучей, вовсе не редкое в этих пустынных местах.

Несколько солнц да медленно парящий орел, вы-



искаивающий редкую жертву... И тишина, не нарушаемая даже орлиным клекотом.

Но мало кто решится быть зимой на Устюрте, вне людей, вне дорог и близкого пристанища.

Чуть переместится солнце, впереди может открыться темная гряда. Такая же, что возникла сейчас чуть в стороне и сзади. Кажется, совсем рядом поднимаются горные кряжи – это видны истонченные водой, солнцем и ветром, излизанные бывшим здесь тысячи тысяч лет назад морем, отвесные стены впадины: она была когда-то дном того моря, и стены те подобны чинку, что окружил всю пустыню крепостной стеной. И хотя до стен этих, быть может, не один десяток километров, кажутся они близкими, совсем рядом – все то же обманчивое преломление лучей, подстраивающее сказочно-обманные миражи на пустынном месте...

Мглистые солнца освещают многоцветные обрывы, которые будто созданы для иллюстрации геологического атласа своими многослойными разрезами, тысячелетними напластованиями и образованиями, вскрытыми ветрами и весенними спадами редких вод. Грибовидные останцы, гигантские шары спрессованных временем песчаников; причудливые громады на тонких основаниях выдуваются по частицам и по своему времени рушатся под собственной тяжестью.

Всё напоминает фантастический лунный пейзаж, который не воссоздашь простым желанием и короткой мыслью, а здесь скульптор один – постоянный, вечный, бесстрастный – Природа. И времени у нее много.

Склоны чинков порой напоминают неприступные стены древних замков, хмурых и молчаливых, и – напряженных. Одно время способно взять, эти бастионы... лишь ему они подвластны.

Ничто не нарушает здесь безмолвия, холодного и равнодушного. Лишь ветер, усиливаясь по временам, гудит в неровных изрезах скал, точит новые каменные изваяния...



Местами стены выветрены и поднимаются ступенчатыми широкими платформами-террасами. Кое-где видны никем не копанные пещеры и углубления. Иногда склоны осторожно и мягко, будто опасаясь нарушить покой, сползают вниз длинным – в несколько километров! – языком гигантского оврага с рельефными оголёнными стенами.

По дну такого ущелья, защищенного от ветра и резкого солнца, скатывается весной и застаивается редкая снеговая и дождевая вода, она вбирает в себя соли и тончайшую пыль, нанесенную в щели, затаины, трещины камней. Благодаря воде здесь всегда зеленеет кустарник, даже зимой тускло шуршит жухлый тростник.

И в пустыне всегда теплится жизнь. Всякая. Разная...

* * *

... Вот сюда-то вниз и спускался старый тяжелорогий муфлон. Баран шел к слабому, чуть сочащемуся родничку на самом дне ущелья, возле которого заманчиво желтел тростник. Он спускался от террасы к террасе одному ему ведомой тропой, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, готовый в любую минуту вновь взбежать по еле ощутимым трещинам и чуть заметным выступам к своему недоступному отстойнику.

Седина густо подбила его большой меховой подвес на груди. Загнутые рога были выщерблены в прежних поединках, в которых ему приходилось отстаивать право продолжателя рода. Широкая спина, прежде рыжеватая, побурела от возраста: напряжённые ребра проступили под шкурой, а колени уже начали отекать, хотя ноги ещё не потеряли своей упругости и силы.

Он был один – почему он один? Ведь теперь не время быть одному? Кто знает это...

Ещё недавно, и двух месяцев не прошло, вел баран свою последнюю и единственную подругу к постоянному водопою у останца, по ту сторону это-



го чинка, над впадиной. Грохот раздался вдруг, хотя ничто не предвещало угрозы. Муфлон испугался запаха свежей крови, что вытекала из его баранухи, и долго-долго бежал от террасы к террасе, пересекая лишь ему известные разрезы. Все собратья его ушли в другие места, но он был слишком стар уже, что бы покидать привычное. Здесь знаком каждый выступ, каждый спасительный поворот набитой над пропастью тропы... Теперь он был один в Карагие.

Много раз старый муфлон по весне опускался в это глухое ущелье. Здесь, у самых обрывов, зеленела желанная трава. Здесь всегда ему было спокойно – достаточно несколько минут, чтобы в случае опасности вскочить на спасительную стену.

Но на этот раз его давно ждали и высматривали внизу затаившиеся острые глаза... пара... две... три... Упрямо ждали, глухо и молча, у них хватит терпения надолго, на часы, ибо секунда нетерпения – это голод, это еще один упущенный шанс выжить.

Баран спустился на самое дно принизменного чинка, постоял неподвижно: лишь чуткие ноздри подрагивали, ловя воздух, да в напряжении подергивалось ухо. Ничего не почувяв и не услышав, он начал обрывать сухие, жёсткие стреловидные побеги.

Трое волков, напряженно вливая тела в каменистую землю, тоже подрагивают ноздрями от раздражающего запаха желанной добычи, которая спокойно передвигается на высоких и сильных ещё ногах вверх по языку ущелья, теряющегося где-то далеко. Оттуда потихоньку тянет ветерок, и этот запах, плывущий к ним со сквозняков, заставляет каменеть мускулы. Глаза хищников скашиваются порой на сторону, но они скорее чувствуют, чем видят: там – чуть выше и в стороне – осторожными толчками и медленными полуползками пробирается по каменному карнизу четвертый охотник, их волчица.

И волки ждут, когда она будет в том месте, где



сможет отрезать этому старому муфлону путь на его стену, на которой он станет недосягаем для врагов.

Медленно проходит час. Куда времени здесь спешить?..

Быть может, слишком пристален был чей-то голодный взгляд, но вот старый баран насторожился и сразу, ещё не понимая до конца опасности, сделал несколько скачков к желтоватой, лишайником поросшей глыбе, что вплотную прилежала к почти отвесной стене.

Вскочив на глыбу, муфлон обернулся: три волка, постепенно расходясь в стороны, мчались на него. Один из хищников уже поднимался по карнизу, другой был чуть ниже, а третий – бежал по самому дну, отрезая возможный путь на другую сторону. Умельцами загонщиками были волки.

Но муфлон и не думал отступить назад: прямо от глыбы начиналась едва заметная тропа, по которой ему-то легко можно подняться сразу на несколько площадок вверх. Не очень торопясь, баран побежал по террасе, изредка даже останавливаясь и оглядываясь на преследователей. Волки оставались на том же расстоянии, не приближались, но и не отставали. Муфлон поднялся ещё уступом выше. Он не очень беспокоился - несколько прыжков, как это бывало всегда, и он перейдёт черту доступной врагам дороги. Трое серых разбойников, каждый по своей скальной тропе, продолжали преследование, уже не пугающее горца.

Когда муфлон едва заметными касаниями копыт поднялся ещё выше, ветер дохнул на него страшным запахом. Так близко он никак не ожидал ощутить опасность: чуть выше, почти над его головой, осыпалась щебенка и мелькнула буроватая зловещая тень. Волчица подросла вовремя.

Старый баран даже приостановился от неожиданности, но возбуждённое постанывание сзади подстегнуло его. Он побежал по скальному прилавку, уже оглядываясь и всей кожей ощущая над собой опасность. Промедление приблизило к нему нижних пре-



следователей, но они были бы не страшны, не будь этой неотступной тени над головой...

Волчица не отставала, но и не торопилась - она знала, где муфлон сделает новую попытку оторваться от неё и подняться вверх. При первой же возможности она поднималась выше и снова бежала параллельно муфлону.

Вот опытный рогач попытался, срезая небольшой угол, почти по отвесной стене перескочить наверх, но чуть не столкнулся с клыками. Тогда он, не останавливаясь, прыгнул обратно вниз на несколько метров. Такие прыжки всегда выручали барана - волку, даже самому ловкому, подобное недоступно. Высота была стихией муфлона, и он всегда мог уйти от любого преследователя.

Но старость и одиночество плохие союзники: в этот раз муфлон не рассчитал прыжка. К месту приземления уже примчались сразу два волка. Один из них почти на лету вцепился ему в лопатку, но муфлон рванулся в сторону... Дальше полет стал неуправляемым. И то, что вместе с ним летел, сжимаясь и хрипя, волк, вряд ли примиряло с концом последнего муфлона впадины Карагие.

Тяжело упало далеко внизу грузное тело. Хриплый вскрик подвёл итог последней охоте волка. Донёсся шум осыпающихся камней, потом слышалось довольное повизгивание самого нижнего зверя, который не стал ждать ни другого товарища, ни осторожно спускающуюся старым надежным путем волчицу...

Медленно, словно нехотя, поднимается тусклое солнце. Медленно сочится по трещине в скале тонкая пыль, и кто знает, сколько ещё времени пройдет, пока истончит та пыль вместе с водой, ветром, морозом и солнцем огромные загнутые рога старого муфлона, выщербленные во многих боях за право продолжения рода...

У природы много времени, но на созидание уходит его больше чем на разрушение...



БАЙКИ СТАРОГО ОХОТНИКА

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ вернулся с «птичьего» рынка, где он продавал щенков Динки.

– Последний приплод, – сообщил он, вытаскивая из конуры единственного круглого щенка. – Одного пусть кормит. Старая стала...

Последние слова старика обращены к Динке, с тоскою глядящей на своего сонного отпрыска в руках хозяина. «Не сомневайся, эту с тобой оставлю, – успокоил старик собаку, и та благодарно шевельнула хвостом, а глаза ее влажно засинели. – Сучонку оставил, тебе на смену. Нас с тобой покой ждет, чуешь?..»

– Сучка надежнее, – пояснил старик уже мне. – И в охоте способнее, и к дому привязчивей.

– Какая охота, дед? В городе-то! Да и вообще...

Динка у него полукровка-овчарка, рыжей масти – лисьей, но крупная. Василий Иванович все ей в женихи лайку подыскивал. Нашел, видно, коль об охоте вспомнил. Хоть и сам знает, что не судьба уже Динкиному потомству зверя или птицу гонять, так и будет эту мастерскую при домоуправлении стеречь, которую старый взял на себя под восемьдесят лет. Благо, двор мастерской из окна квартиры виден, а Динка, голову подняв, хозяйский силуэт наблюдать может. Зимними вечерами старик больше любит сидеть в каморке при мастерской, где топится печка, кажущаяся чудом в самом центре города.



Наверное, любому возрасту свойственны свои причуды. Подойдя к своему восьмому десятку, старик Скуратов заскучал у привычного телевизора. И затосковал по тому времени, когда он мог целыми днями не сходить с коня, выслеживая хитрого лиса; когда тяжёлая птица, выпестованная из голошеего птенца, поднималась на крыло с руки, а потом сердце молодого охотника ухало в тревожно-восторженном азарте вместе со стремительным падением беркута на первую свою добычу; когда, обманутые опытным секачом, облаивали собаки темную осеннюю воду Иртыша и не решались войти в шипящую серую шугу, проплывающую мимо них, и вновь облаивали, растерянно и обозленно, темные просветы воды, по которой ушел на другую сторону зверь, а кабан уже выходил на правом берегу, встряхивался и неторопливо исчезал в прибрежном тальнике, и не долетал до него ни топот коня, ни бесполезный, вдогон, выстрел огорченного парнишки-охотника...

Давно это было. Чуть не в начале века, столь необдуманно, драматично противопоставившего человека почве, из которой он вышел, и природе, столь самонадеянно «преобразуемой» людьми, что им и места в ней почти не остается. С тех пор Василий Скуратов целую жизнь прожил в городах, и так уж сложилось, что и на родном-то Алтае довелось побывать уже в старости. Это очень грустно: вспоминать и сравнивать совсем не в пользу того, что стало с землей в том самом будущем, ради которого принесено столько жертв. Казались привиденными во сне собственные воспоминания того времени, времени вольной охоты, безлюдных троп, тишины, нарушаемой лишь пересвистом птиц да успокоенным стоном отжившего свой век дерева...

— Город, говоришь? И вообще, говоришь?.. Да память-то и в них живет, — старик кивает на Динку с её сосунком, сладко почмокивающим во сне, кивает на потрескивающие угли, схватываемые голубыми



огоньками. – Не-ет, шалишь, ничто не уходит бесследно...

Ничто.

ЭХ ВЫ, КОНИ-ЗВЕРИ...

НАДО сказать, мне в детстве не везло, вечно какая напасть подстережет. Отец с матерью потом рассказывали, что какая-то болезнь привязалась с самого рождения – и не жилец, мол, думали. До трёх лет всё же дотянул в той болезненности, тогда мать по чьему-то сердобольному совету повезла меня в село Мякотиху. В крестьянстве болезненность убийточна, а на мужские руки уж наперёд рассчитывать приходится, это помимо тоски материнского сердца, с болью детской примириться не способного.

Повезла она в Мякотиху меня к старухе лекарке. Топила та старуха двенадцать бань, поила «святой» водой и травяными настоями горных трав, природных. Пошел я всё же на поправку.

Иногда я даже подумывал: а не испытывала ли меня природа на прочность, готовя мне достаточный срок жизни и путь извилистый? Ну это я, так, к слову. А все же смотри – восемьдесят четыре скоро года своих отмечу, а голова с руками своё дело до сих пор знают, и за бутылкой со мной не каждый усидит — это уж так, к смеху. Да, вот с детства и посыпалось — то болезнь, то упадет что тяжелое, то с коня свалишься, то сам залезешь незнаемо в какую крутоверть и разве что чудо выведет... Началось же все, как я понимаю, из-за самой двоякости, что ли, появления на свет в такой семье, как моя. Отец-то у меня казах, и крещёный: когда мать-казачку, дочь именитого станичника, соблазнил, чтобы жениться, и крестился. И прожили жизнь – семерых подняли детей. Если б с земли не сошли... ну, это другая статья, той беды никто не чаял. Опять же, и здесь судьба испытание посыпала: какой такой экземпляр, к примеру, на стыке двух народов получит-



ся? Годный для жизни, или так себе? Всю дорогу и подсовывала: а вот это как, выдюжишь? – ну, живи себе дальше, плодись, мол!..

Естество, мол, своё возьмет, не сопротивляйся только ему, человеческому естеству. От земли не отрывайся, да.

Вот говорят, охота – пуще неволи. Видно, я и сам, дабы себе сморчком не казаться, искал «приключений», из которых выходил потом с шишками, синяками, а то и вовсе с проломленной головой. Это естеству не противоречит, если не за чужой счет себя испытываешь да чужой беде не радуешься.

Наши родители, к чести им, думали не только о работе для нас – а в крестьянской крепкой семье сызмальства посильную работу делать приходилось – но и о полезном, по их мнению, отдыхе-развлечении думали.

Отец купил бердану, нарезное ружье, бывшее когда-то, до трехлинейки, в армии на вооружении. А после еще и малопульку приобрел, на мелкую дичь при точном глазе – куда как хороша. Мы с братом в воскресенье с полудня бывали свободными, если не пасли в это время скот. Дичи в бору немало, так мы уходили на охоту за косачом, глухарем, зимой – по белке и зайцу. Я умудрялся охотиться даже когда пас скот, особенно на тетеревов. При этом грехом считалось зряшное, из баловства, убийство – птицы ли певчей, зверушки ли, для промысла бесполезной. Не дай бог на живой твари попусту свою меткость пробовать – любой взрослый выдерет, да ещё и отец добавит.

Поначалу отец давал мне бердану и три-пять патронов. Было то ружье на рожках-подставках для меня тяжёлое, а все ж не мог я отказать себе в удовольствии таскать бердану с собой. Особенно весной, когда токуют косачи и глухари. Но отец требовал на каждый израсходованный патрон отчета – трофеем. Иначе он мог и отказать в ружье.

Для этого ружья нужна твёрдая рука, а в мои



двенадцать лет моя рука и со спусковым крючком еле справлялась. Заряжалось же оно одной пулей. Конечно, я мазал. Потому и начал хитрить. В местах, где пас скот, много косачиных токов. Тайком научился я ставить там петли из конского волоса, а после и капканы. Пойманных таким образом тетеревов я прокалывал железным шомполом, а когда приносил домой, то хвастался, что подстрелил из ружья. За это время я приноровился к ружью, и уже через год никакой хитрости мне не требовалось.

Иногда мы вырывались на охоту со старшим братом, который стрелял лучше, но так случалось редко. Однажды в воскресенье после сильного ночного дождя наш сосед Даумен, который работал в это время с нами на паях, предложил мне поехать с ним в бор. Он рассчитывал отыскать по следу – а дело было в июле, когда трава в лесу достигала человеческого роста и след после дождя хорошо виден – медведя и промыслить его, если удастся.

Сказано – сделано: заседлали двух коней, взяли с собой берданку и двустволку, заряжаемую жаканами, и выехали к тому месту, где он собирался найти медведя, ездили, а никаких следов и в помине.

В одном месте стали переезжать ложбину, конь моего напарника ускорил ход, а мой, по молодости, вздумал его перегнать и пошел карьером. На пути в траве попала торчащая валежина, я-то на нее и внимания не обратил, тем более что конь легко её перескочил. Но спустя час, случайно взглянув на шею конька своего, заметил я подозрительную припухлость. Еще сидя верхом, ткнул пальцем в шею, а палец полностью ушел в опухоль. Крикнул я Даумену, что с конём, мол, что-то случилось. Спешились. И теперь я увидел, что опухоль пошла по всему телу так, что и подпруг уже не было видно. Оказалось, в том прыжке конь все же нарвался на встречный сук валежины, который и разорвал, прямо распорол ему между передними ногами грудь до самой кости.



От охотничьего азарта, как и от угара скачки, и следа не осталось... Уселись на одну лошадь, моего потерпевшего повели в поводу. Так и добрались домой.

До дому ехали шагом, чтобы не оказать на лошадях признака дальней дорога и чтобы подъехать потемну. В потемках, мол, расседлаем незаметно и отпустим в луга: там они сами найдут свой табун. Так решили с Дауменом, так и сделали.

Я даже и ужинать не пошел, чтобы не выдать случившегося волнением. Поужинал у напарника и пришел домой спать. И хоть вроде обошлось, спал я дурно. Коня-то жаль было.

Проснулся совсем рано, затемно. Даже мать спросила – зачем? Мог ведь еще поваляться часок. Мне ничего другого не пришло в голову, как сказать, что видел нехороший сон и надо бы сходить к лошадям. Чую, мол, неладно что-то там.

Лошадей нашел быстро. Среди них и раненый мой саврасый оказался. Он ещё передвигался, но уже был раздут как барабан. Когда пригнал я весь табун, дома решили, на коня глядя, что его напугал медведь, не иначе, и он напоролся на что-то, убегая.

Случилось, что к этому времени по каким-то делам подъехали казахи-соседи. Тут мать и расскажи им о моем «пророческом» сне. А казахи здесь же причислили меня чуть не к лику святых, аллахом отмеченных. Дело в том, что в последние годы у нас в хозяйстве резко стало увеличиваться поголовье скота, и слух пошел основательный, будто есть в доме кто-то, угодный богу. Теперь-то всем и стало понятно – кто! Пришлось молча принимать незаслуженное внимание.

Но в следующий раз всё было иначе. Видно, зря ничего не происходит под луной, а бог шельму метит... Мои милые кони, с которыми я рос в детстве и к которым до старости вот неравнодушен, чуть не отправили меня на тот свет!

Родные сёстры моего отца, оставшиеся в ауле, по воле родственников и по бедности были рано вы-



даны замуж, почти детьми. Быть может, потому ни тетя Майдыбала, ни тетя Майдыжан так и не смогли родить, а к нам, племянникам, относились словно к родным детям. Да и с отцом моим оставались в добрых отношениях, хоть он и принял другую веру. И, что важно, никогда не отказывали в помощи.

А какая в тех условиях нужна была услуга? Конечно, в уходе за скотом, которому в летнее время запрещалось находиться в лесу. Держать, да и то под присмотром, разрешалось лишь трех-четырёх рабочих лошадей. Поэтому всех остальных коней, кобыл с жеребятами, а также овечье поголовье на летнее время мы сгоняли к тетке на джайляу.

В тот раз осенью, перед молотьбой уже сжатого хлеба отец послал меня в аул верстах в тридцати. Нужно было пригнать четырех жеребят трехлеток да прихватить домой тушу барана покрупнее.

Переночевал я в юрте, а утром мне поймали трёх молодых лошадей, одичавших за лето и лоснящихся от сытости. Четвёртого же – не нашли, сказали. В следующий раз, мол. Позже-то я узнал про обман: жеребчик оказался заезжен за лето до джауров*, тощий и вымотанный. У некоторых нерадивых, хоть они и всю жизнь кормятся при лошадях, нет того уважения, какого эти животные заслуживают. И не выбьешь дурную привычку ездить на одной лошади все лето, хоть торчи у бедной ребра и спина сбита до крови. Остальные же могут беситься с жиру!.. Потому и не показали, возможно, боясь отцова гнева.

На трёх пойманных надели недоуздки, что я привез с собой, привязали двух за хвосты друг к другу, а третьего дали мне в повод. Для удобства, раз уж у меня оказался лишний недоуздок для «ненайденного» коня, связали концами два повода, а сам недоуздок оголовьем я надел на руку. Подо мной была добрая гнедая кобыла, к седлу в коржунах приторочили разделанного барана.

* Потертости под седлом, долго не заживающие



Такой кавалькадой, не торопясь, я и выехал домой.

Трехлетки, что шли за мной в поводу – хвост в хвост – заезжались зимой и весной, однако за полгода воли в косяке снова одичали и первые километры шарахались по сторонам от каждой взлетевшей изпод ног птахи или куста, качнувшегося от ветра. И так этими шараханьями – надергали мне руку, что я ничего умнее не придумал, как перекинуть оголовье через всю грудь, словно портупею от шашки.

На свое несчастье.

Тем не менее, долго ли, коротко ли, но полпути мы проехали. Вот и кордон лесничества на речке Аюды. Конечно же, для скучающих собак наша процессия явилась неплохим развлечением: стая захлебывалась лаем, а моя напуганная тройка моталась из стороны в сторону и пыталась изловчиться, чтобы попасть какой-нибудь шавке по голове. Здесь-то мне удалось их удержать.

Но подвох готовил пустующий барак для лесовозов метрах в двухстах от дома лесника. На весь наш сыр-бор из этого барака выбежали штук шесть лошадей, всю трезвоня боталами и шоркунцами, привязанными к шеям.

Это было уж слишком для моих дикарей!

В ужасе они так рванули в сторону, что, хоть я и успел обхватить свою гнедую кобылу за шею, резвуны мои свалили меня вместе с лошадью, вытащили из седла, а здесь и недоуздку надо ж было захлестнуться у меня на ноге!

Напуганные неожиданным колокольным ужасом, мои убийцы потащили меня за ногу назад – откуда я их привел. Какие-то остатки кольев выдрали мне кусок мяса из бедра, рубаха задралась и в момент превратилась в лохмотья, а я спиной и боками по таволожнику и мелкому кустарнику летел, оставляя теперь уже клочки собственной шкуры. Свора собак, мимо которых меня тащили, вновь бросилась вслед,



ещё подстегивая бег лошадей. Я орал свое никчемное «Тпру-у!» уже разбитыми губами, а задний жебец, у которого я мотался почти под копытами, не прекращал на ходу взбрыкивать – и бог хоть уберег, чтобы удары приходились повыше моей головы...

Километра два показались мне бесконечностью, а впереди уже мнился спуск к реке, где неминуемо по валунам эта топтыгинская тройка должна будет раскроить мне череп.

Мне повезло. Не добегая каких-то десяти метров до спуска к реке, лошади остановились – здесь пильщики для удобства рядом с тропой сделали подкоп земли, в него я с ходу и свалился, а нога уперлась в борт. Непонятно, как мне попросту не сломали ногу, но кони остановились, а я тут же сбросил с ноги недоуздки.

И в это время впереди – моим лошадям навстречу – выскочил верховой: объездчик Хмара с револьвером, из которого он намеревался всадить пулю одному из трех резвачей в моей связке, чтобы остановить этот бег.

Хоть и был я словно из мясорубки, но смог еще крикнуть ему: «Дяденька, не стреляйте, они не виноваты!»

Здесь подбежала жена лесника с детьми, они перенесли меня в дом, где я сразу и заснул на кошме. Мне и перевязки никакой не стали делать, так что к утру вся одежонка и накинутая простыня вместе с кровью и потом присохли к телу.

Посадили меня утром на мою гнедую, и – шажком, стоя на стременах, добрался я домой. Дикарей же моих, чуть меня не угробивших, довели какие-то песовозы.

Лечила меня мать проверенным способом – корнем ревеня, сушеной толченкой которого присыпали раны. Дней через двадцать я и думать забыл о той поездке, разве что отметины лихого «катания на тройке» напоминают о моих милых лошадях до сих пор... Не прошло и года, как в поездке с братом за сеном игренавая



кобыла снова чуть не отправила меня в рай – куда ж еще по малолетству! Ехали мы шестью санями, впереди Петр – он всегда ездил на передней лошади.

Одна кобылка отстала и тянула себе, тормозя остальных. Я подкрался незаметно, по положению забрался в её сани, взялся за вожжи да и дотянулся до кобыльего зада рукавицей – ничего другого в руках не оказалось, а в голове, видно, и вовсе не было...

С перепугу игренюха и лягнула меня по самой этой пустой голове. Шапка с головы слетела, остальные кони тоже заторопились за передними санями – поэтому брат, на мое счастье, оглянулся.

Позже он рассказывал: сидишь, мол, в санях, в руках веревка, личность вся в крови. Сразу и повернул всех домой, а сам пересел ко мне на заднюю лошадь, которая теперь первой к дому стала. А к дому-то её и погонять не надо было, донесла полным ходом. Дома – опять переполох. Двое суток не отходили от меня, пока сознание не вернулось.

Не веришь, что выжил? Э-э, еще и не такие чудеса жизнь устраивает. Миром думай – не придумаешь! И об охоте сейчас будет... там также всяко случается.

МЕСТЬ

НЕ ПОМНЮ уж за какую услугу, а получил мой отец от Ивана Какоулина, жившего в селе Мякотиха, щенка, которого называли Чернышкой. Это была собака! Добычливее в округе не найти, уж столько она отцу лис перетаскала. Но я сейчас не о собаке, о ней будет разговор. Я о Какоулине-старшем.

Старшим я его называю, потому что у него шестеро сыновей было, и все в него – кряжи. А старший Какоулин славился охотничьим промыслом. Добычлив был на всякого зверя, но известен ещё как охотник на медведя. Что-то штук двадцать добыл, а это, поверь, не так просто – такая удача выпадает одному на сотню добрых охотников. Вот о послед-



ней-то его охоте я и хотел рассказать. Все на том же лешаке-медведе он и споткнулся. Да не просто: застрелил его, считай, зверь!.. Не веришь?

Чаще всего лесного хозяина берут из берлоги, загодя подготовившись к встрече. Делается это ранней весной, когда на солнечных склонах снег только тронут теплом, а в теневой – лежит толстым слоем. Охотник еще раньше, во время промысла белки, соболя нашел берлогу, и теперь поднимать медведя идет с напарником, ожидающим зверя со взведенным курком, да лучше ещё и со вторым ружьем рядом – ведь тогда у большинства не было ружей с центральным боем, а пользовались шомпольными, которые заряжались с дульной части.

В летне-осенний период промыслить медведя трудно. Чуткий зверь, да и время проводит в чащобе погуще, в кустарниках, где смородина и малина, а склоны в горах, где ровно, заросли высокими травами. Хотя вот в это-то время он больше всего и пакостит: на скот нападает, на пасеки, посеvy топчет с налитым уже зерном, особенно овсы. Бывает, что охотятся тогда скрадом на приманку, но это дело хлопотное и редко успешное.

Так вот, однажды Какоулин выехал из Мякотихи верхами по направлению к Алтайскому хребту. Берлогу он поставил на замету давно, да, видно, понадеялся на свой многолетний опыт – только собаку и взял с собой. При себе имел шомполку – курковую винтовку тридцать второго калибра и большой нож.

С километр не доезжая берлоги, оставил коня привязанным к дереву, а с ним собаку. А когда добрался к месту, то убедился, что зверь еще не поднимался с лежки, снег вокруг не тронут.

Ох, недобрую службу может сослужить человеку самоуверенность да привычка к благополучным исходам прежде. Поторопился, видно, Какоулин, ничего не предпринял, чтобы медведь задержался на выходе. Вот и оказался первый выстрел неудачным. Лишь



легко ранил зверя, что хуже чистого промаха. Напал медведь на охотника, который отскочил к большому дереву, в два обхвата кедр попался.

Вот вокруг этого ствола и началась борьба-погоня не на жизнь, а на смерть. Кружат вокруг, медведь рычит на человека, тот – огрызается на медведя. И старается на ходу ружье зарядить прямо с натруски, без мерки насыпать достаточно пороха в дуло, а не так это просто.

На рев медведя и на крики хозяина примчалась собака, что оставалась у лошади. С ходу вцепилась в «штанину» Топтыгина, собаки у Какоулина, я ж говорю, всегда работой славились. Отвлекла чуть разъярённого преследователя от охотника, который сумел воспользоваться минутой, зарядил-таки ружье и выстрелом остановил медведя.

Но сам был тяжко ранен в голову: в спешке, видно, натрусил лишку пороха, вот и вырвал выстрел из затыльной части ствола замок-винт. Замок угодил Какоулину прямо в лоб, пробил кость и там застрял.

Тяжко раненный медведь укувылял в глубь леса, преследуемый собачьим лаем. А охотник – здоров ведь как был! – доковылял до лошади, которая и довезла его до села и дома. Отсюда, из Мякотихи, нужно везти раненого в Зырянск, где только и была тогда больница. Это верст шестьдесят – семьдесят. Чуть не сутки по тому времени добираться.

Какой уж там врач был, но как попробовали извлечь тот злополучный винт, так раненый и скончался. Как потом считал мой отец, и по словам сына Какоулина, казенник, якобы, доктор повернул неправильно. Мол, вместо выхода винт еще глубже вошел в череп, вот старший Какоулин и отдал богу душу.

Думаешь, кончилась история? Я ж говорю – охота пуще неволи. Раненый-то он раненый, и конец свой чуял, а однако в трезвой памяти разъяснил сыновьям всё о медведе, место подробно обрисовал. «Разыщите, мол, и если жив ещё, то dokonчите, он тяжело ранен».



После похорон, и девятины не дожидаясь, собрались два старших сына, Дмитрий с Егором, по следам отца. И берлогу обнаружили, и медведя в ней – живого. Однако все попытки вытурить зверя из убежища окончились ничем, а огнём они посчитали противным действовать.

Тогда Дмитрий с заряженным ружьем сам полез в нору. И когда в темноте заметил слабо освещающие два зрачка, стрельнул в междуглазье и в момент выполз. Выждав время, слезил во вторяк, ещё пальнул. А переждав наготове, в третий раз полез уже с одной веревкой, которую и привязал благополучно к передним лапам бурого. Конём и вытащили тушу медведя с его последней зимовки.

Вот так-то, ничего мужики были?..

ПО МЕДВЕДЮ И КАБАНУ

МНЕ МЕДВЕДЯ убивать никак не приходилось, врать не стану. Хотя и видел тогда в бору часто и близко. Однако надежды не терял и желание охотничьей встречи подогревалось постоянно — это ведь самый крупный хищник в наших краях. А взять такого в пятнадцать-семнадцать лет — думаю, понятны каждому мои надежды, мечты и тщеславие!

Однажды в дождливые дни, когда вся мошка-гнус попряталась, а животные чувствовали себя свободными от ее назойливости, наши коровы ушли далеко от дома и не вернулись на ночь. Было их больше десяти голов, они в лесу ночевали, а ночью на них напал медведь. Может быть даже, что они напали; коровы животные храбрые, умеют защищаться стадом и нападать. Но одну черную корову, у которой было ботало, медведь задушил, а трем другим серьезные раны нанес. После побоища рано утром все они, кроме черной, с рёвом прибежали домой. По их следу мы нашли и задушенную корову, заваленную в небольшой впадине валежником. Туша была



не тронута, нужно было, конечно, забрать ее домой, корова была уже жирной: снять шкуру, мясо засолить-закоптить и съесть. Но были, видно, сыты, а еще больше – суеверны. Поэтому оставили тушу на месте и решили убить этого медведя.

Сразу между соснами на трёхметровой высоте сделали лабаз-укрытие, а вечером залезли с отцом туда с ружьями. До рассвета сидели, но ничего не высидели. Может, не было вовсе, может, не слышали – ночи стояли безлунные, а он себя выказать не очень торопится.

Ездили и сидели еще три ночи, потом и шаги его слышали – сухих сучьев да листьев было много. Но на мушку взять не удавалось, зверь больше вокруг-около лазил. Работы было много: кроме смолокурни шел сенокос, так что после четырёх дней-ночей засады мы это дело оставили. Когда же дня через три наведались, то от коровы остались рожки да ножки!

И все другие встречи так и оставались заочными, когда был я к ним готов. Вставал на его след не однажды, лежки ещё тёплые захватывал с собаками, но медведь всегда меня раньше чуял. Чутьё у него вообще очень развито, поэтому, когда он чувствует злого человека, то старается подальше от греха убратся!

Однажды отец ездил по делам в лесничество на Красный кордон, что стоял почти в устьях слияния трех рек. На обратном пути заехал к леснику, который жил на вершине Асу-Булака – позже это место стали называть Бел-гора, или Плач-гора. Лесник заразил отца рассказом о следе дикого кабана, равном следу копыта годовалого телёнка. В то время ближе озера Зайсан диких свиней вообще не водилось, а этот приبلудный кабан прошел совсем близко от кордона. Отец вернулся, мы осмотрели с ним оружие – были берданка и почти новая двустволка с витыми стволами, подготовили патроны, чтобы рано утром выехать на этого кабана. И еще до рассвета приехали на кордон.



Вместе с лесником выехали в бор, где стали на след. Пошел след в сторону нашей речки Тульской по самым крутым и каменистым склонам. Три наши собаки сперва активно пошли, но кабан переходил несколько ключей, шел по гористым каменным россыпям, следом за ним мы тихим шагом объезжаем крепкие каменистые выступы, проходим перевалы. Собаки уже стали равнодушнее – видно, кабан шел даже без ночлега, нигде не лежал. И привел к Иртышу ниже Гладского кордона, у которого нас застали сумерки и куда мы заехали ночевать. Утром и объездчик к нам присоединился – всем было лестно добыть приبلудного зверя. При трех теперь берданах и одной двустволке ехали мы вчетвером левым берегом Иртыша ниже нынешней Бухтарминской плотины, где был пуг, мелкий кустарник и камыш. Здесь-то и ждали мы зверя: заняли удобные места, собаку на след поставили, ждем – не зря все-таки два дня преследовали. А собаки обежали всю низменность, вышли на берег реки, по которой шла шуга, и остановились. Подъехав, увидел я, что след кончается у Иртыша в воде, кабан вплавь ушёл от нас. Так и кончилось наше двухдневное выслеживание незнакомца: кабан подложил нам большую свинью...

ЧЕРНЫШКА

ПРЕЖДЕ по речке Селезневке жители села Бухтармы держали несколько водяных мельниц. Были среди них и так называемые «мутовки» – в этих мельничках жёрнов приводился в движение не деревянным колесом, а с помощью вращающегося вертикального столба, в который вдавливались перья-лопасти – на них по жёлобу с большой высоты направлялась вода. Стены такой мельницы делались в один ряд – из плетня. Обычно мельник засыпал в ковш столько зерна, чтобы хватало его жевать на всю ночь. Или – на весь



день, как заправит. И уходил домой по другим делам. Производительность такой «индустрии» была не шибкая, один-два пуда муки в час, но обходились, а затраты совсем пустяковые.

Отец у меня не резвый говорун был, лишнего слова не услышишь, даже об охоте. Но когда дело касалось Чернышки и полевой работы этого пса, мог припоминать случаи один за другим, чтобы доказать, что нет ему равных. Однажды, когда охота на лис уже кончилась, зашел к нам мельник с жалобой. Повадилась каждую ночь, считай, на мельницу лиса и наедается из ларя муки, уходя потом куда-то на лежку.

Морозы в январе стояли крепкие, продолжительные, снега давно не выпадало. Да и по речке заросло тальником, другим кустарником густо, заячьими тропами поперепутано, почему выследить и поднять с дневного укрытия лису трудно. Договорились: мельник не отпугивает лису, а как падёт пороша, отец с товарищем постарается, чтобы ей неповадно стало пользоваться чужим трудом.

Дней через десять выпал-таки снежок. И на рассвете, не обращая внимания на крепкий мороз, отец с приятелем выехали к мельнице. Чернышку взял на повод, а напарнику наказал спускаться к Селезневке, где в тальнике и пошуметь с остальными собаками. Поднять, значит, лисицу.

Заметить, когда зверь выскочил на открытое место, ни отцу, ни Чернышке не удалось. Побег установили по свежему следу.

Пошла лисица в сторону скотомогильника – к реке Бухтарме, через зимний санный тракт. Спущенный с поводка, пошел Чернышка махом в погоню. И вот поди ж ты: в самый этот раз из Усть-Камня двигался большой обоз, подвод на сто, версты на три растянулся. Лиса-то до подхода обоза проскочила на другую сторону, а когда подбежал по следу Чернышка, дорога оказалась сплошняком занята. И вместо того,



чтобы пропустить собаку, возчики принялись грозить кнутом, отгонять криком. Лишь подъехавшему отцу удалось перевести собаку через тракт.

Лиса уже спустилась к берегу Бухтармы, где и заросли, и зайцы напетляли следов. А зайцев уйма плодилась, на них, считай, не охотились. И хоть такая опытная собака, как наш Чернышка, на зайцев не отвлекался, но темп погони, конечно, замедлился: запахи мешают чужие, да еще потяжелее собака лисы – порой и провалится в насте. Охотники здесь и вовсе отстают от погони.

Пробежала лисица по Бухтарме почти до устья, где она с Иртышом тогда сливалась. Чую погоню, всё же обманула пса и повернула обратно против течения. Здесь, видно, увидала встречных охотников, резко повернула и вышла к руслу, на большом расстоянии не замерзшему. Бухтарма – река капризная, несмотря на сорокаградусные морозы всю зиму, кое-где не дает себя льду сковать.

Чую опасность, лиса вплавь бросилась в реку, а за ней тем же путем – Чернышка. Это отец с товарищем уже по следам установили.

Из-за полыней и даже чистой воды, над которой в мороз поднимался пар, санный путь проходил верст на шесть выше. Так что всадникам пришлось скакать через поселок и по ледовой переправе, чтобы попасть к тому месту, где вплавь переправилась погоня.

Потом лиса и собака выскочили в двуречье меж Иртышом и Бухтармой, где на пойменных лугах заготавливалось много сена и откуда зимой постоянно шли сенные возы.

Отец спрашивает возчиков, не видели ли они на дороге лисицу или собаку. Лисицы не видали, отвечают, а черную собаку заприметили. Ту-уда, мол, пошла.

По следу свертка с дороги, по которой скакали на разных аллюрах, боясь пропустить, увидели, что путь пошел через Иртыш на каменные утесы. А чуть



поднялись на возвышенность, увидели Чернышку, сидящего на верхушке большущего камня. Ждал.

Оказалось, хитрюга юркнула в каменную щель, куда собаке не протиснуться было. Ну, здесь уже проще оказалось: отец не напрасно возил с собой в таких случаях длинный сырой прут. Гвалт, шурум-бурум – не выдержал зверь, выскочил.

Но Чернышка-то! Ведь верст за тридцать шло состязание, для лисицы так и жизнь решалась. Где ещё такую резвость, выносливость увидишь? А уж вязкость – у одной на добрую тысячу!..

НА РЫСЬ

ЗНАЧЕНИЯ собак для охотничьего промысла, думаю, доказывать нет необходимости. Настоящий промысловик будет заботиться о будущем промысле, и лишнего выстрела себе не позволит. Такое отношение воспитывается в семье.

...По рассказам отца, после ухода от тестя в отдел он лета два пас по найму крестьянских лошадей села Мякотихи, верстах в тридцати от поселка Бухтармы. Осенью отец пригонял с белков Алтайских гор лошадей, после окончательного расчета вся семья возвращалась в Бухтарму.

В Мякотихе жило многочисленное семейство Какоулиных, у которых было много скота, лошадей. А кроме крестьянского хозяйства, они промышляли охотой. У этих Какоулиных были лучшие в округе охотничьи собаки из укрупненных сибирских лаек, которые шли на любого зверя – по белке, барсуку, лисе, волку и даже медведю, могли работать и по боровой дичи – рябчик, куропатка, глухарь. Однажды после расчета за выпас лошадей старший Какоулин пообещал отцу в дополнение дать ему пару щенков. Но мы на зиму уехали, а щенков ждали в февралемарте. Все же отец, который временами занимался промыслом, пошел в Мякотиху на лыжах за обещан-



ными щенками. Выводок к его приходу почти весь был роздан или уничтожен (владельцы щенят от хороших собак неохотно раздавали, особенно в своей округе). Однако перед отцом Какоулины своё слово сдержали, он вернулся домой с двумя кобельками.

К началу первого сезона охоты щенятам было семь-восемь месяцев, и особо они не «показались». А на следующее лето один из них оказался бродячим, часто без хозяина уходил из дому, пока не пропал совсем к началу сезона — скорее всего, его где-нибудь встретили волки. Зато второй — Чернышка — прожил у нас лет шесть и за эти годы в осенне-зимние сезоны охоты поймал и помог добыть не менее ста лисиц. Мать считала даже, что именно благодаря Чернышке семья оторвалась от нужды. Впрочем, ничего странного в том нет: шкуры лис тогда стоили три-пять рублей, а годовалая овца — всего рубль, так что семьдесят лет назад для крестьянского хозяйства это было немалое подспорье.

В отличие от служебных, сторожевых и подружейных собак промысловые — а у нас были распространены сибирские лайки, казахские борзые-тазы и их помеси — никакой специальной дрессировки не проходили. Весь характер выявляется в полевых условиях. До года щенок ходит вместе со старшими, набирается ума-разума. И если в нем есть задатки настоящего охотника, то проявятся обязательно. А уже на второй год могут работать самостоятельно по зверю, боровой и водоплавающей дичи. Впрочем, охота «для баловства» была редкостью — страсть совмещалась с промыслом. Лучше было охотиться с двумя собаками: если одна имеет хорошее чутье и вязкость, то вторая, пусть и не будет полностью обладать такими качествами, но в азарте и подражании редко отстанет от первой. Если вторая еще и помоложе, то у неё со временем развиваются качества в подражании да заимствовании — так обычно и происходила смена поколений.



Из Чернышки очень быстро получился хороший промысловик. Не было случая, чтобы, найдя зверя, терял след или прекращал работу – обязательно догонит или загонит зверя в нору, откуда его уже достанут. А преследовать зверя, особенно лисицу, мог до двадцати километров. Это ведь не просто преследование по степи: зверь, дабы сбить со следу, идет и по заячьим тропам, по зимней проторенной дороге, бросается вплавь по реке или бежит по мелкой горной незамерзающей речушке – однако при всех хитростях и уловках лисы Чернышка обычно выходил победителем.

Алтайские собаки, распространенные среди русских крестьян, произошли из сибирских лаек, но вследствие лучшего отбора и содержания были много крупнее. У отца, пока был жив Чернышка, появилось много друзей среди охотников. Но к девятьсот седьмому году пёс погиб от бешенства – прежде ведь даже люди-то в деревне прививок не знали. Потомства от него не осталось, да отцу тогда стало некогда заниматься охотой. Зато в семье жили воспоминания о победах охотничьих, о таланте Чернышки – а это не могло не повлиять на интерес детей. Вскоре семья переехала из станицы в Аюдинский сосновый бор, затем в Тульский, где отец занялся смолокурением. Это кустарное предприятие отнимало много времени не только у взрослых, но и у детей – всем какая-то работа находилась. И хоть было отцу не до охоты, он всё же купил берданку и малопульку центрального боя.

Однажды осенью ночью ушли со двора рабочие лошади, мне надо было их отыскать. Взял берданку, два-три патрона сунул за голенище и вместе с собакой Валеткой пошел искать. Верстах уже в пяти от дома в кустах, собака залаяла очень тревожно – так лают на большого зверя. Радуюсь, боясь и рассчитывая на похвалу, я снял берданку – скрытно пошел на лай, считая, что Валетка напавает медведя. Но метрах в пятидесяти увидел рысь и собаку друг про-



тив друга, Валет загоразивал собой рычащую кошку. Для выстрела я стал обходить стороной, но она заметила и пустилась наутек.

Конечно, не своим голосом я заорал: «Взя-ать, Валет!», и пустился во всю мочь за ними. Бежал, их не видя, ветки хлестали, и задыхался больше от волнения – такой добычей уже можно бы хвастать! Снова лай – загнал Валетка рысь на дерево, на большую сосну, всего-то в десяти метрах над землёй на большом суку выгнулась рысь. От радости и нетерпения выстрелил тут же – с руки, как бежал. И промазал. Схватился за патроны, а за голенищем всего один остался. Хватит! Подобрал уже хороший упор, прицелился – клац, осечка. И ещё раз. И еще несколько раз, пока не потерял надежду и не прекратил целиться. Вдруг – выстрелило, пуля хоть и попала зверю в бок, но лежит рысь на суку. Подождал, нашел сухую сосенку, очистил от сучков, но коротка. Побежал снова, вторую такую же шестину нашёл, повод ременный разорвал надвое, связал эти сосенки частью повода, из второго куска петлю смастерил. Руки уже дрожат, сил не хватает, а как направлю правильно петлю – рысь её лапой отшибает. Наконец, ослабла ли, отвлеклась чем – накинул. Но и здесь терпения не хватило: дёрнул, шест переломился, петля по разрезу порвалась, а рысь, упав и отшвырнув собаку, дёру снова дала. Всё хозяйство я бросил, схватил сук попавшийся и, крича собаке, – за ними. Остановил снова рысь Валетка, стоят друг против друга, рычат. Надеюсь на собаку, я сбоку ударил сукон, собака бросилась, сбита с ног кошку, та её отшвырнула и опять бежать. И вновь Валетка ее догнал. Он и закончил эту охоту, вцепившись рыси в горло. И хотя в лесу меня никто не видел и не слышал, я ликовал – это была первая крупная добыча, настоящая схватка. Поэтому и сейчас, спустя столько с лишком лет, помнится во всех подробностях и страх, и азарт, и радость...

Вторую рысь мы добыли уже с отцом спустя года



два. Страсть отца к охоте, несмотря на большую занятость хозяйством, никогда не остывала. И мне, видно, передалась. В том ноябре выпал глубокий снег, когда мы решили поехать на рысь – они водились в бору. Собаки были неплохие, даже одна чистая русская гончая, но так как охотой мы почти не занимались, опыта у них, особенно на такого серьезного зверя, не было. Кроме того, Тульский, Аюдинский, Каяндинский лесные массивы, которые идут по левой стороне Иртыша, каменисты, пересечённые и гористы. А зверья в них было много, да нелегко оно давалось в руки...

Но на свежий след рыси мы напали – снег был глубокий. И свежий, рыхлый, что для рыси тяжело: уходит она скачками, быстро устает, а шагом движется медленно. Тем не менее за два дня преследования собаки не могли настичь и задержать ее – им ведь тоже мешал снег, крутые спуски, камни-утёсы. Их, правда, все время подогревала близость зверя, вот мы слышим километрах в двух впереди возбужденный лай, торопим коней по возможности, но рыси нет. Есть утёс, на который она прыгнула и на который собаки забраться не могут. А обойти утес и найти снова след – у них соображения не хватает! Ставим на след, собаки вперёд, снова такие препятствия, задержки, рысь уходит всё дальше, а у собак гаснет первоначальный азарт.

Рысь, когда её преследуют, уходит от постоянного места не больше десяти километров, как лиса или заяц: она обязательно зайдёт с другой стороны и повернёт на свой участок. Это волк может уходить далеко напрямую. Так что мы после двухдневного преследования вслед за рысью вернулись домой к своей смолокурне.

Назавтра утром отец поехал с собаками на вчерашний след, а я спустился ниже по речке на перехват. Но следа не нашел, большим объездом выехал на вчерашний гон. И здесь увидел отца уже с прито-



роченной к седлу рысью. Она тоже не пошла, оказывается, далеко, а залезла в расщелину, где и нашли ее собаки.

МОЙ ПЕРВЫЙ БЕРКУТ

В МАРТЕ дядя Вася вернулся с германско-турецкого фронта, и мать моя поехала повидаться с братом. Мы жили в то время в Тульском бору – в тридцати километрах от станицы Бухтарминской, в которой жили родственники матери.

Вскоре и меня послали в станицу. На мельницу с пшеницей для помола. Когда пшеницу я свез и занял очередь на помол, дядя Вася предложил мне на следующий день поехать с ним в горы за сеном, вверх по речке Селезневке, километров за восемнадцать от поселка. У деда Столярова было всего четыре запряжные лошади, так что решили и моего коня использовать. Поднялись рано и уже с восходом солнца доехали до гор. Здесь кони пошли шагом, и я пересел на сани дяди Васи – было интересно услышать, где он побывал, что видел. Немного не доезжая стога сена, дядя обратил мое внимание на двух больших птиц, которые летели с хвостом в когтях с одной стороны горы. Садились они на небольшой утёс по другую сторону горы и вскоре снова вылетали, уже без хвоста. «Смотри, как летают карагужи* (по-казахски эту птицу называют «каракус»). Гнездо себе готовят...» Я ответил, что, по рассказам казахов Тайнтинской волости, в зимнее время никакие карагужи здесь не остаются. Остаются на зиму только беркуты – видно, это они и есть.

На обратном пути мы снова увидели эту пару. Хвост они носили старательно, не скрывая места гнезда – кого этим хищникам опасаться? «А если?!» – мелькнуло у меня. И мы с дядей договорились, что

· Коршун (каз.)



он будет следить за птицами, а когда они высидят птенцов, он постарается взять их – для меня. «Хорошо, беркутчи», – засмеялся дядя Вася, дав мне шутиwego подзатыльника и разбудив старую детскую мечту о беркуте.

И правда, в конце мая или начале июня дядя сообщил, чтобы приезжали и забирали птенца. Отец поехал с углем по селам, а на обратном пути привез в порожнем коробе птенца беркута – почти голого, неуклюжего, жалкого в своей беспомощности, головастого. Я с детства наслушался от таинтинских казахов, с которыми мы постоянно общались на заготовке и вывозке дров для пароходства, об охотниках-беркутчи, о добычливости этой птицы, о ее почти сказочных (во всяком случае – в моем тогдашнем восприятии) достоинствах. Так что радость моя была вполне понятна, однако этот птенец доставил и хлопот немало.

Летом прокормить в лесу быстро растущего птенца оказалось не так просто. Поэтому вместо работы по хозяйству время моё уходило на промышленные свежатины для беркутёнка – ворон, сорок, белок, зайцев. Отец, увидя мое чрезмерное увлечение в ущерб хозяйству, вызвал из аула своего племянника Отын-Чи Еренбесова. А когда тот приехал, отдал беркутёнка на воспитание и временное пользование, тем более что Отын-Чи уже в то время считался одним из лучших в округе воспитателей этих птиц. В том году в роде чонай Таинтинской волости, где было много беркутчи, мой птенец по отзыву Отын-Чи был самым крупным, толстоногим и большеголовым среди всех птенцов, взятых весной из гнезд. Слышать такое мне было приятно, но не очень смягчало необходимость расстаться с беркутенком. Конечно же, хотелось самому вырастить и «приучать»...

Отсюда и началось мое первое знакомство с этим хищником, издревле используемым в охоте на Востоке.

Год спустя, весной, мои родители переехали в Са-



марский район – на родину отца, зиму жили в селе Александровке. А в октябре отец съездил к Отын-Чи и забрал у племянника уже натасканного беркута. Только на обратном пути, хотя отец никогда не охотился с ним, пока доехал домой, за день взял трех лисиц. Благо лис в том году было много, почти как зайцев! В ту зиму с этим беркутом отец поймал больше двадцати лисиц...

ИСКУССТВЕННЫЙ КОГОТЬ

С ЭТИМ первым моим беркутом поехали мы поохотиться в низине речки Талды: прослышали, что много там лис да мало охотников. А снег ещё здесь не выпал, следов не видно – на случай рассчитываешь. И точно, поднимаемся в гору, как метрах в трехстах выбегает лис. Томагу я сдернул, беркут слетел с руки, но не рассчитал – сел, а лис-то в гору бежит, будто знает, что не поднимется здесь беркут на крыло. И мне быстро помочь орлу невозможно – коня вверх здорово не разгонишь. Так этот умница – мой первый беркут, который был скорее мне учителем, чем я ему, – не стал меня ждать, видя, как лисица уходит. Пошёл он пешком порядком с подскоком в ту сторону, куда убежал лис. Прошёл больше ста метров, а идти ведь тяжело – крылья почти по земле волочатся, вышел на разлом горы и поднялся-таки на крыло!

Внизу же было два глубоких лога, вижу – большой разлет влево сделал, потом вправо: значит, не нашёл еще беглеца. И вдруг пошёл с высоты почти вертикально винтом вниз. Туда же поскакал и я, в лощину. Конь подо мной был неплохой – ничего не стоило сбежать на полном карьере под уклон, и камни при этом ещё перепрыгивал. Меня же кроме охотничьего азарта и молодости подгоняла тревога за беркута – не опоздать с помощью, если он в ней нуждается.



И вовремя: держал он лиса в очень неудобном месте, на каменной россыпи, из раненой ноги сочилась кровь. Но лиса не выпустил, пока я до них, спешенным уже на россыпи, не добрался. А взять нужно зверя от беркута так, чтобы птицу при этом не обидеть: быстро кончить с лисом, взять кусочек мяса от лапы, чтобы отвлечь этим мясом орла, и уже с руки дать поест. Здесь и томагу можно надеть.

...Конечно, охотиться с беркутом лучше всего двоим: беркутчи – это тот, у кого беркут на руках, и кайгуши. Кайгуши выслеживает зверя, а беркутчи занимает возвышенность, с которой виден бег поднятой с дневной лежки лисы. Если беркут взял зверя, то охотник, что был на следу, почти всегда бывает ближе к месту схватки и вовремя поможет птице. Зверь тоже хитрит, если охотник далеко: может в кустарнике остановиться, к дереву прижаться или камню, может даже стать на задние лапы и лаять по-собачьи, чтобы отпугнуть. А тут ещё оказия – промахнулся беркут, с кем не бывает, и лисица убежала. А пернатый охотник остался в логу, да еще в глубоком снегу — ни выбраться, ни взлететь... Здесь-то и поспеет кайгуши, вывезет на возвышенность, а если лиса вниз сбежала и ещё видна будет – возьмёт её всё же беркут.

Одному охотнику-беркутчи много труднее, особенно если нет свежего снега, а наслежено так, что не различишь, который след старый, а где новый. При такой, как называют казахи «узак-сонар» – «длинной охоте», хозяин садит беркута на возвышенность, сам же становится кайгуши: едет на предполагаемую лёжку, шумит-кричит, а сам следит за птицей. Вот поднялся беркут на крыло, по полету видно, зверя ли увидел или просто на другое место перелетает. Опытный беркут, каким и мой первый был, и вокруг наблюдает, и хозяина из виду не упустит. Если охотник увидел зверя, а глазу птицы он недоступен из-за укрытий или пересеченной местности, то беркут всё равно прилетит на



крик. Но у орла, конечно же, зоркость много лучше, он может и на пять-десять километров жертву свою приметить. А как охотнику проследить, где беркут спустился, не говоря о том, поймает или не поймает, да и на какого зверя он нацелился? Ведь на большое расстояние улететь птица может и на зайца, и на хоря, и на волка, собаку... Здесь-то и таится угроза потерять беркута совсем...

Поэтому отец мой вздумал к беркуту завести еще и охотничьих собак. И правда – бывали случаи, когда лисица вырвется из когтей или беркут промахнется. Тогда бежит она только в гору. И часто с перепугу – прямо на охотника. Будь в таком случае у нас собака – зверь сам прибежал бы ей в пасть. Так уверял меня и себя отец, а вскоре перед началом сезона привел из аула помесную пёструю суку по кличке Сары-Ала (Пестрая).

Собака оказалась зоркая, выносливая и быстрая, но не имела хорошей вязкости: прогонит два-три километра, а не поймает – бросит преследовать. Да ещё так случилось, что к декабрю уже вообще к охоте не пригодна – щенков жди. Вскоре у переезжающей русской семьи купил отец ещё одну собаку пуда за четыре пшеницы. Была она из породы казахских борзых (тазы), по всем приметам отцу глянулась, однако и она надежд наших не оправдала. Была умна, хитра, с отличным чутьем, но всё забивала чертовская лень, да и в быстроте уступала другим собакам. Однако помёт дала хороший – осталось после неё два отличных кобелька.

Но ничто не могло восполнить той потери, которую принес первый сезон охоты с собаками и беркутом. Беркута мы потеряли, и не собаки тому виной. Мы сами – тогдашняя темнота наша, да и отсутствие опыта виноваты.

В тот день поехали мы с отцом, взяв беркута и двух собак. Вверху по ключу от Кулуджунского прииска в сторону горы Кольчуги снега было мало,



но след лисы нашли быстро. Отец поторопился до подъема зверя с лёжки занять высокое место, а я собаками стал выслеживать. Еду шагом по ночному следу, слежу за собаками, посматриваю на отца, что с беркутом был уже в двух-трех километрах. Вот с руки отца слетел орёл, я поехал быстрее – теперь без следа, считая, что беркут лису видит. И собак из виду потерял, они без поводков были. Беркут же недалеко отлетел и сел на камень – потерял из поля зрения. Потом вновь поднялся на крыло и скрылся в низине: туда лиса юркнула.

Я не заметил, когда от меня сбежала собака. И когда лисица выбежала из кустарника, увидел, что лиса и пёс несутся всего в пятнадцати метрах друг от друга. Вот и схватил беркут вместо зверя нашу Лашку: в охоте он может напасть даже на барана, корову, нисколько не считаясь с последствиями! Когда я успел к месту, то оказалось, что у беркута откушен под корень задний большой коготь правой ноги, а Лашка визжит и облизывает свой бок. Отец уже перевязывал грязной портянкой беркуту ногу. Всякое желание продолжать охоту у нас, конечно, отпало, и мы вернулись домой.

А дома, вместо того, чтобы сделать птице хорошую обработку – хоть промыть рану самогоном да наложить чистую повязку, – посадили, как и был с грязной обмоткой, на его тугур. Усилить бы питание, дней двадцать на охоту не брать – жил бы беркут, как прежде.

К пущей досаде, чуть не в тот же день приехали в гости пять-шесть охотников, и среди них хороший слесарь-кузнец. Рану они, потомственные беркутятники из рода чонай, осмотрели и в один голос объявили, что страшного ничего нет: «Железный коготь сделаем, будет работать, как с родным». И тут же двинулись с кузнецом на Кулуджунский прииск, где этот искусственный коготь и смастерили.

Нет ума – где займёшь: сразу же принялись



пристегивать железный коготь к больной ноге беркута, на охоту вытаскивать. Тем и успокоились, что он даже с больной ногой ловить лис продолжал, птица-то бессловесная. Около десяти лисиц подарил еще нам с отцом, а сам болел, слабел, нога сохнуть стала. И через два месяца после ранения пал. Это теперь, спустя чуть не полвека, понятно мне, что погиб он от заражения крови. Но и тогда, жалея первого своего беркута, как стало понятно позже, лучшего из всех, чувствовал я, что главная причина – наша неопытность и темнота.

Опыт часто на горечи утрат замешан...

«ПОДВИГ» ЧАУМЕНЯ

ОДНАЖДЫ во время сезона охоты заехал я на высокую гору в верховьях речек Аюкашкан и Кончубай. Снял спокойно томагу с головы беркута, и тут же он стал рваться из рук. Сам я ничего не вижу, хоть в то время зоркостью мало уступал ему. Преградил левой рукой взгляд беркута: вначале он зорко смотрел вверх, а затем из-под рукава. Применяется такой способ, чтобы определить, куда же он стремится, и где же точнее находится предмет его беспокойства: если из-под рукава – зверь где-то внизу на небольшом расстоянии.

Причём, если беркут просто смотрит, то взгляд у него, хоть и устремлённый, но всё же спокойный. Когда же видит зверя, глаза делаются страшными.

...Здесь мне хочется немного отвлечься от рассказа, чтобы дать несколько штрихов, что характерны большинству беркутов в охоте. Во всяком случае – хороших беркутов, «кыран»-беркутов, как их называют беркутчи («кыран» – зоркий, но в названии орла эта характеристика принимает более объёмный смысл). А мой беркут был хоть и первогодком, но настоящим «кыран».

Опытному охотнику достаточно увидеть, как беркут слетел с руки, чтобы понять, возьмёт ли он зве-



ря. При агрессивном настрое, стоит ему увидеть лилицу, как взгляд становится диким, страшным: слетая с руки, особенно если они с хозяином на большой возвышенности, а зверь где-то далеко внизу, – беркуту достаточно нескольких взмахов крыльев, потом крылья прижимаются к туловищу, и на зверя он идет как-то боком-винтом. В очень редких случаях он ловит зверя почти с вертикали, рискуя промахнуться. Чаще же снижается почти до земли, делает перелёт и спускается по ходу зверя сбоку. Готовясь к нападению, он опускает одну лапу наподобие шасси самолета, вторая же прижата. В самый момент сближения этой спущенной лапой он наносит первый удар, обычно в бок, шею или спину. Когда же зверь повернет голову, огрызаясь, наносится удар второй лапой так, что когти, впиваясь, обхватывают голову, даже один палец порой может угодить в пасть.

В байках и досужих вымыслах людей, знающих всё понаслышке, можно встретить толкование, что короткие путы надеваются при охоте соединёнными: якобы, чтобы беркут держал зверя одной лапой, другой – хватался за дерево, корень или камень. Или ещё того невероятнее – чтобы крупный зверь, волк, не разорвал беркута пополам! А на самом деле путы всегда разъединены, в полете свободно висят. Зато при схватке со зверем беркут может свободно действовать любой ногой, на любое доступное расстояние. Соединись аяк-бау между собой, и появится угроза запутаться в кустарнике, зацепиться за выступ камня, за дерево – ведь при маневрах и нападении он опускается почти до земли, а при необходимости движется и пешим порядком.

Охота с беркутом в основном проводилась на лис, хотя в природе главной добычей-пищей является заяц. Хотя бы просто потому, что их больше. Для промысла же заяц прежде вообще никакого значения не имел, казахи мясо его в пищу не употребляли. Разве что шел он в пищу самому беркуту, коль уж пойман собака-



ми. Да ещё, как ни странным может показаться, беркуту легче поймать лису, чем зайца. Косой увертлив, готов из неожиданной стойки сделать скачок в любую сторону – одним словом, в самый последний момент может оставить беркута в дураках.

Охота же на волка с беркутом почти не допускается – слишком большой риск для птицы. Волк достаточно сильный и крупный хищник, к тому же волки умеют защищаться коллективно, от хищной птицы в том числе, особенно если охотник далеко от места схватки. Конечно, хороший беркут может задержать волка до прибытия хозяина, если схватка произойдет невдалеке от беркутчи. Но такие случаи редки чрезвычайно: древние лёжки в горных местах волки устраивают на больших возвышенностях, откуда, завидя человека, тем более охотника, за несколько километров, сразу уходят выше и дальше. А на равнинных местах с беркутом вообще не охотятся; эта птица тяжела на подъем, для разлета и маневрирования ей нужна возвышенность.

Придержав одного-двух волков в жизни и почувствовав волчью силу, в дальнейшем от ловли беркут будет уклоняться.

...А мой беркут, которому я на горе прикрывал рукавом глаза, чтобы узнать, куда же он рвется, – был настоящий кыран, хоть и совсем молодой. Рассчитывая, что зверь где-то близко, я его отпустил. Время было под вечер, и беркут скрывался в наплывающей тени вечера на расстоянии пяти-шести километров в сторону верховий речки Кончубай. Пока я доскакал до предполагаемого места его приземления, наступили сумерки. Проездив, прокричал я больше часа, пока совсем не стемнело. И поехал домой – без беркута...

Назавтра уже вместе с отцом поехали искать его. Отец взял на себя горы и доли речек Кулуджун и Коперлы, я поехал на старое место, к верховьям Кончубая, весь день обшаривал я лога и кустарники, посадил голос – безрезультатно...



Беркуты, даже взятые птенцами, не знают своего места, двора, как другие домашние животные, особенно собаки. Видимо, потому что глаза почти постоянно закрыты томагой, особенно в юрте или во дворе: без томаги он может напасть на ребенка, телёнка, козлёнка, барана, собаку – на всё, что движется и приблизится на расстояние длинного ремня, которым он привязан. Глаза его тоже прикрыты, чтобы не рвался он из рук, да и полетать ему хочется, поиграть в воздухе, особенно если беркут жирный и давно не выезжал на охоту. Так что никакого понятия о постоянном своём местожительстве, увы, у него не существует. Однако если случайно он потеряется, особенно воспитанник из гнезда, и увидит жильё и людей, то обязательно прилетит к человеку, безразлично – чей это дом или зимовка и кто хозяева. Хозяина-охотника он знает, на его голос может прилететь с любого места.

...Да, голос я прокричал, уже наступил вечер, и я уныло направился к дому. Как вдруг услышал за собой шум крыльев. Оглянулся: на высоте трех метров летел на меня наш беркут! Едва успел протянуть я правую руку, как он сел на неё. Вид у него был хуже мокрой курицы: весь в сосульках, особенно брюхо и ноги. По всему видно, где-то в глубоком снегу провел морозную ночь, зверя не поймал и пешим по снегу выбирался. Может быть, весь день, слыша мой голос, шёл на возвышенность, чтобы оттуда взлететь.

...И как только сел на мою руку, тут же начал заваливаться – от истощения. Снял я поскорее зипун, завернул его, словно малого ребенка. И на полном скаку пустился домой, честное слово, переполненный к нему нежностью!

Дома беркут был согрет и хорошо накормлен, а уже назавтра поймал двух лисиц. Очень хороший был беркут и большие надежды подавал.

Но был у нас еще один дрянной беркут (чаумень),



хоть и говорил я отцу, что надо его уничтожить, да отец всё ждал от него подвигов. Так он, действительно, в один день устроил «подвиг»: когда оба беркута были отпущены, один – молодой и лучший – полетел на зверя, а чаумень этот, паршивец, напал на беркута.

Оба кубарем рухнули на землю, а когда я подоспел, оба лежали, вцепившись когтями друг в друга. И уже через неделю мой хороший беркут, видимо, от нанесенных ему смертельных ран, погиб. А ведь дряни-то той ничего не сделалось – из-за угла напал, а молодой и не мог ожидать такого подвоха... Ну, такое и среди людей встречается... может, даже чаще по хитроумию-то, зависти да лени – недаром говорят, что в чужих руках и палка толще!..

ВЕСЁЛАЯ ОХОТА

Конечно, на такого зверя, как барсук, можно охотиться и капканом. Поставь капканы на тропах от норы или возле уборной, которая у него отведена в постоянном месте, – и приходи, забирай добычу... И всё же подобная добыча не даёт полного удовлетворения, того охотничьего восторга, что – настоящий охотник меня поймёт – вносит в промысел волнение, даёт возможность слиться с природой воедино, ощутить себя причастным ее, природы, дыханию. Подобное состояние требует определённого времени года, определённого времени суток.

При охоте на барсука это – ночь. Тихая, почти безветренная и лунная осенняя ночь. Седлаешь смиренного, пусть ленивого и тихоходного коня – торопиться тебе некуда, ночь течет медленно. Берёшь багор или крепкую увесистую палку с естественным утолщением на конце, вот и всё твоё вооружение. Промышляет барсук, кормится и пасётся в основном ночью. Питается он мелкими зверьками, не побрезгует и гнездо разорить, и жучка по дороге приберёт, на



ягоду, особенно клубнику, нападёт – только давай! Днём же отлеживается в норе или возле норы греется на солнышке.

При ночной охоте на барсука участвуют не только охотничьи собаки, но и простые дворняжки: чем больше, тем с ними веселее. Вот и едешь с такой разномастной сворой по склонам сопок с северной стороны, где в низинах, логах, возле ключей больше травы где больше бывает ягод и семян, где шебаршат мелкие зверушки, вроде мышей да зайчат, отыскивая свой корм. Такие места и ночью притенены от луны, порой только слышен визг твоих собак, гоняющих зайцев, а то – во-он, помчались по свежему лисьему следу. Но куда им ее, рыжую, нагнать – вернуться, набегавшись. Да и одна-две-три опытные собаки по времени уже догадываются, на какого зверя вышли, и не поддерживают общую кутерьму по случайным следам...

Усиленно ищут они след, тот, который нужен, которого ждет хозяин, который недалеко – во-от! Барсук, пока пасется, особенно на полянке, где много ягод, наследит так, что собака мечется зигзагами, на то же самое место возвращается не один раз и снова убегает, возбуждаясь все больше. Она ищет переход барсука с поляны на поляну, а коль найдет, охотник уже не видит собаки, которая скачками удаляется по следу. Больше наугад поторапливаешь лошадь в том направлении.

И вдруг издалека, порой чуть слышно – лай, которого уж ни с каким другим не спутаешь: догнала. И вся свора, рыскающая своими заботами, – туда же. И ты, конечно, за ними.

Прибегаешь на место обычно, когда схватка уже в самом разгаре. Уже неопытные и поэтому храбрые, особенно молодые собаки, с ходу безо всякой предосторожности напали на барсука и ощутили его острые зубы. Уже повизгивают самые прыткие, зализывая раны, и снова подбираются, рыча и всто-



поршив загривки, но теперь много уважительнее и осторожнее.

У барсука зубы острые, длинные, челюсти сильные, шкура крепкая – его просто не возьмешь. Старый, но не жирный барсук может долго сопротивляться даже опытным собакам, а уже набравшийся к зимней лёжке запаса жира быстро устает, задыхается, одолеть такого барсука собакам легче. И все же взять его непросто: кажется, вот уже держит загривок, швыряет барсука из стороны в сторону, ан нет – изловчился барсук, наклонил свою голову, выпустила собака, а после увидишь, что и прокусить не могла. Хорошо, если рядом норы не окажется, расщёлка каменного, откуда его тоже выкурить непросто.

Поэтому охотнику лучше поспешить, чтобы помочь собакам. Тем более, раньше выезд на охоту по барсуку вызывался еще и необходимостью: барсучье перетопленное сало заменяло олинафт и шло на смазку сенокосилки, лобогрейки, а также для сбруи. Впрочем, и неудача порой не очень огорчала – чего не искупит спокойная лунная ночь да раздумчивый ход коня по неясным, словно качающимся под тобой, сопкам...

ТРИ ХИТРЕЦА

С разумной холодной головой у охотника вполне возможна совместная охота беркута и собаки. Для этого нужно держать собаку на поводке и отпускать лишь тогда, когда собака и лиса находятся выше на горе от беркута. И – наверняка, чтобы не угнала она зверя, а обязательно поймала. Короче, нужен точный расчет, тактика с учетом рельефа местности, способностей собаки и пр. Впрочем, у нас были два кобеля, отец и его сын, которые никогда не имели ошейников, однако много помогали и нам, и беркуту.

Вот поднимаемся мы на возвышенность, и беркут увидел лисицу, собака ещё не видит ни самого



зверя, ни следов, но понимает, что летит беркут неспроста, добыча близко. Тогда старший или младший Барбосы – они жили в разное время – пускается в ту сторону, куда летит птица. Бегут и смотрят в небо, следят за полётом, бывало, встретится препятствие – навернётся, кубарем полетит, но вскочит и тотчас высматривает в небе ориентир. Добегут до места схватки беркута с лисой, остановятся на приличном расстоянии, но, хотя дрожат от нетерпения и азарта, никогда не бросаются отнимать.

Бывали случаи, что лиса вырывалась из когтей – здесь-то для нее зубы наготове! Если происходит борьба собаки с лисой на виду у беркута, то он обязательно пойдет к ним пешком. И тогда – они оба были смышлены! – бросает пёс полузадушенную лису, в конфликт с беркутом не вступая... Зато другую – сука Сары-Ала была очень горячая и неспособна была сдерживаться – почти всегда держали на поводке. Зорко следили, иначе готова была отнять добычу даже из-под крыла беркута. За семь лет самой интенсивной охоты на пушного зверя мне довелось встретить трёх особо хитрых, быстрых и выносливых зверей. Из тех, борьба с которыми интересна и трудна, а победа приносит настоящее удовлетворение. Лис, волк и собака это были.

Это случилось в ту зиму, когда у нас был раненый беркут с железным когтем. В гости приехал казах Сулеймен специально, чтобы с нами поохотиться. Ни собак, ни беркута у него не было.

Ночью выпал хороший снег, мы с отцом и Сулейменом выехали ранним утром. Были три собаки, двух из которых ещё дома взяли на поводки, и беркут - уже больной, но ещё охотившийся нормально. Совсем недалеко отъехали, сразу взяли свежий след лисы, прошедшей не больше двух-трех часов до нас, шагом.

По следу пошел Барбос, а мы по ходу собаки стали занимать возвышенности. Отъехали на разных



расстояниях километра четыре, я оказался впереди всех, недалеко ехал Сулеймен. Увидя маховой свежий след, крикнул, что зверь пошёл, и спустил собаку с поводка, вторую пустил гость. Лиса пошла через ровное место Коктерека к речке Кулуджун. Пошла по крутому и длинному спуску, по которому я, вполне надеясь на коня, не отставал от собак. Вверх по речке был проложен единственный санный след, которым и пустилась лиса, легко ступая полозницей. Следом собаки, я – на лошади. Собаки бегут дружно, порой на виду, порой скрываясь на поворотах. Когда вдруг лисица бежит... мне навстречу! А собак не видно. Наверное, собаки стали её догонять, тогда она свернула с полозницы, их пропустила, а сама своим следом стала возвращаться. Когда она поравнялась со мной, то мне оставалось лишь крикнуть – ни ружья, ни палки не было, две собаки впереди, одна где-то сзади, отца и гостя не видно! А лисица при крике даже не повернула обратно, лишь свернула немного...

А Барбос, оказывается, был почти под хвостом коня моего, увидел лису и пустился вслед. Я тоже. Скачу километр, второй – никого не видно, словно сквозь землю провалились! А Барбос был крупной, длинноногой собакой, мог трехметровые прыжки делать. Лиса же, только встретившись с отцом и Сулейменом, свернула с дороги и пошла в гору по глубокому снегу. Её, впрочем, я не видел: только след да Барбоса, хватящего сгоряча снег на её следу. Остановились, я рассказал о проделках зверя, две обманутые собаки подбежали. И решили, что теперь-то, в глубоком снегу, Барбос и сам с ней расправится.

Не спеша поехали мы в объезд в ту сторону, куда пес погнал лисицу. Но она и его обманула, дождавшись нашего ухода, вышла опять на дорогу, по которой и ушла. Не видя ни зверя, ни собаки, мы пустились вдогон. Проскакали несколько километров до



конца санного следа и там увидели, как собака поднимается на большую гору. Одна, лисы же не видно. Решили в разных местах стать по собственным следам, а отец с беркутом поднимается в объезд на гору. На горе был виден Барбос, который настолько утомился, что сел там и стал наблюдать за нами: что делать будем, чем ему поможем?

Но вот беркут слетел с руки, полетел в нашу сторону, за ним пустился Барбос. Лису мы не видим, но беркут спустился в чащу с кустарником, что была ближе к нам и нашим следам. Туда я и поехал.

Сулеймен с дороги увидел, что лиса вильнула от беркута и направилась было на старый след, но поняла опасность и ушла в сторону большого утёса. Сулеймен мне подсказал путь, я бросил коня и с другой стороны поднялся на утёс. Тут-то, в пятидесяти метрах, я снова увидел, наконец, лисицу. Прижимаясь, она шла навстречу, когда её увидела и собака, что была у меня на поводке. Собака рванулась, поволокла меня с утёса, поводок я выпустил. Через мгновение услышал ворчание: лиса не нашла укрытия, прижалась к небольшому углублению спиной, только голова и хвост были снаружи, но собаке не давалась. Когда я скомандовал «Взять!», то получилось наоборот – лисица схватила собаку за ухо, и та на своих ушах вытащила лисицу. Здесь подскочили отставшие псы. Оказалось, это был большой лис, старый самец из тех, чьи шкуры классифицировались «крестовкой» – в три раза дороже обыкновенных...

Январским днем середины двадцатых годов по какому-то делу поехал я в Александровку. Четыре собаки увязались следом. Через дорогу шел свежий след волка, а собак отвлечь не успел – и они с большой охотой, подогревая друг друга, пустились вверх по ключу, левее дороги. Не остановил их ни глубокий снег, ни большие надувы. Не утерпел и я, тоже поехал за ними.

В основном рассчитывал я на силу своего буро-



го коня, которому такая дорога легче, чем волку. А серому на пути должна встретиться масса рыхлого снега, что вымотает его неминуемо. В горах волки днюют на возвышенности, оттуда обзор хороший. Он увидел собак и меня еще в трёх-четырёх километрах. И пошел напрямик на высокую гору Ку-Чоку.

Рассчитывая, что затем ему придется спускаться с горы, а внизу снега было очень много, там в логам я и полагал настичь его, если собаки не задержат раньше. Однако пыла собак хватило ненадолго – прогнались несколько километров и остановились. Тем более что и я отстал, двигаясь в гору. Из всех четырех я мог надеяться лишь на одного Барбоса. Сары-Ала вообще боялась волка, две другие были совсем щенками, ещё и года не достигли.

На горе волка чуть не потерял – его след уже заметал ветер. Как я и рассчитывал, с горы волк повернул, прошёл по очень глубокому снегу, успел выйти на санную дорогу, которой пошел на Александровку. Он добежал до самого села и лишь перед ним повернул на речку, где были сплошные огороды, выгороженные плетнями, рвами, канавами. Но он прошёл их, а за селом снова вышел на дорогу в сторону села Самарки. Из-за этих препятствий я быстро двигаться не мог, а когда следом за волком вышел на дорогу, наплыли сумерки. Так что преследование пришлось прекратить.

Заехал я в Александровку к охотнику Глинину и рассказал, как прогнал волка почти через село. Решили утром его преследовать, пригласив в компанию охотника Троегубова. И втроем рано выехали из села. У охотников было по собаке, да со мной вся четвёрка, кони добрые и свежие.

Едем рысью, смотрим, чтобы не прозевать след. Не доходя села Ешкибая, волк свернул по разлому и снегом ушел выше села. Поднялся с лежки он в двух-трех километрах перед нами и пустился



к Самарке. А здесь опять – сплошными огородами по-над речкой Лайлой. Зная это, решили скакать параллельно улицей села, чтобы перехватить на выезде. А в селе целая свора дворняжек напала на наших собак. Время мы потеряли, а волк вышел раньше на дорогу. Дорога шла прямо на Иртыш, откуда крестьяне возили сено, и была укатана. Мы не рассмотрели, как волк свернул налево другой дорогой в сторону Миролюбовки, потом, не добегая до села, пошел по целине к Иртышу. Бежал он теперь не наметом, а рысью, поэтому мы полагали, что до реки его настигнем.

Однако, доскакав до Иртыша, увидели след волка, перешедшего реку и направившегося в Алтайские горы. Остановились и порешили, что больше гоняться за ним не имеет смысла – каждая из лошадей в десять раз дороже того волка и загнать их не резон. Да еще порастеряли по дороге ценных собак – за это время пробежали мы на разных аллюрах не меньше пятидесяти километров...

Рядом был аул, решили там передохнуть, чаю напиться, подождать собак. Остановясь у казаха, сразу рассказали, что мы пригнали волка. Если есть желающие, то пусть едут, мы от своего пая-жирны отказываемся. Три человека быстро сели на лошадей и с соилами поехали на зверя.

Пока мы напились чаю и подкормили лошадей, они вернулись с волком. Оказывается, он отошел всего километра четыре, и, не слыша погони, лег на отдых. Когда казахи, сделав объезд на случай дальнего ухода, вернулись на след к горе, волк поднялся метрах в ста от них и не мог бежать – упал. Видно, после перехода Иртыша он лёг, перегретый, запаленный погоней, а сильный мороз его прихватил-застудил. Но от нас он всё же не ушёл... Впрочем, каждому свой путь по своей судьбе, но волк у меня всегда вызывал уважение своей жизненной силой и стремлением к свободе, как ни



один зверь. Подумай, ни рысь, ни даже медведь, попадись в капкан, не отгрызут себе лапу, чтобы уйти. Только волк способен на это, лишь бы остаться вольным...

Надо сказать, что коллективная охота на волка, особенно по первому снегу, становилась на равнинных полях и плоскогорьях многих районов Казахстана, и Восточно-Казахстанской области в том числе, своеобразным массовым спортом, общественным долгом и коллективной кампанией. Почти на каждый двор имелась настоящая скаковая лошадь, и достаточно было выпасть снегу на тридцать — сорок сантиметров, как из каждого аула выезжали по несколько человек для истребления серых разбойников.

Только какой-нибудь человек увидел или поднял с лёжки волка, начинается его преследование с одним соилом. Если выгнали вблизи одного аула или села и он уходит в другой, то поднявшие зверя охотники устраивают весёлый переполох, призывая всех ближних присоединиться к гону с кличем: «Аттан, аттан!» — «Садись, садись на коня!» Убегая от одного всадника, зверь встречал на пути другого, третьего — на свежих конях. После такого коллективного разгона часть зверей погибнет, часть уйдёт в Алтайские, Калбинские или Тарбагатайские горы, в дельту Иртыша, где большой камыш и взять волка уже трудно. После такого разгона весь скот на равнинных и слабогористых местах почти не охраняется. Причем шкуры волков, убитых коллективным гоном, и их стоимость не делятся на пай-жирну, а чаще дарятся от имени всех загонщиков одному акакалу, даже если он в гонке не участвовал, а просто его зимовка находилась на пути. В таком случае тот, кому преподнесена шкура, должен угостить в тот день или вечером, или через несколько дней охотников-любителей. Так устраивался маленький праздник, сближавший людей...

Это было в те времена, когда еще волков было



много, а у людей не было вертолетов и не понимали ещё люди, что всё в природе имеет своё предназначение и смысл... Увы нам!

Ну вот, наговорил с три короба и устал, а всего-то – языком молот! Видно пора и мне в дорогу за своей памятью собираться. Ты никогда не замечал, как звери, кому повезло свой век дожить, уходят? Коротко скажу, как сам чую: спокойно и примирённо. Ото всего и от лишних глаз. В своё одиночество, и – свою единственность. Так-то.



ЛЕГЕНДА ТАБАНКАРАГАЯ

Сулейману Булешову

Туман спустился с гор внезапно.

Будто разом кто-то великий выдохнул на морозе пар. Да так могуче дохнул, что старый лесничий, едущий рядом со мной, словно серебряной изморозью покрылся. И большой коняга его сразу закуржавел боками, стал ещё крупнее, поплыл в молочном облаке над землёй.

– Горы, – голос старика глухо и медленно подплыл ко мне, казалось, издавека, хотя вот он – рукой дотянуться. – Даже зимой ровно... в сказке! Табанкарагай – лесная подошва, так называют. Вот и сползает к ней все с вершин. Оттепель придет. Сойдём, лошадам роздых дадим. Скоро распогодит...

Мы спешили. Лесничий связал поводья своего мерина и моей кобылки. Лошади потерлись шеями, сметая с себя иней. Застыли, положив тяжёлые головы на холки друг другу. Отдыхали.

Мы объезжали лесной участок в горах. Лесничий состарился здесь и теперь уходил на отдых. Он сдавал мне этот лес, эти холмы, ущелья и тропы меж ними, перекатную речку на дне пропасти. Всё, что накрыл сейчас туман.

И не очень хотел бы сдавать, но что поделаешь – время. Старику и верхом-то стало трудно ездить.



– Ты не торопись... – говорил он мне.

Все старики так говорят. А в молодости надо спешить, чтобы не отставать. Упустишь с юности, не доберёшь в старости. И так говорят.

– Да, – соглашался старик. Глаза его были узки, он смотрел, казалось, сквозь меня. – Да, тороплив человек. Но ты в лес пришел... свое здесь время. Вот ель...

Старый махнул рукой. Померещилось, что его взмаха послушался воздух, качнулся, потянуло слабым ветерком.

В туманном мареве заголубела прогалина, в её свете четким темно-зеленым конусом чернели сплавленные ветви-лапы ели. Я знал, что дальше должна быть пропасть – рухнувший вниз склон ущелья, которое разрезало все лесничество сверху вниз на много километров. Это там снизу тревогодила речка.

– Перестой, – не удержался я попрекнуть. – Давно срубить надо бы...

– Торопишься, – повторил старик. – Но до тебя здесь тоже жили. Без памяти кто таков человек? Одnodневка... Эта ель еще Тогульбека помнит... хана Тогульбека. Думал, один живет... и остался один. Расскажу?

– Сказка?

– Хочешь, так и сказка. Давно это было. И здесь стояла белая юрта Тогульбека, а он был богатейшим – баем от тех гор, – с хитрой улыбкой повел рукой старик. И там, куда он махнул, разошелся туман, в искристом луче солнца возникли несколько зубов далекого хребта. – До тех...

Туман становился всё прозрачнее. “Будто знал, что это ненадолго”, – подумал я о старом лесничем с невольной завистью. А он все улыбался сухими губами и вприщур встречал солнечные искры, отражённые снегом.

– И ты научишься колдовать, – понял старый мои мысли. – Не спеши только рубить... память. Возвращать все труднее.



...Давно это было. И здесь стояла белая юрта хана Тогульбека. Белая юрта, перевитая золотыми шнурами.

По соседству с ней – но все же поодаль, чтобы не накинута тень на гордую белизну, – толпились еще юрты. Целый аул. Темные юрты, даже гостям не ставил хан белой.

А гостей приехало много: Тогульбек женил своего единственного сына.

И потому перед юртой его – на целых сто метров, а то и больше! – раскинут был дастархан. Празднично дымилась огни под котлами, где варилось мясо – со многих баранов сняли нынче шкуры. Золотились вязки казы. Пенился кумыс. Парил чай в тонких пиалах. Хрустели на зубах сласти, горами возвышавшиеся по всему дастархану.

Невеста была молода – ей было пятнадцать лет.

Невеста была красива. И тиха как сон, её привезли из-за гор на шелкошерстной белой верблюдице. Длинные ресницы девушки поднимались и матовым агатом чернели глаза ее. И тень ресниц падала бархатистыми бабочками на розово-мраморные щеки.

Невесту сопровождали строгие седобородые мужчины. С широкими плечами и тонкими талиями. Бороды мужчин были стрижены коротко и так аккуратно подбрены, что казались приклеенными. На головах белели тюрбаны, а под широкими халатами тускло поблескивали мелкие кольца кольчуг.

Кровные тонконогие скакуны хрипели и косили на людей лиловыми глазами, сбившись в плотный табун. Не было таких скакунов в табунах хана Тогульбека...

Вот из-за этого-то и не начинался настоящий той. Ну, праздник, пир. Потому-то и грелся на солнце невыпитый кумыс, потому-то и оплывали на раскрытых скатертях сласти.

Поспорил хан с невестиными родичами, что его Кулагер – мохноногий, широкогрудый и большеголовый айгыр, рожденный здесь в горах, – обгонит



под его сыном Кыдырбеком любого другого коня. Любого из этих высоконогих красавцев с сухими головами обгонит жених на своем жеребце!

Он, Тогульбек, ставит на победителя – эй там, вынесите, чтобы все видели! – вот эти серебряные сосуды, заполненные золотыми монетами, камнями и ожерельями, а есть среди них самоцветы из далекого Индостана, да! Вот эти шелка и... да, вот эту саблю, за которую отдал двести лошадей иранцу-купцу. Клинок, видно, в подземных землях варился, ха; вот каким синим огнём отдаёт! Другие сабли строгать может!

Пусть тридцать верст Большой Байги решат, кому владеть таким богатством. Пусть победитель вынет ту саблю из ножен. Пусть никто не скажет ни вокруг, ни за горами, что плохую свадьбу сыграл хан Тогульбек своему единственному наследнику!

И вот третий час на исходе.

Медленно и томительно движется тень по кругу на земле от пики, воткнутой в центре, от высокой пики с хвостом яка у стального наконечника.

Всматриваются хозяева и гости.

Прищурили под ладонями глаза родственники гостей и родичи хозяев. Притихли родичи родственников и работники хана. Даже дети притихли. Всматриваются все в зеленые волны холмов, во всплеск перевала, из-за которого должны показаться всадники...

– Ска-ачут!!..

Во-он скачет кто-то – не разобрать еще. Солнце качается за спиной всадника, слитого с шеей коня; прямо в глаза бьет солнце людям, столпившимся у дастархана.

Ещё двое скачут следом, чуть не касаются хвоста преследующего скакуна, но им не догнать уже... не-ет!

Конечно, это его Кыдырбек на Кулагере, хозяин и не сомневался. Пропускает меж двумя пальцами жидкий хвост бороды хан Тогульбек, притушивая сытую улыбку.



Разогнался Кулагер, уже совсем близко до юрты с золотыми шнурами. Всё – выиграл. Выиграл!..

Бесцветным сделался конь от пенного пота и пыли. Не видят глаза коня, выкатившиеся из орбит – всего себя отдал айгыр скачке. Только лошадь способна так отдать себя – всю, до-последнего нерва. Тридцать горных верст, где угнаться за ним, мохноногим, этим баловням нездешним, пусть и резвы они. Но нет в них настоящей сольной злости, что только и дарит победу. Победа!

Хрипит, голову задрал Кулагер – поводья тянут, рвут губы, веля остановиться... край пропасти, над которой поставил белую юрту свою Тогульбек, совсем близко. Вон за спиной свечкой поднялись кони преследователей, выкатили в ужасе лиловые глаза. Ты выиграл спор хана-отца, остановись, джигит!

Не остановился жеребец – рухнул на землю вместе с рухнувшим сердцем своим.

Перелетел через голову хрипящего Кулагера всадник – единственный сын хана Тогульбека и жених красивой, как сон, невесты из-за гор. Коротким был крик юноши – приняла тот крик пропасть за белой юртой, увитой золотыми шнурами...

– Твоё!.. – сказали хану приезжие спорщики, показывая на выставленные сокровища.

– Твоё, – ещё сказали, ссыпая золото из своих карманов, выворачивая расшитые хурджуны* и снимая дорогие седла со своих коней.

– Моё, – согласился хан Тогульбек. – Такие у нас лошади – всё отдают хозяину.

И тишина висела вокруг, как туман.

И велел хозяин прибить голову айгыра-победителя к верхушке молодой ели, росшей на самом краю пропасти. Пусть растёт дерево, пусть держит корнями своими камни над пропастью. Пусть все далеко видят, какие кони в табунах Тогульбека.

* Хурджун – переметная сума (тюркск.).



– И это – твоё!.. – подвели красивобородые гости невесту, тени ресниц ее лежали на белых щеках, а дыхания не было слышно. – Пусть родит тебе... калым заплачен.

Ещё дымились огни под котлами. Ещё булькало мясо в тех котлах. Ещё капал на уголья жир с цельных баранов, нанизанных на вертела.

– Так, – подтвердил хан Тогульбек, забирая в кулак сивый хвост бороды своей. И задрожали ресницы юной невесты, привезенной из-за гор на белой шелкошерстной верблюдице.

– ...Но не дал аллах новых детей хану, – закончил старик. – Прервался род Тогульбека, который считался хозяином гор. Давно это было... Знаешь, сколько наша ель растёт?

– Десять сантиметров в год.

– Давно было. Метров на тридцать поднялась ель... Взгляни, – подал мне бинокль старый лесничий. – А ты говоришь – “перестой”... Лес многое помнит. Так говорят.

У самой верхушки громадной черной ели четко белел лошадиный череп. Выбеленный дождями, ветром и солнцем, пророс он зелеными иголками.

– Сказка... – сказал я.

– Сказка, – согласился лесничий. – А рубить не торопись.

Солнце давно расплавало туман. Отдохнувшие наши лошади хватали губами искрящийся снег. Мы поехали дальше.



ТАМ, ЗА МОРОЗНЫМ ОКНОМ

Олжасу

КОБЫЛА умирала четвёртый день.

...Всего десять дней, как привел я лошадь от табунщиков с зимнего пастбища, где она ходила с начала осени. Я купил ее прошедшим летом, соблазнившись большим ростом и малой ценой, да еще, пожалуй, редкой по этим краям мастью – светлосерой в темных яблоках.

Очень большая это была кобыла, с широкой спиной в чуть заживших потертостях, с грустным, каким-то даже отрешенным, взглядом; в крови ее еще чувствовалась струя орловских рысаков, но на ноги уже была слаба, хотя двенадцать лет – не старость для лошади. Кобыла была загнана, опоена, “села” на ноги, и горы ей были непривычны — все это я узнал только, когда уже купил ее, а довольный продавец отключевал за сотни километров.

Все же я решил, что высоконогая моя кобыла поправится, если освободить ее на несколько месяцев от всех обязанностей... Месяца четыре она ходила в табуне на хороших травах, пока не выпал совсем уж большой снег и не ударили настоящие декабрьские морозы. Табунщики знали, что тебеневку она не вы-



несет, и попросили забрать ее на стойло. Кобыла нисколько не поправилась, она трудно и с одышкой пронесла меня те полтора десятка километров, которые лежали между пастбищем и домом; и пришлось поставить ее в сарай, благо, сена и фуража было в достатке.

Я всю жизнь мечтал о собственной лошади.

Я представлял себе её жеребенка, которого получу из-под черного громадного Паровоза – племенного жеребца в табуне моего друга Кадыра.

Но серая кобыла через десять дней по возвращении с пастбища легла во дворе и больше не смогла подняться. Вначале она боролась за жизнь, прилагая все усилия, чтобы встать; мы оба ещё надеялись выкарабкаться из беды, но как я ни помогал, как ни тянул за повод, как ни подпирал плечом, ноги у лошади подламывались в самый последний момент, а она со стоном откидывала тяжёлую голову и валилась на бок.

Я привёл к ней лекаря, семидесятилетнего важного Аль-Рахима, который, покачав головой и понимаяще почмокав, проколол шилом набухшие узлы у нее на шее и вырезал хрящевидные образования в носоглотке. По диагнозу “дохтура” Аль-Рахима, как он сам удовлетворённо называл себя, все это мешало кобыле дышать и отнимало силы жить. “Встанет”, – махнул старик рукой и пошел пить чай.

Кобыла не встала ни на второй, ни на третий день.

Я забросил многочисленные дела и несколько раз на дню ходил к ней, подтыкал со всех сторон сено, укладывал одеялами и плащами, с тревогой смотрел во дворе на градусник: мороз пока держался небольшой, но тучи предвещали снег, за которым холод придет всерьёз... Несколько раз в день я помогал кобыле поднять голову, вводил биомидин и глюкозу и держал ослабевшую шею, пока животное медленно перебирала губами тёплый комбикорм или мягкое зелёное сено. Она постанывала и ела, и аппетит



ее не позволял отчаиваться. Потом она отбрасывала голову на подбитую сенную подушку, смотрела на меня отрешенными глазами и стонала так громко, что эти стоны потом доносились до меня в дом.

Ночью я тоже выходил, потому что и без меня кобыла делала попытки подняться или перевернуться, но лишь сбивала с себя все одеяла и сползала на подтаявшую оголённую землю. Всё начиналось сызнова: кое-как я приподнимал ее, подтыкал со всех сторон сено, укрывал, подкармливал. На третьи сутки я остановил три лесовоза, попросил водителей и грузчика помочь мне. И мы впятером попытались поднять ее, поставить на ноги – все было бесполезно, кобыла даже больше не старалась мне помочь. И стон снова не давал мне уснуть, и мне слышались в нем уже не жалобы и призыв, а усталое нетерпение.

Пятое утро она не встретила. И ударил мороз, и стон больше не доносился до меня, и только каркали вороны да трещали сороки.

Я всю жизнь мечтал о собственной лошади. Мне так хотелось самому воспитывать жеребёнка... Животные, с которыми мне приходилось общаться, быстро и прочно привыкают ко мне, и я представлял, как жеребёнок бежит за мной, "эгегекая" и взбрыкивая в избытке прибывающих сил... И я понял, как трудно умирает лошадь, а застрелить ее мешает надежда, мелькающая в её глазах и моем сердце. Но я устал, когда она медленно умирала. Потому что, в сущности, она так и осталась мне чужой: я и проехал с нею только один раз, и был близок лишь последние, уже некрасивые десять дней. Даже имени у неё ещё не было, и голос мой оставался для неё чужим. Я устал и почти ждал этого конца, хотя сердце щемила утрата – щемила той самой неосуществленной грёзой.

Когда всё кончилось, я вернулся домой и сел у горящего камина. Вот и камин... Если уж признаться самому себе: вся жизнь, здесь, на этом дальнем кордоне, была для меня всё той же детской игрой в "ка-



заки-разбойники". И если кто заставил меня поверить в серьезность жизни и работы здесь – так это Балт.

...Потрескивающий огонь отбрасывает блики на стену, где висят рога. Неуверенно просыпается декабрьское туманное утро, мороз скрипит стенами дома и на глазах наносит новые узоры, на чуть побледневшее окно. Рога на стене старые, белёсые и от бликов кажутся еще больше, хотя и так – каждый рог длиннее моей руки, на каждом роге по шесть отростков. Рога большого марала, их мы с Балтом нашли в горах. Блики огня из камина высвечивают белизну рогов, играют на желтых медалях, что тонкой цепочкой подвешены на двух отростках. Медалей восемь, все они когда-то заработаны Балтом на выставках и соревнованиях, пока мы не уехали с ним из города в горы.

Мы прожили с ним здесь три года. При встречах в горах с чужаками я никогда не ощущал своего одиночества – один вид громадины-пса заставлял нарушителей лесного покоя отказаться от оружия, а уж коль скоро доходило до крайностей, Балт, хотя и был в обычных условиях добродушнейшего характера, мог стащить браконьера с седла или загнать в кабину вместе с заводной ручкой, поднятой для угрозы. Весил он под семьдесят килограммов, и это был вес пружинных мускулов и хорошей скорости.

Балт был догом – "арлекином" с голубыми глазами, он был очень городской, "очеловеченной" и "домашней" собакой; но сейчас, после замолкшего лошадиного стога, когда я сижу у огня и гляжу на желтеющие в белых огромных рогах марала медали, мне приходит наконец в голову мысль и воспоминание, что по-настоящему счастлив и страстно несчастлив Балт стал, только уехав из города, забросив свои блестящие погремушки и вернувшись в естественную свою природу, от которой, оказывается, он не очень-то и отрывался. Покой без волнения – ещё, оказывается, не счастье, просто спячка. В горах же непокоя хватило бы на десяток городских псов. А



Балту нужно было только что-то до-вспомнить, что-то до-понять, с чем-то до-примириться...

И когда он, вспомнив, как надо искать, остановил матерого рогача-марала весом в полтонны, способного одним лёгким ударом копыта раздробить Балту череп; когда голубоглазый пёс, ощутив возможности своего гибкого тела, не обращая внимания на распоротое рогом бедро, в котором багрово пульсировала мышца, удерживал этого оленя в семи метрах от моего объектива – разве не было мгновение веселее, упоительней всей его предыдущей сонной жизни, несмотря на боль, несмотря на незнакомый прежде голод, несмотря на холодные ночи, в которые приходилось собственным дыханием отогревать израненные камнями или острым настом лапы? А когда он приносил мне подстреленного зайца, разве не светился в глазах его огонь удовлетворенной и прежде забытой страсти – погони и достижения, страсти, без которой немислима жизнь, как немислимо и счастье?..

Он – пёс, как тысячи псов тысячи лет, – знал, что такое дружба; он забывал о собственной боли, собственном пустом желудке и промерзшей короткошерстной шкуре, когда надо было встать на пути чужого выстрела, назначенного его хозяину-другу, а позже лечь рядом со спальным мешком, чтобы обменяться теплом прижавшихся боков, теплом, которое не разберешь где-чье и которое не разделишь на части, – разве на это не променяешь все годы регулярной похлебки на цепочных ограничениях?..

Отблески потрескивающего огня играют на желтых медальях и жетонах. Награды остались. А Балта вот уже год как нет рядом.

Его отравили мнимые друзья, которым оставил я на попечение дом и всех животных на кордоне. Об этом мне пришлось узнать позже: они опасались, что Балт может помешать, а один человек в горах – только один... Когда я через несколько дней вернулся, Балт лежал в закутке во дворе; не в силах



подняться, он и не хотел заходить в дом, потому что боялся напачкать и потому что не желал показывать своей слабости людям.

В свои последние дни животные всегда уходят от свидетелей, и это последнее достоинство жизни сохраняют в себе многие прирученные звери.

Три дня я делал ему уколы пенициллина, вливал сырые яйца и глюкозу в почти неразжимающиеся челюсти; три дня мы прощались взглядами и прикосновениями, и прощали друг другу мнимые и действительные обиды, неминуемые за семь лет жизни. Я устал, когда умирала лошадь, но она, в сущности, была мне чужая, как и я ей, нас соединяли только случайность и надежда. В три дня, которые умирал Балт, возвращались и вновь проживались годы нашей жизни вместе; и еще более ранние мои годы – те, что вели меня к этой угасающей на глазах собаке. У нас с Балтом было прошлое.

Не знаю, может ли животное вспоминать, но мне кажется – Балт помнил всё, он и прежде видел сны, в которых то догонял кого-то, кому-то радовался, на кого-то злился и рычал... В эти последние дни, к моему счастью, на кордон приехали сразу две машины с моими друзьями, но Балт видел только меня и трудно поднимал голову лишь навстречу моим шагам, больше его уже ничто не держало здесь.

Так уж случилось, что именно в эти три дня сломал я ногу, неудачно прыгнув с седла и хлестанув камчой коня, который иначе не мог бы подняться по скальному облому, замыкающему выход из ущелья.

Операция и месяцы на костылях – это потом. А тогда, в последние свои часы, Балт, пока я делал ему укол, обнюхивал мои самодеятельные шины и перевязки и забывал о собственных смертельных болях в сочувственном и слабом повизгивании – по мне.

А может быть, он не хотел и боялся оставить меня одного, справедливо полагая, что мне с ним было бы надежнее жить...



Он знал во мне многое – и плохое, и хорошее. Он знал мою доброту, впадающую в безотказную деликатность, как знал и мое безразличие, он терпел мои временные измены и бесславные зароки, словно понимая, что мне далеко до его умудренного спокойствия и молчаливого сочувствия. Он терпел мои внезапные отъезды в погоне за воображенной химерой, терпел случайных новых хозяев или хозяек и мои внезапные возвращения, будто понимая, что метания человека – всего лишь поиск дороги к... себе. Но он-то знал при этом, разве что не умея сказать: себя можно скорее растерять в расстояниях и встречах, если не обрел – в себе ж самом. Так же, как и винить за все ошибки и неудачи, которые для собственного успокоения позже можно назвать опытом, тоже нужно – лишь себя. Впрочем, у каждого своя судьба, и судьба эта зовётся характером...

С Балтом начинали мы новую жизнь, когда он – трёхмесячным щенком с необрезанными, до пола вислыми ушами, – входил в новую, совсем пустую еще квартиру, оставляя свои детские метки на свежекрашенном полу. Мы с ним начинали и другую новую жизнь, когда ехали за триста километров в незнакомые горы и в одиночество. Ехали на машине, беспорядочно заваленной вещами, настолько необходимыми вещами, которые обступают каждого из нас, что они здесь никогда потом не пригодились; мы жили с Балтом месяцы без окон, дверей, и печей в развалине, называемой "кордоном", жили в ожидании ремонта, и чугунный Мефистофель каслинского литья по-прежнему горбился на письменном столе, заваленном сёдлами, гвоздями, и патронами, и фарфоровой, так легко и весело бьющейся здесь посудой. Наверное, главный чёрт с короткой своей шпагой знал, как нескоро закончится тот ремонт, после которого можно будет привезти остальных – жену с дочкой – и не напугать их этой глухоманью и неуютом; можно будет даже



пригласить самых близких друзей – так, впрочем, и не собравшихся приехать ввиду городской деловитости и такой отдалённости... Но мы понимали с Балтом, что сетовать на жизнь грешно, так уж устроено: кто-то – сменяет лошадей, кто-то – кресла, жизни необходимо то и другое, разве что разная приходит к разным людям усталость, да по-другому оценивается близость человеческая, и времени человек себе не оставляет – взглянуть на себя со стороны. Некогда, а может – страшновато...

Ещё в городе, когда Балт подрос и выдержал мои срывы, он мог терпеливо ждать у магазина, когда жена, уже не имея возможности поднимать мало-мальские тяжести, вынесет ему покупки, и пёс, к удовольствию прохожих, понесёт полную сумку картошки или чего там ещё домой за несколько кварталов. Позже он использовал это умение, когда подружился с моим конём и носил ему в ведре зерно, глазами словно выпрашивая у меня побольше. Это была бескорыстная просьба, поскольку он не ел зерна и не ездил верхом.

...Он с юности мог терпеливо сидеть в машине все двести пятьдесят километров, перебарывая тошноту бензиновых паров и не ревнуя к случайным попутчикам, когда мы с другом, обуреваемые тщеславием и жаждою новых ощущений, везли его в соседнюю республику на выставку. Неслись сломя голову внезапно среди ночи, само собой, придумав для отговорок и оправдания необходимость «деловых» встреч.

Балт любил моего друга, потому что тот был крупным поэтом с добрым и поставленным голосом, и поэт мог броситься на четвереньки в игре с Балтом. И еще потому любил, что поэт был хорошим шофером и умел вести машину, даже если пес укладывал свою большую голову ему на плечо, а при этом поэт ещё читал стихи о пустыне и смеялся, смеялся. Да, в те времена люди ждали стихов и слушали поэтов на площадях и стадионах, и вспоминали о понятиях достоинства и чести.



Балт понимал, что поэты должны быть веселыми даже в грусти, однако, откуда мог он знать, что даже поэты взростеют и становятся министрами, и это совсем невеселое занятие для поэтов и вовсе гиблое – для поэзии. Знать это мог разве что чугунный Мефистофель на письменном столе, но он многое знал молча, ёжась от сквозняков под своим старым плащом. К этому времени Балта уже не было, и вьюга в который раз заметала старую веселую дорогу...

Мы мчались по той дороге в другой город на выставку словно в будущее, нам с другом и легкими попутчицами было беспечно, как и должно быть в молодости – нас ждали ещё друзья, и уже скворчали шашлыки к вину, которое старательно и бережно Балт приносил в сетке, удивляя незнакомые улицы. Его, голубоглазого пса, там ничего не ждало, кроме жары на площадке выставки. Больше того, его заставили плестись в конце вереницы собак, осудив его “нестандартный” окрас. И он мог позволить себе высокогордо держать голову, потому что всё равно осуждение не могло зачеркнуть ни красоты, ни мощи его. Да и на соревнованиях по службе медаль он взял из первых – уж работать-то умел не по-комнатному и любил работать, а это вполне удовлетворило наше тщеславие и оправдало случайную поездку.

И как весело мы возвращались по чужому ночному городу назад, домой, как резко тормозили мы, увидев одиноко всхлипывающего мальчугана, и успокаивали его, и разыскивали интернат, из которого мальчишка сбежал в тоске по родителям; как пели мальчишке и знакомили с ласковым псом-громадиной, и дарили мальчишке что попадало под руки – ведь не может же поэт оставаться весёлым, когда кто-то плачет в ночном спящем городе... Позже эта поездка тоже пригодилась Балту – наверное, тогда он научился отличать справедливость от льстивой похвалы, за которой скрывается неприязнь или корысть. Впрочем, и это умение не уберегло



ни его, ни меня, ни поэта от излишней доверчивости, и, слава богу, никто из нас никогда не жалел об этом... И, уверен, Балт порадовался бы хорошей памяти, услышав, как поэт, спустя много-много лет приехав из Парижа, на своём многолюдном юбилее вспоминал, смеясь и грустя, об этой поездке через ночь с голубоглазым псом...

Балт мог бы, если б умел, похвастаться, что играл в телеспектакле вторую роль вместе с известным актёром, и чёрт меня побери, если играл хуже актёра! Пёс сделал красиво-безразличный проход по лестнице в подzemелье, потом, лежа на сундуке, настораживаясь и поводя ушами, внимал монологу Скупого рыцаря, вовремя подавая реплики сдержанным рычанием. Гармония стиха всегда чем-то задевала его. Это было здорово, и режиссер с актером были в восторге, но это ему никогда потом не понадобилось, потому что на природе Балт мог играть и первые роли.

...Мы приехали с Балтом в горы. Тогда ещё не было камина, бросающего отблески света на марафьи рога. Тогда ничего ещё не было, кроме остова дома, долгие годы бывшего прибежищем бродячих ишаков да кочующих мимо отар... И я оставлял сваленные в кучу вещи и книги на пса, уезжал. "Познакомимся, – говорил я ему, вскакивая в седло. – Надо знать, куда мы приехали, познакомимся. А ты жди, я вернусь скоро, Балт..."

Он ждал. Он знал теперь, что я обязательно вернусь к нему. Потом мы ездили вместе, оставляя на ухмыляющегося главного чёрта на письменном столе груды вещей и пожитков. Мы ехали вместе, и собаке было тяжело вначале, слишком грузен оказался Балт для горных троп: он возвращался и отлёживался, зализывая истёртые до крови лапы, и ел заваренную кипятком муку, хотя прежде и не посмотрел бы на подобное хлёбово, – ему нужны были силы, чтобы не отстать в горах от лошади, от меня.



Горы...

Горные тропы, по которым можно ехать день, неделю, десять дней; тропы безлюдные и всегда приводящие к юрте, где тебя напоят чаем, накормят и уложат ночевать. Где необходимость в общении превращает каждую встречу гостя, даже случайно завернувшего, в маленький праздник.

Здесь могут понадобиться лекарства, которые мы возим с собой, а позже Иса заедет к нам выпить чаю и сказать "эй, рахмет, кызымка здорова, курт вот возьми...", и погладит Балта с уважением и опаской – большой всё же, не видал таких...

Перевалы и тропы, что никогда не наскучат, каким бы усталым ты ни был, что каждый день, как каждый год, готовы открыться тебе, а готовы и напугать, потому что живут своей жизнью, и время у них свое – вне тебя ведут свой счет камень, солнце, вода и ветер. Тропа ныряет в щель, поросшую кустарником, карабкается по скалистым склонам, выходит на многоцветье альпийских волнистых лугов, где с непривычки трудно дышать от чистоты воздуха и аромата трав. Луга окаймлены колками тьяншаньской ели, через которые тропа опускается к перекатным ручьям, что впадают в общую для участка речку Женишке – разнохарактерную, а весной даже грозную речку. В речке той водится вкуснейшая рыба осман – рыба без чешуи, отчего, верно, и называется "осман голый", – а если повезёт, попадётся стремительная, зубастая, в пятнах на розовом упругом теле царица-форель...

Но осторожно: при самом восторженном интересе не забывай видеть копыта коня – красные гравийные осыпи, желтые глиняные потёки расщелин сулят опасность, а рядом с тропой и вниз – десять-пятнадцать-пятьдесят и больше метров – отвесные скалы и каменные зубья, в которых пробила себе дорогу река.

А тропа вьётся выше, петляя в темноте двухсотлетних елей, прыгая через старые вырубки и гари, на



которых поднялись уже смородина, можжевельник и рябина; тропа карабкается к густым островам вечно-зеленого арчевника и кустам эфедры на каменистых выжженных склонах, добирается до замшелых мрачных скал, уходя к пикам за перевалом, с которых и летом не сходит снег. От тысячи восьмисот до трёх тысяч метров над морем – перепад высот, как и перепад климата: утром выехав по жаре почти тропической, когда солнце выжигает все до камня, к вечеру можешь въехать прямо в метель.

И Балт шел этими тропами рядом со мной...

И гонялся по зайцу в тугих ветвях арчи, и пугал лисицу, затаившуюся в кустах шипички, и облаивал непривычно-тревожащий след кабана, совсем недавно прошедшего в ельнике, и оставлял возбужденные метки мочи на волчьих отметинах – Балт привыкал и радовался новым местам, осваивал новую жизнь, свободу. Свободу ведь тоже нужно – осваивать, чтобы не оказаться ею отравленным.

И он ждал меня, когда я на попутках носился в город-из-города, торопя, убеждая, заискивая, требуя, преображаясь в выбивалу-просителя, снабженца, нищего и обещателя райских благ, потому что "несколько дней" ремонта нашего дома-кордона складывались в несколько месяцев, а осень уже грозила перекочевать в зиму. Сложностей на новом месте оказывалось больше, чем можно было предположить поначалу, и их надо было решать, раз уж взялся, решать при всей своей широкой неспособности к такого рода делам, удивляясь потом великой человеческой приспособляемости и выживанию. А Балт ждал меня возле вещей по три дня, он знал, что теперь-то я обязательно вернусь к нему – к себе...

Еще в городе он научился принимать гостей, знакомых и незнакомых; пёс всегда встречал их с достоинством и радушием, и гости всегда становились его друзьями и почитателями, если уж не были откровенными сволочами, но нам везло на людей; даже если



они приезжали с разбитой машиной и благополучными шишками-синяками после аварии – той самой, знакомой машиной любимого Балтом поэта – добрый мой арлекин заставлял огорошенных московских знаменитостей на время забыть от пережитого ужаса аварии, который становится еще осязаемей задним числом. В таком случае Балт соглашался терпеть водочный дух, которого не переносил вовсе.

Здесь, в горах, любой путник нуждается в крыше, в тепле, в хлебе; и Балт без рычания разрешал входить в дом совсем незнакомому человеку, правда, сам оставаясь на пороге, лежал удобно, наблюдал с интересом за гостем, слушал его – если гость был склонен поговорить, и ждал меня – ведь и в самом деле, как отпустить гостя, который не повидался с хозяином...

Он ждал и в последний раз, слабел, не в силах подняться, и укрывался от чужих ему людей, но крепился и ждал, зная, что я приеду, ждал у самого края Большого прощания.

Я сам пригласил их жить в доме – противочумную экспедицию, потому что здесь было удобнее, а работать в поле им предстояло всё лето, да и кто в отдаленности устоит перед соблазном регулярного общения даже с полужнакомцами, кто устоит в горах перед надёжностью попутного транспорта?.. Но потом оказалось, что начальник отряда был мелкой гадиной, а его помощник-зоолог гадиной покрупнее, и нам прежде не приходилось с такими сталкиваться, и мы были заранее обезоружены собственной доверчивостью. А Балт поплатился за неё жизнью.

Позже мне пришлось гоняться в гипсе за этими "благожелателями", которые оказались заурядными браконьерами и фарцовщиками, прикрывающимися накипью культуры – бряцаньем красивых словес и демогией, этим вонючим детищем приспособленцев любого времени и ранга. Они вывозили шкуры сурка, которого должны были исследовать, продавали и выменивали местным охотникам оружие с патро-



нами, а я бесполезно гонялся, бессильно требовал, и оборонялся от гнуса анонимок, которыми ожиревший обыватель в любом обличье склонен оборонять свою наживу и свой покой. А чёрный чугунный Мефистофель каслинского литья стыдливо наклонял голову и прикрывался петушиным пером, забиваясь в теневую часть письменного стола, где стояла большая фотография пса с голубыми глазами. Я гонялся бесполезно – быть может, именно потому, что уже не было Балта, который очень не хотел оставлять меня одного в этой жизни и оттого мучительно повизгивал, перед собственной кончиной обнюхивая самодельные перевязи моей сломанной ноги.

Жизнь собаки и вообще короче человеческой – хочешь или нет, но ты должен быть готов к утрате. И мы с ним оба не дождались его семи лет, которые вот-вот должны были исполниться, а семь лет – это большой срок, если живешь вместе, если дружба проверена успехом, а еще надежнее – неудачами. На остающегося всегда падает бремя утраты и памяти.

...Я всегда мечтал о собственной лошади и хотел воспитать жеребенка... У меня даже была для будущего коня удобная попона, её мне подарили на ипподроме. Красивая черная суконная попона с аппликацией и ремешками-пряжками.

Я завернул в неё Балта – это было всё, что мог сделать для него на прощанье. Попона да выстрелы из ракетницы в солнечное предапрельское небо.

“Плохой конец...” – сказал мне приятель, прочитав новеллу.

Что такое – “плохой” или “хороший” конец, если за чертой остается жизнь? По мне “плохой” конец предпочтительнее, подумал я, когда огонь ещё раз сверкнул на старых медалях, мой Балт согласился бы с этим. “Плохой” конец – значит, до него была жизнь наполненная, было то, о чем стоит сожалеть – утрачивая, было здорово. “Хороший” конец – лишь избавление и ничего больше...



Ты взбираешься на гору. Пот струится по лицу, ты задыхаешься, нужно несколько раз грохнуться вниз, похолодеть от мысли неизбежности падения и мгновенно преборённой слабости, в сопротивлении этой слабости выворачивать и рвать руки, хватаясь за камни и колючки, опрокидывать на себя небо и землю, вспоминая все оби-ды, которые тебе причинили и которые – быть может, чаще! – причинил ты, скользить, прощаться и прощать; а уцепившись в последний момент чёрт знает за что – снова взбираться вверх, не растерявая в падении веры и надежды; потому что начинать с нуля жить полным дыханием нужно в любую минуту своего существования – даже если остается всего несколько дней или часов, эти мгновения не должны опустошаться безмыслием или бесчувствием.

Вот тогда – через боль, усталость, головокружительную тошноту и отчаянье, и преодоление утрат – ты узнаешь радость близости неба и слиянности с ним чело-веческой силы духа; и ты поднимешься, преодолеешь и уйдёшь за перевал, где твоей помощи или просто участия кто-то ждет; когда выкуришь измятую на подъеме сигарету, и поймешь, как может пьянить обычный чистый воздух, и прокричишь, пусть тебя и не услышит никто сейчас... Можно, конечно, подняться вертолетом, обойти какие-то препятствия хитроумием – если успеешь, но найдешь ли ты при таком подъеме то, что станет – памятью? Потому что без потерь, какая цена – приобретениям? И разве за радость и горечь сознания, за понимание, сомнение и любовь не расплачиваешься – жизнью?..

Я всю жизнь мечтал о собственной лошади... И я понял, как трудно умирает лошадь, а застрелить её мешает надежда, мелькающая в её глазах и моем сердце. Но я устал, потому что, в сущности, она так и осталась мне чужой: большая, серая, с отрешенным взглядом кобыла, в крови которой еще билась струя орловских рысаков, но которая загнана и ополена, и горы оказались ей непривычны.



Но вот что удивительно: прошла неделя, даже чуть больше, как она легла, стонала, мучительно беря из моих рук сено, как остыла, не дождавшись пятого утра. А сегодня проехал я по дороге и увидел след лошади – ее след, таких больших копыт здесь у лошадей нет, ее четкий след, отпечатанный на снегу.

Конечно, снег растает. Или выпадет новый, а потом растает совсем. Но ведь что-то, какие-то изменения и она, эта старая загнанная кобыла, внесла в мир? Она жила, дышала, кого-то возила, и кто-то срывал на ней зло, у какого-то мальчишки она слизывала хлебные крошки с ладони и где-то растут ее жеребята... И этот след на снегу, оставленный ею, породил наконец меня с ней и приблизил ко мне того крестьянина, который мог рыдать сто лет назад над павшей лошастью, припоминая всё доброе, что она, его лошадь, ещё должна была сделать, и крестьянин тот понуждался теперь оставить недопаханный клин земли, уйти для прокормления в город, и только там родить моего деда, который уже не будет знать ни лошади, ни земли... Странно, что человек склонен задумываться над жизнью своей при утратах; что именно утрата даёт видеть, сколькими нитями связан ты с миром.

Ранним декабрьским утром скрипит стенами дома мороз и на глазах наносит новые узоры на чуть бледнеющие окна. Неверный еще свет из окна и сполохи от нового полена оживляют сомнения на черном длинном лице чугунного Мефистофеля, придуманного одним мастером и отлитого другим на старом каслинском заводе, хотя они и не знали друг друга. А сейчас чугунная фигура на моем письменном столе будто оживает и тоже смотрит, как потрескивающий в камине огонь отбрасывает блики на стену, где висят рога, старые белёдые рога большого марала, который тоже прожил нужную жизнь. Мы с Балтом нашли в горах эти рога, я увезу их отсюда – памятью, а в горах осенью по-прежнему будет слышен трубный рев других оленей, продолжающих его жизнь. Я отдам



старые олени рога поэту, и мы вместе вспомним нашего друга, и молодость, и утраты на старой веселой дороге, заметенной вьюгой.

Блики огня высвечивают белизну рогов, играют на желтых медалях и жетонах, оставленных мне Балтом, который согривал меня на привалах и мог стать на пути чужого выстрела, предназначенного мне.

И я живу дальше. И делаю свое дело, неважно какое дело, потому что любое дело, если оно не мешает другой жизни, созидательно: коня ль кую, чищу ли клозет за сараем, или кормлю обессилевших и оставшихся на зиму уток, пишу ли книгу или копаю колодец – я живу. И камин – благодаря Балту – уже перестает быть прихотью: живой огонь и живая память, как и ухмыляющийся чугунный Мефистофель каслинского литья.

И живет дерево на могиле Балта, приехавшего со мной из города дога, “арлекина” с голубыми глазами, городского массивного пса, которому нужно лишь было что-то до-вспомнить, что-то до-понять, с чем-то до-примириться, чтобы не обращать внимания на распоротое рогом бедро с багрово пульсирующей мышцей и удерживать огромного рогача-марала в семи метрах от объектива моего аппарата. Чтобы помогать мне делать дела человеческие и чтобы – обрести жизнь, счастье и смерть в горах.

Дерево на том холмике на обрыве сейчас занесено снегом, оно ещё небольшое, но оно проснётся весной. И частица Балта, его большое тело, поможет тому дереву тоже стать большим. И мальчишки будут рвать зеленый еще урюк и не будут знать, что силы та урючина взяла – у моего Балта. И птицы будут клевать перезрелые ягоды у корней дерева, уходящих в каменистую землю, удобренную голубоглазым псом.

А люди... что ж люди? – Что они вне памяти, вне земли и могил на ней?.. Однодневки, пыль с крылышка мотылька, несомого ветром. Прах.



ВОЖАКИ

Тяньшаньская поэма

*Мне ни прощанья,
ни прощенья...*

I.

ВОЛКИ пировали всю ночь.

Они до сих пор не могли поверить в свою удачу: торопливо, с трудом и хрипом проглатывали ещё горячие куски. Нет-нет да и отрывались от тёмной туши, настороженная ярость вздыбивала и без того напряжённую шерсть на горбатых загривках: то один, то другой волчара, отскочив от поверженного марала, осторожно обегал кругом стаю, взбирался на огромную каменную плиту, нависшую над тёмными верхушками елей, что спускались по щели к полузамерзшему ручью.

Каждый из них, ночных леших – серых, поджарых, большеголовых, остервенелых и ослеплённых многодневным голодом и всё же неусыпно осторожных – вскакивал, пружиня лапы и напрягая уши, на ту истоптанную плиту, с которой их могучая жертва пыталась совершить последний прыжок.

Рвали, отскакивали, хватали обрызганный кровью снег, пугались, косясь на ворон, которые терпеливо ждали своей доли, молча возвращались, не огрызаясь друг на друга, беззвучно перебирали лапами на



одном месте, нетерпеливо и опасливо продолжая прерванное пиршество своё.

Вот кто-то из семи волков, ослеплённый мигом страсти насыщения, с таким остервенением рвёт свой кус, что отлетает назад, – и шевелятся рога, ещё час назад способные поднять на воздух или расплющить у земли любого из стаи.

Даже самого крупного из них – вот этого, что единственный из семи ещё не проглотил ни единого куска. Ни единого куска так пьяно пахнувшего на морозе мяса не проглотил. Не вцепился в это тело, так неожиданно и спасительно ставшее добычей стаи.

Хотя он имеет больше других прав... Право Первого.

И он один сидит неподвижно у самых рогов, которые кажутся порослями каменного кустарника: любому волку впору спрятаться под этими рогами.

Он – Вожак стаи – рискнул, вопреки здравому смыслу рискнул бросить стаю на этого гордеца, которого он, волк, знал почти с рождения... и справиться с которым могло помочь лишь чудо.

Вожак, словно желая вновь опознать знакомца, сделал несколько медленных шагов округ головы рогача. Видна хромота волка, еле заметная, она придает лишь некоторую валкость его походке и скрадывается широкой светловатой грудью, лобастой властностью головы.

Вожак подходит к вытянутой, по-прежнему напряженной шее марала, косится на рога, лапой чуть трогает покрытую инеем гриву, воротником сбитую на оленьей шее. Ощувив зуд, зализывает сукровичный развал на бедре, что успел-таки в последние секунды оставить ему на память марал.

Да, только чудо могло помочь истощённой зимою стае взять этого рычащего оленя. Здесь взять, на его родном утесе...

И Первый волк валкой походкой, словно матрос, снова обходит голову рогача с прикушенным в смер-



тной улыбке языком, останавливается у вытянутых передних ног, сухих и таких мощных даже сейчас, когда острые копыта Благородного оленя неподвижны.

Он сразу понял тогда, что это чудо должно произойти, что-то в поведении великана этих гор настояжилось и нашептало об успехе...

Волк обнюхивает острое копыто, оглядывает своих, рвущих мясо в голодном и недоверчивом исступлении, вдыхает теплый пар. Без рыка, молча шевелит тяжелой головой на рослого волчонка, подбравшегося к шее их жертвы, – так шевелит, что переярок туже задвигает хвост к поджарому животу и прячется за остальных. А виноватого взвизга его Вожак уже и не слышит.

Это всегда его, Первого волка, привилегия, а он не торопится начать свой пир. Его все ещё тревожит неразгаданность случившегося, ибо непонятное всегда несёт в себе угрозу, хотя Вожак и знает сейчас – опасности вблизи нет.

... В рассеянности он вновь нюхает остро-напряженное копыто поверженного оленя. И взгляд останавливает странная опухоль на колене марала – единственная помеха на вытянутых сухих ногах, на опухоли спотыкается глаз, этот комок на колене прерывает стремительную линию ноги рогача... так дело в ней? И тот, последний, напряженный прыжок – подрезала эта опухоль? Она – такая чужая, такая ненужная здесь, на этом совершенном инструменте, который помогал Благородному оставлять под копытами любые утесы и любых преследователей... такая же чужая, как и жжение у него, волка, теперь на бедре?..

Вожак лизнул свою рану. Затем, будто желая выправить тот единственный порок на колене жертвы, принимается разгрызать опухоль на ноге Благородного. Его, Серого Вожака, соперника в этих горах, неподвижного сейчас соперника, которого стая обратила нынче в пищу.

Чуда не было.

Было то, что каталось у него самого под шкурой



вот уже третью зиму, хотя и не тревожило пока. Шальная пуля, даже не раздробившая кость, пущенная издали, наобум, мешала она выжить Благородному. Это она свинцовой опухолью связывала его прыжок надежнее пут.

Чуда не было. Был общий враг, всё тот же. Он где-то издали выпускал гром и этот горячий комочек свинца. А не достав Благородного, ушёл. Ушёл, забыл, приговорил. Приговорил, ушёл... нет, не забыл, придёт, как приходит каждую весну. Как всегда приходил.

Волк отошел чуть в сторону от пирующей стаи. Там насыщалась и его волчица, ей необходима была эта жертва Благородного, ибо она несла уже в себе новую жизнь. Его, Вожака, жизни – Продолжение...

И снова, уже безо всякой обиды на противника, принимается зализывать рану. Ему не в чем упрекнуть себя, это честный, хотя и предрешенный поединок. Так устроена их жизнь, они следуют её законам: нынче желудок многих успокоится – вон как терпеливо ждут своего вороны, вон и горностаи посверкивают глазками из-за камня, и тоненькое тьяканье лисицы послышалось...

Хромой волк и этот олень были ровесниками, они родились в одно время и недалеко друг от друга. Они не раз встречались на горных тропах и не всегда ему, Первому теперь здесь волку, уступалась дорога, это так. Они были ровесники, и ему, его стае надо жить здесь дальше. Благородный был обречен уйти раньше, стая лишь завершила этот уход. Осенью волки не пытались, да и не могли помешать этому маралу продлить свой род, Благородный был яростен в своей любви. И не одна маралуха приходила на его зов и по следу к Утесу над верхушками елей, волк знал это. Нынче завершился честный поединок, свинец тот мог полететь и в него...

Вожак поднял морду и – завыл.

Густой, тоскливо-напевный, в точно определенных



тактах переплетенный низким хрипом и клокотанием горла темно-зеленый вой поплыл над такими же темно-зелеными волнами старых елей, над медленно осыпающимися красными стенами щелей, над плавающими в серебряном утреннем тумане бесконечными грядами горных голов, скругленных самим Временем, поплыл над склонами и срезами малых вершин, подобных тому Маральему утесу, на котором сидит сейчас Серый Вожак.

Далеко-далеко у подножий каменно-лесных волн эти хриповатые аккорды высекли визг у собак. Прикрикнул на дворняжек человек, вышедший по нужде, но те уже забились под крыльцо и там тихонько постукивали. Рядом с человеком темно застыла остроухая лайка, горло ее напряглось, завибрировало, когда новая волна волчьей волшбы скатилась к ним. «Воет... с-стерва», – пробормотал человек, заходя в дом, потом высунул в незакрытую дверь ружье и разрядил оба ствола в морозный воздух.

До Вожака не дошли ни визг, ни выстрелы.

Он выл, не обращая внимания на удивление стаи, пел, не ощущая ни голода, ни любви. Волк обнажал тяжёлые клокочущие тоны, словно поминая погибшего, на кончине которого оказался случайно. Он чаровал себя самого, вслушиваясь в уплывающие звуки, и словно удивлялся собственному существованию.

Но великан-марал не слышит его. В стылom бархате глаз Благородного оленя нет ни проклятья, ни прощения. В глазах отражаются чуть розовеющие тёмно-графичные контуры его гор в занимающемся новом утре.

II.

... СТАРОЙ маралухе снова повезло. Совсем неслышно, невесомо и осторожно проскользнула она мимо отары в привычную, круто опускающуюся к реке щель. Река бурлила уже недалеко, изредка на перепадах глухо хлопали камни.



Проскользнула маралуха с наветренной стороны, в ноздри били запахи кизячного дыма, влажной собачьей шерсти и конского пота, смешанного с острым человеческим духом. Осторожно пробралась через буреломы, стараясь не задеть сохлых стволов елей, стеснивших ущелье, обходя или переступая обомшелые валуны, нервно дёргая шкурой, когда касалась случайной ветки на пути.

Здесь в девятый раз ждала она появления сына – до этой весны у неё рождались дочери. Красивые и здоровые, уже многие из них и сами стали матерями.

Но теперь маралуха носила сына.

Ей хотелось дождаться его ветвеобразной короны-рогов, хотелось однажды золотым осенним утром увидеть своего сына стоящим вон на том, выплеснутом волнами гор, утёсе, хотелось услышать его трубный, повелительный и зовущий сентябрьский рев...

Она чувствовала, что наконец-то носит сына: он тяжелее давил ее, чаще прежних весен оленухе приходилось отдыхать при осторожном подъеме, труднее перебираться через валежины. А может – просто сказывался собственный возраст и опыт предшествующего вынашивания детёнышей оберегал её на остановках...

Маралуха не опасалась, что её потревожат здесь: верховая тропа проходила в стороне, а чабанские собаки дрожали и поскуливали от одного запаха, шальным ветром донесенного к ним из соседней щели. Она тоже знала, что там, в щели за откосом перевала, под змеями корней павшей ели уже несколько лет выводит своих детей волчья семья. Соседи не покушались на её покой, у них свои заботы. Да и она пока вполне здорова и сильна.

Конечно, было бы спокойней, когда бы рядом дышал ее повелитель, ее бык, ее муж, но олень-самец – величественный, недоступный, оберегающий свою нежную молодую корону от кровососов, – поднялся



сейчас к тем высоким пикам, что снежными боками сверкают на солнце все лето.

Каждому свой удел – это она понимала: он, ее повелитель, был Продолжателем жизни, духом и силой; она – Носительница, молоко и кровь новой жизни, уже вовсе ощутимо пульсирующей у оленухи в животе.

У серых соседей, у волков, оба родителя поднимают маленьких, но это их дело, им данные законы.

Быть может, отчасти ещё и поэтому, от одиночества своего материнства, ждала старая маралуха сына... Чтобы его глазами увидеть тот путь к заснеженным вершинам, которого ей не дано пройти.

Телёнок появился, когда луна уже угасала над ущельем, угасала и блекла под первыми, еще далекими и призрачными бликами утра. И всё же лунный свет успел облить серебром мокрую дрожащую спинку новорожденного, чуть сверкнули голубизной, задрожали растерянные глаза, малахитово заволновались младенческие пятна на хрупком тельце, которое вылизывала счастливо облегченная маралуха.

Но вот и первый солнечный луч сквозь мохнатые лапы елей ворвался в ущелье, путаясь в ветках рябины и стрелах таволожки. Этот лучик сразу вызолотил новоявленного оленьего принца, заиграл рыжиной боков, заставил пуститься пятнышки на спине восторженным хороводом. В бликах солнечных зайчиков матово лиловели влажные глаза оленихи, она заново переживала полузабытую сладость опустошения вымени, в которое неровно толкались губы сына, захлебывающиеся собственной торопливостью. Сына...

Здесь она чувствует другие – уверенные и сильные – губы. Лишь сейчас вспоминает маралуха о своей прошлогодней дочери, все еще росшей при ней, спустившейся следом и в эту ночь. Мать осторожно лягает лакомку, укоризненно мыкает на глупое младенчество телки, пробудившееся так не ко времени. Сестрёнка явленного только что малыша неохотно отходит в кус-



тарник, под которым рассеянно находит губами траву, медленно жуёт, не отрывая вопросительного взгляда от сосунка на подрагивающих игрушечных ногах.

Спустя несколько дней они втроем выходят из ущелья в ближний лог, по которому перешёптывается трава, стрекодут сверчки и гудят припозднившиеся шмели.

III.

ТОЙ ЖЕ лунной ночью в соседнем отщелке на свет божий явилось сразу пять новых жизней.

Пять щенков слепо шевелились под брюхом волчицы. Усталая, похудевшая так, что ребра, казалось, грозили прорвать шкуру, волчица-мать вылизывала каждый круглый, мокро-серый попискивающий комочек. Свет луны, холодно пламенеющий у входа, в логово не добирался, но взволнованному отцу – матёрому волку с сединами на скулах угрюмой головы, плотно утверждённой на короткой бычьей шее, – вовсе и не нужен был свет ему, опытному мужу, чтобы разглядеть своё невзрачное, слепое, восхитительно беспомощное потомство.

Восторг заставил забыть привычную сдержанность и толкнул было отца к новоявленным чадам в надежде, что и ему позволят прикоснуться... однако чуть уловимое рокотанье остановило его на пороге и пристыдило. Не время...

Ещё несколько минут посидев у свисающих над входом корней, смущённо улыбаясь и наклоняя тяжёлую голову из стороны в сторону, чтобы распознать новые голоса в логове, отец-матерый беззвучной рысью заторопился вниз, к реке. Пробежав потом ещё километра четыре по течению реки, матерый по знакомой трещине в почти отвесной стене над водопадом поднялся наверх.

Дальше открывалось горное плато, мягкими складками холмов плывущее к новой гряде гор.

И тут, в безопасном далеке от затаенного логова даёт отец-матерый выход своему восторгу Продол-



жателя: песня давно клокотала в его горле, и теперь вот – навстречу нарождающейся заре – освобождает он звуки, стесненные в груди. Навстречу новому дню посылает он чистые и нежные рулады, неожиданные для лешачьего грубого хмурого обличья. Кажется, даже и водопад подстраивается своим рокотом под эти освобождённые горлом звуки. И воздух, розовея, плывет в такт все выше поднимающейся ноте...

Где-то в отдалении раздались голоса похожие, и в лесную песню вплелась новая волна, не повторяющая, но ширящая мелодию, словно альты подхватили теноровую партию и понесли её ещё выше, выше...

Восторг и жуть охватили плато.

Вот матерый прервал соло, звук сгустился, опадая к земле. Волк прислушался, а по горлу еще катился комок, так и не ставший новой руладой. Альты раздались поближе, тоже примолкли, словно еще готовые продолжить, словно ожидая следующего сигнала. Где-то очень далеко тявкала собака.

Появились два молодых волчонка, уже достаточно взрослых, но не заматеревших. Приблизились, припали к земле передними лапами подле сидящего отца. Словно поздравляя, потерлись лобастыми головами о его бок. Подошёл и третий, постарше. Матёрый проворчал, будто отдал распоряжение, и вот уже все порысели в разные стороны. Теперь каждый из них должен охотиться за двоих, если хочет остаться в угодах логова.

И каждый должен охотиться подальше, чтобы – не дай бог! – не навести за собой преследователей.

... У себя в логове волчица, конечно, не слышала супружеской песни. Она знала осторожность главы семьи, это не первые их совместные дети. Знала об осторожности, потому и не беспокоилась. И всё же, когда у входа появилась её взрослая дочь, не нашедшая себе пары нынешним январем, мать-волчица не отослала ту на охоту.

Пусть будет рядом, так спокойнее.

Слепые комочки копошились у брюха: вот один,



второй... вот уж и четверо приспособились, только последний болтался пищащей головой, тычась в бока и зады других волчат. Мать носом тычет, подталкивает его к свободному соску. Захлебываясь молоком и воздухом, чихая и поскуливая, пятый щенок принялся догонять остальных...

У волчицы бурчало в желудке, ей хотелось пить и бок занемел, но она терпела и старалась не менять положения своего измученного тела: первые струи самые животворные для новорожденных, только молоко по-настоящему согреет их. Лишь дождавшись, пока отвалится последний малыш с раздувшимся полным пузиком, мать позвала старшую дочь. Та, будто занималась этим всю жизнь, легла на место волчицы, угревая сонный клубок щенков, лишь заворочавшихся при такой замене.

А мать-волчица ушла к ручью.

Солнце уже высоко поднялось в голубом далеком небе, когда неслышно возник у логова старший волчонок позапрошлогоднего помёта. Темный ремень горбатился по его спине, а морда волчонка излучала горделивость собственным успехом. И любопытство. В стороне от входа он наскоро отрыгнул несколько кусков мяса и заглянул в пещеру. Заходить внутрь ему было нельзя – он знал это, зато на пороге можно насладиться знакомым теплом родной колыбели. Молодой волк не ревновал к матери эти чуть заметные в сумерке логова бугорки, даже, пожалуй, был благодарен им за возможность снова очутиться у собственного щенячьего места, припомнить и свою такую же толкотню у материнских сосцов. Он лёг, положил голову на лапы, словно прикасаясь носом к незримой стене, отделяющей вход. Тёплые сладкие запахи трепетали в ноздрях, и в этом коротком удовольствии прибылой* зажмурил глаза, наслаждаясь покоем. Он будет кормить их, он станет охранять их, а потом играть с ними и обучать...

* Прошлогодний, годовалый волчонок



Молоденькая волчица деликатно отводит глаза, когда мать торопливо глотает свежие куски.

Здесь подоспел и глава семейства, выложил своё угощение, тихонько буркнул старшему сыну, тут же и отодвинувшемуся от входа, и присел с ним рядом. На лобастой морде расплылось умиление, матёрый ловил каждый шорох сумрачного гнезда своих чад, и ничего больше ему не было нужно... Молодая волчица осторожно исчезла.

Так продолжается три недели.

В соседней щели оленёнок давно надёжно держится на ногах, уже весело носится со старшей сестрёнкой по лугу, уже пробует пощипывать нежную траву и достаточно далеко может бежать, не отставая от матери-маралухи.

Больше всего ему нравится бегать кругами, догоняя ребячливую сестру, скакать по мокрой от росы траве, доходящей ему почти до плеч. А потом, притомившись, ткнуться в тёплое, надёжное, сытое брюхо оленихи, припасть к благодатному вымени.

Да, а здесь три недели прошло, прежде чем волчата решились робко переступить порог пещеры.

Там, снаружи, их ждет отец, губы его растянуты в нежной улыбке, а передние лапы, утратив присущую хозяину важность, суетливо переступают на широких подушечках, сведённых теперь судорогой нетерпения.

Чтобы поощрить детей на первый подвиг, отец-матёрый выложил перед ними равные, словно отвешенные на весах кусочки мяса – ровно пять, каждому по доле. Рядом с супругом поощрительно повизгивает волчица.

Неуверенно, бочком-бочком, цепляясь лапой за лапу, удерживая тяжёлую голову слишком ещё тонкой шей и всей нескладностью своего тельца будто мешая самому себе – самый храбрый щен всё же пробирается к лакомому кусочку, хватает, урчит и



захлебывается... Тут уж и остальные, подстёгнутые плотоядным урчанием, не выдерживают: косясь друг на друга, ослепляясь непривычным светом, расхватывают свои куски, топырчатся шерстью на загривках, торопятся, давятся, глотают.

А здесь ведь – смотри-ка! – веселее, греет солнышко, да и места побольше!

Только что ещё опасливые и неуверенные, настроженные на любую былинку, вот уже все пятеро сосунков остервенело набрасываются... на умиротворенно прилегшего папашу. Иголки их молочных зубок малы, но пронзительно остры, а волчата самозабвенно вонзают их в отцовские губы, вцепляются в хвост, норовят добраться до ушей – будто знают, где уколы ощутимей.

А лобастый папаша лишь сжимается, осторожно крутит башкой, поджимает пальцы и растерянно, а всё же довольно ухмыляется, терпя свои сладостные муки.

Когда же волчатам надоедает это живое и послушное поле сражения, они переключаются на мать, нещадно барахтаются, елозя по её боку, догоняя друг друга, сосунки царапаются, кусаются, пускают по ветерку бурые клочки шерсти. И всё это, как положено – молча.

Отец-матёрый стоит еще немного над всей этой кутермой, вполне удовлетворённый чадами, затем тихо скрывается – пора добывать ужин, теперь он должен быть более плотным.

IV.

... – НУ, ВОТ и добро: плотный завтрак сейчас впрок пойдет. Весь день, небось, задницей хлюпать придётся, – худой высокий человек, одетый в зеленое, подошел к неказистой лошади. Достал из кармана притороченного к седлу вещмешка фляжку.

– Хлебнешь, братишка?

– Немного.



Второй погрузнее, хоть и моложе брата, но уже набирает ненужный жир. Одет так же, как старший, только всё – более поношенное, бывалое: штормовка на толстом свитере, зеленые джинсы из палаточного брезента, кирзовые сапоги, солдатская шляпа-панам. У обоих позади сёдел на лошадях приторочены полшубки, через сёдла вместо одеяла или попоны для мягкости переброшены спальники. В общем, экипировка для гор и удобная, и надежная. Продуманная.

На братьев, если не знать и не очень приглядываться, выискивая фамильные черты, они мало походят даже лицами.

Старший, с костистой, вытянутой физиономией, которую большой нос «картошкой» делал бы простоватой, свойской, если бы не тонкие губы и небольшие, прячущиеся в прищуре бойкие глаза, в их взгляде можно уловить немалый житейский опыт и жёсткость.

У младшего, под стать телу, лицо мясистое, оплывающее, фамильный картофельный нос здесь как нельзя кстати подходит толстым губам, заплывающим глазам, взгляд которых, однако, цепок и нагловат в своей прямолинейности.

– Ты учти, что у меня четыре дня осталось. Отпуска-то. За свой счёт, да и те еле выколотил... «по семейным причинам». А ты говоришь, мол, ещё и летом вырваться, – сказал старший, – на работе – объект разведывать. Ещё и командировочные, – он хохотнул на слове «объект» и повел рукою вокруг себя подчеркнуто-театральным жестом. – Природа!

Младший хмурился каким-то собственным мыслям и молчал.

За плечами у каждого простенькие двустволки шестнадцатого калибра, такие и терять не жалко. У того, что моложе, – здесь ни стесняться, ни опасаться уже некого – из-за голенища торчит «вкладыш»*.

* «Вкладыш» – вставной нарезной, от винтовки или саморасточенный ствол, употребляемый браконьерами.



– Мне тоже – не очень-то удержишься, каждая скотина завистливая норовит ножку подставить. А намекнешь, что в долю возьму, мол, чем деньги в землю зарывать. И хочется и колется, бляха. Чистенькими хочется остаться... Обидно: за экспедицию четыреста шкур спустили гнить, а начальничек трухнул сбить их... делов-то, тьфу! – он сплюнул смачно и зло.

– Не вышло со шкурами?

– Вышло, да мало. Словам красивым все научилась... «пли-рода-а»! И егерь что-то косится, – бормоча, он снял ружьё, переломил его на луке седла, достал и вставил в правый ствол «вкладыш».

Пегая собака, всем, кроме масти, похожая на овчарку, только посуше и полегче на ходу, при этом жёсте хозяина и кляцаньи закрывающихся стволов оживилась, мотнула хвостом и скрылась в перелеске.

– Ты ж с ним в друзьях, говоришь, был, с егерем?

Младший промолчал, доставая сигарету. Сидел на лошади он тяжело, двигался порой так, что мерин под ним покачивался и сбивал ногу. Тогда седок хватался за луку и злобно дергал повод, отчего лошадь еще больше сбивалась на шаг, седок в седле мотался тряпичной куклой и ругался.

– Сколько лет на своей станции, а к лошадям так и не привык? Вроде, каждое лето в экспедиции... не пешком же ты своих чумных сурков отлавливаешь?

– Не привык никак. Тяжеловат слишком... да и боюсь их, признаюсь, лошадей этих. Не люблю. И каждое лето вот так маешься, с мозолями на заднице домой...

– Валентина-то терпит? – хмыкнул старший.

– Куда денется, лето без мужика. Наскучается, поди! Зато и худею за сезон. И в карман потом не стыдно залезть.

– Да-а, жирку бы посбавить не мешало, зимняя водка не в прок тебе.

– А без неё – что зимой в конторе нашей... чум-



ные противочумники. И егерь ещё не пьет, зануда. Ха!.. зайцев, говорит, не стреляй.

– Ты его о маралах не спрашивал?

– Наводить, что ли? И так, говорю, косится, оби- рючел здесь, ничего ему не надо... Да я и без него по прошлому сезону тропы знаю. Отары еще не пришли сюда, пантач не должен высоко подняться.

– Одного-то не больно жирно на двоих...

– Найдём и двух. Должны быть. Пальма, она най- дё-от! Мне Гарик нахваливал её. Лишь бы навела... я сейчас и за двести метров возьму.

– Да-а, вкладыш ты добыл знатный. Давай-ка... здесь ножками пройдем, оно надежней будет...

Тропа круто ныряла вниз и вилась по буроватому склону, истоптанному скотом еще допрежде. Оба охотника спешились, осторожно начали спускаться, ведя лошадей в поводу. Лошади были привыч- ные к таким дорогам и к таким ездокам, этих коняг не однажды отдавали хозяева напрокат за чай или еще какую надобность наезжим промысловикам или рабочим экспедиций. Привычные и равнодушные ко всему, кроме травы и зерна.

На противоположном склоне этого межгорья виднелось и продолжение тропы. Так же отвесно, как спускалась вниз, тропа там поднималась и те- рялась за хребтом в елях. Собака, темпераментный выродок лайки, очень довольная волей, сновала от лошадей в лес, пропадала, снова молча появлялась – чтобы только убедиться, в каком направлении едут всадники, и вновь исчезала в подлеске и ёлках.

– Встретиться здесь никто не может? – старший все время оглядывался по сторонам, он и вообще был подвижной мешковатого брата своего.

А тот шёл угрюмо, сбычившись, не глядя по сто- ронам, однако, кажется, примечая всё, и шёл – не- ожидаемо по своей комплекции легко. Братья оба были неплохими ходоками, им пешком явно было привычнее и надежнее, нежели верхами.



– Никого не должно в это время. Разве что такие же... «изыскатели», вроде нас, ха, – хмыкнул, довольный собой. – А на таких у меня чистые акты всегда при себе!

– А егерь?

– Не собирался. Да и что у него – вертолетами их, слава аллаху, не снабжают, такая ж лошадь... А гор у одного под дозором – эвон сколько... их здесь и пятеро затеряются, в год не сыщешь.

Между тем пошли более короткие, более крутые щели, тропа вовсе сузилась, и промышленники теперь ехали друг за дружкой. А собака всё большие окружя обегала, все ширила круги, в центре которых оставались седоки. «Ищи, Пальма, ищи, взять его...» – поощрял грузный всадник собаку, когда она приближалась. Впрочем, было видно, что подогреть её и ни к чему: сама возбуждена запахами.

– Мне всё кажется, – пробормотал старший, вставая на стремянах и озираясь, – кажется всё, что следит кто-то... вот не вижу, не слышу, а чувство какое-то дурацкое есть. Вдруг волк подстерегает?..

– Кого там подстерегает. А хорошо сделал бы, если б шел по следу. Глядишь, поживится. Ты не бери в голову – мы здесь самые страшные звери! Нет дураков на нас нападать. Волки да могильники нам друзья сейчас: в ночь и следа нашего не оставят, если повезет, конечно... тьфу-тьфу – не к тому будь сказано, – младший улыбается своим мыслям и стегает зачем-то лошадь.

– На волка многое свалить можно, братишка, – чуть погода добавляет он. – Вот, коли время останется, мы еще одно местечко проверим: может, логово то и жилым окажется. Стоп!.. – он натянул поводья и поднял руку. – Сейчас тихо! Ти..

Снизу донесся приглушенный лай. Сперва раздельный, словно бы и неуверенный. Затем – все дробнее, вот уже почти с переходом на визг.

«Быстрее», – сразу перешёл на шёпот младший,



мешковато спешиваясь. И на земле становится подвижнее спутника.

Наскоро и точно вяжет поводья обеих лошадей. Вставляет патроны и щелкает замками курков. «Картечью заряди» – «Да знаю!» – «К тому разрезу беги, никуда больше не пойдет.» – «Откуда зна...» – «Ш-ш! Я вниз. Жди, пока не позову, да не мажь, если...»

Грузный охотник бежит по отщелку. Шипичка и трава цепляют за ноги. Ноги подвертываются на кочкарнике. Метров сто пятьдесят торопливо, наклоняясь и цепляясь одной рукой за траву, карабкается на взгорок. Так, неслышным зверем на трёх опорах споро поднимается он. Ружьё сжато в цевье левой рукой. Падая, он держит ружьё на весу и вновь, цепляясь и стелясь, поднимается выше. Добирается, наконец, наверх, на взлобок холма – прислушивается, притушая зубами дыхание. Дышится трудно. По лицу и спине льется пот, ему хочется громко и свободно схаркнуть горячий клубок в легких, но промышленник лишь судорожно сглатывает и глубже вдыхает воздух. Даже ладонь с ружьём взмокла, приходится перебросить ружьё в другую руку, наскоро потереть о штанину скользкую ладонь.

Лай – теперь уже вовсе откровенный и призывно-заливистый – подпрыгивает снизу, подстегивает, зовёт.

Охотник почти перескакивает ещё один взгорок. Почти на задку юзит вниз по траве. К редким кустам. Во-от!..

Крупный олень с малоразвитыми еще весенними – в бархате! – рогами стоит над небольшим ручейком.

Молодые рога оленя кажутся хрупкими и невесомыми – так массивна голова его, высока шея с темной гривой, широк круп и мощно тело на высоких ногах. Молодые рога его ржавеют в приглушенном вечернем свете, держит он рога свои бережно, высоко и



недосягаемо для собаки, на которую олень презрительно косит глазом.

Пальма остервенело мечется вокруг, сторожа уход марала, но и оберегаясь, однако, подсакивать близко.

Неподвижность марала полна силы и очень динамична, кажется - он лишь задержался посмотреть и сейчас уйдёт прочь, вместе с ручьём уйдёт, вместе с облаком над ним. Собака уже надоела ему. И он делает спокойный широкий шаг...

«Стой, не уйдешь», - шебуршит мысль в голове за кустом, не может услышать эту шероховатую мысль пантач.

И громом гремит выстрел. Грохот его кажется ещё страшнее и жёстче от неуместности здесь - среди тишины и благолепия, не очень-то и нарушенных лаем.

Грохот выстрела ревет по хребту и бурным скалам старых обвалов, прыгает по валунам убегающей речушки, поднимает в воздух синичку-трясогузку, катится - остывая - от щели к щели, от ёлки к ёлке.

Тихий треск кустов под упавшим на широком спокойном шагу оленем слышит только собака.

Человек подкатывается к маралу, которого ещё бьют судороги, но глаза которого уже подернулись пеплом.

Человек ткнул животное сапогом, деловито вытащил нож, отворил выгнутое горло оленя. И бросается рядом на землю, косясь на толчки крови, увлажняющей траву.

Пальма слизывает струйку крови, вытекшей изпод закусенного языка пантача...

Старший брат вскоре подходит на зов.

- Топорик, конечно, забыл прихватить? Ладно, вырублю ножом, покура пока, - младший глубоко и с наслаждением затягивается дымом.

Начинает смеркаться, тени под деревьями темнеют, становятся лиловыми. На лице у стрелка расплы-



вается ленивое спокойствие, щеки маслянисто круглятся и наплывают на подбородок, глаза прячутся в расслабленных веках. И собака с ним рядом отбрасывается сыто на бок, прикрывает глаза. На рыжеватом круглом брюхе оленя лежит ружье.

Лишь вновь подошедший топчется, явно ощущая себя чужим здесь, тревожно озирается, поднимает лицо к небу.

Там, в небе высоко парит птица.

– Гриф, – поднимает голову и сидящий. – Да не менжуйся ты – никого не будет. Сейчас сам вырублю, с пантами осторожно надо – лекарство ведь...

– Так всё просто: один патрон и ... центнера четыре лежат падлом. А жило же, любило!

– И тыщи полторы лежит – не мясо, а вот эти рожки, – усмехается стрелок. – Искать да лазать за ним трудно, а шлёпнуть – чего проще. На то нам, человекам, и умишко послан. А ты говоришь – волк! Да-а... что ж – егерь, он здесь один... а нарываться на него не резон. Из принципа, гад, прижмет, и прав будет. Один он здесь, понимаешь, Генка... штрафом ведь за рогача не отделаешься...

– Ты многому по лесам-горам научился, братишка, но именами-то не больно разбрасывайся, – старший вновь озирается в темнеющий на глазах лес. – Не в такси на концерт едем, мне репутация дороже твоих рожек досталась... Иванов да Сидоров – все званья наши...

– А-а... репутация, были б тугрики. Не менжуйся! Все на этом свете у человекав покупается. Да и потом, думаю, тоже! Да-а, один он здесь... не попадаться бы ему, – охотник резко встал, достал нож. Подобрал у ручья круглый голыш. И, опустившись на оба колена, пристроился вырубать бархатистые, в молодой замше, рога. – Ты пока вот окорока отрежь. Пальме на дорогу, да нам подкрепиться. Печень бы неплохо достать, да возиться не хочется, устал. А тебе не в привычку... – он говорит и спо-



ро делает дело свое: череп оленя уже обезображен чернеющей мокрой дырой.

– Не стрелять же нам в него, – бормотнул худой, передёргивая плечами при взгляде на вымазанные руки брата.

– Кто знает... кто узнает... один он здесь. Горы здесь.

– Здесь... здесь тебе видней, ты проводник. Только и риск зряшный ни к чему – у меня дети, не забывай.

– Ладно, для детей и стараемся, – бурчит грузный младший брат, наклоняется к ручью, чтобы обмыть руки. – Здесь уж иди, куда веду. Коль попал. И давай сворачиваться, ещё лошади не ушли бы.

Он выпрямляется, потягивается, обтирает мокрые руки о штаны.

– Эвон волкам стерва сколько, – махнул рукой на тушу. – Порезвятся ночью...

V.

ВОЛК-ОТЕЦ и в самом деле шёл за ними.

Сейчас ему была нужна любая добыча, и матёрый часами кружил лесом, косогорами, пересекал щели, лежал у сурчиных нор. И ничего не попадалось, бывает и так.

На одном из кругов своего поиска волк учуял чужой запах, а позже разглядел с холма и охотников. Находился он с подветренной стороны и достаточно далеко, собака его не чуяла. Ничто ему не угрожало, это зверь знал. Ещё в прошлом году, вот так же услышал невдалеке выстрел, но пропустил спешащего человека, а потом осторожно зашел ему в след и набрел на тёплого еще оленя. Матёрый воспользовался им тогда, взрослого оленя они и стайей-то берут при большой удаче...

На этот раз грифы кружили над тем недалёким местом, откуда до волка донесся выстрел. И он заторопился, потому что грифы, которые служили



ему компасом, ждать не станут. После них и клочка шкуры не останется.

Матёрый пробежал в ту сторону, покружил немного и взобрался на возвышение, ловя носом запахи, которые приносило слабое вечернее дуновение.

Пахло травами, на них уже пала роса. Пахло перемешанными ароматами влажной зелени хвои с нагретой за день хвоей сухой, осыпавшейся. Сухой жар остывающих камней и острота лежалого птичьего помета. Вот терпко ипряно пахнул арчевник. Сладковатый першаший запах крови и пороха.

Но матёрый ждал другого запаха. Он тенью перебежал на новый пригорок. Вот: режущий горло запах дыма смешался с вонью горелого мяса и человеческих испарений. Оттуда же шел дух высыхающей влажной собачьей шерсти, конского пота. Далекототого места, где на верхушках елей раздраженно каркали вороны, волк заметил блики – там был очаг людей.

Теперь он уже спокойно и ровно понесся к месту, где надеялся найти ужин волчатам и их матери, ожидающим его в логове. Было бы неплохо наестся всей семье...

Несколько чёрных птиц с тяжёлыми крылами, волочащимися по земле, светлели головами возле туши марала. Они поочерёдно наклонялись, рвали мясо клювами будто клещами. Здесь же скромно тянулась мордой лисица с разномастными клочковатыми впадыми боками, у неё почти касались земли сосцы. Наверху, ожидая очереди, волновались вороны, нервно потрескивали сороки. Это хорошо: при опасности сороки поднимут такой треск, что мудрено попасться врасплох. При подходе матёрого лиса шмыгнула в кусты, но чувствовалось, что она недалеко и надеется ещё урвать свой кусок. Пусть надеется. У неё сейчас тоже дети.

Грифы грузно отскочили на несколько шагов. Волк принялся за уже раскрытый грифами желудок. Два



могильника подобралась к морде оленя, не обратив внимания на угрожающее бурчание матёрого. Они признавали его права, но не забывали своих. Связываться с птицами волк не стал.

Матёрый выдрал печень, утащил её метров за двадцать под ёлку, закопал в мягкой прошлогодней хвое, для верности задними лапами набросал сверху моха и шишек. Пометил место струей и вернулся, чтобы насытиться самому.

Наглотавшись ещё не остывших кусков мяса, отец-матёрый медленно побежал домой...

Когда он с тремя сыновьями и дочерью вернулся под утро к туше, здесь пировали вороны, другая лиса и два малютки-горностаи, которые так дружно-яростно скалились на лисицу, что она отбежала на другой конец маральных остатков. Довольные волки почти ничего не оставили после себя, лишь вороны да сороки могли чем-нибудь поживиться. Матёрого даже не очень огорчила пропажа зарытой печени, которую по всем признакам растащили всё те же горностаи. Впрочем, какая-то лиса здесь тоже топталась, но в ней больше страха, чем в мелких юрких зубастиках с черно-белыми хвостами.

К логову они подошли, когда солнце уже стояло высоко. Поэтому пришлось несколько раз обежать вокруг, прежде чем нырнуть в родной отщелок. Зато какими радостными щипками головастых детишек вознаграждён был лобастый волк за ночные свои старания!..

Счастье просто улыбалось семье отца-матёрого.

... А в соседней щели счастье было под угрозой.

Ранним-ранним утром, когда дрожащий воздух покалывал дымкой поднимающегося тумана, в котором танцевали зайчики далеких солнечных лучей, мать-олениха наслаждалась беззаботными прыжками своего юнца и медленно пережёвывала влажные от росы стебельки кипрея...



Тоненькие ножки оленёнка уже уверенно пружинили в почти невесомых прикосновениях к земле. Казалось, он – лёгкий, стремительный, соразмерный – летит над орошёнными предутренней дымкой цветами. Все доставляло ему безоглядную радость: лиловый цветок, белая капустаница, низко пролетающий пёстро-серый дрозд, шаловливые тычки сестренки. В его глазах, таких бархатистых и наивных, попеременно отражались все краски этого хрустального утра. Голубые, алые, лиловые, золотые, изумрудные. Отражались, блестели, переливались оттенками... и – тонули в глубине чёрно-фиолетовых глаз, ещё не познавших ни испуга, ни грусти.

Солнце поднимается всё выше, растапливая утреннее марево. И маралуха уводит детей в свое дневное затишье.

... Большая, лохматая, со свалывшейся буро-черной шерстью собака набрела на укрытие маралухи. Собака была бродячая и голодная. Такие изгои очень цепко держатся за жизнь. Опасаясь всего и ничего не боясь, они подстерегут отбившуюся к вечеру овцу, прирежут её, а через час будут вертеться у юрты в ожидании отбросов. Этой собаке не везло несколько дней, а охранять ей было нечего и ждать куска не от кого: её выбросили ещё щенком, но она выжила. Она была голодна, а голод ослепляет и делает бродягу опасным. Голодный волк не решился бы напасть на маралуху с детёнышем, но у пса не было сомнений и опыта поколений волков, песьи предки вырастали рядом с людьми. Перед голодным псом открывалась живая еда, которую нужно было лишь отбить, так принято в своре.

Мать вжала детей в низкие пружинящие лапы ели, отбивая терпеливые атаки пса. Собака была увертлива, а маралухе в щели негде было развернуться и страх не давал ей отойти от оленят.

И неизвестно, чем бы кончились все более остервенелые наскоки, если бы не... испуг сестры, да



еще, наверное, и – судьба, оберегающая будущего Благородного к его последней встрече с Серым Вожакком. Та самая судьба-предназначение, что позже не раз охраняла и Серого Вожака от многих опасностей для последней встречи с тем Проводником, который ещё не однажды пройдет по этим горам в охоте за молодыми рогами-пантами и станет виновником первой встречи оленёнка и волчонка ещё в младенчестве, и другой встречи... Но это всё – позже, хотя младенчество лесных детей уходит быстро.

А пока, что бы там не было – судьба или случай, но рядом с дрожащим материнской тревогой и ничего не понимающим олененком его сестрёнка от ужаса теряет над собой власть. И вырывается из-под оберегающего материнского бока. И несется вверх, напролом через кусты.

И собака понеслась следом, довольно повизгивая. За ней, молоденькой самочкой, обреченной на самостоятельное спасение и самостоятельную отныне жизнь. Закланной, потому что маралуха предпочла маленького. Чем закончилась эта погоня – кто знает, но оленёнок больше никогда не встретился с этой сестрёнкой.

А мать-маралуха уводит сына в противоположную сторону, без тропы и без сознания, одним грохочущим инстинктом – скрыть, уберечь малыша, своего первого сына.

VI

НЕСМОТРЯ на усталость после ночных побегов, отец-волк терпеливо и благодушно сносил озорство своих насытившихся чад.

А они – всем гуртом – напали на беззащитного в своей любви папашу. Эти головастики хватили лобастого волчину за нос и за губы, норовили прокусить подушки лап, которыми прикрывал морду, рвали жесткую шерсть старательно и всерьез. Ничто, казалось, не могло замутить главе семейства радости



общения, счастье, казалось, прочно улыбалось его выводку.

Однако отец-матёрый обманулся в своем счастье.

В этом году ему не пришлось провести волчат по охотничьей тропе. Не пришлось дожидаться новых детей: через полгода, ранней зимой, он упал над только что пойманным зайцем, под близкой вспышкой огня. Лишь одному щенку повезло быть всегда сытым, все свое короткое детство – может быть, именно ему перешла часть отцовской угрюмости, за которой скрывалась заботливая любовь...

Матёрый рано порадовался счастью. Но никому не дано знать тропы, по которой идет он к судьбе. Быть может, матерый чувствовал это и потому отдавался минутам игры с детьми, отдавая им себя на растерзание.

На следующий день, когда никого взрослых, кроме волчицы не было, в отщелок спустились люди, ведя под уздцы упирающихся лошадей. Мать услышала не их: напряженно, с подвываниями, лаяла собака, лай срывался на скулёж, и она жалась к ногам людей.

Волчица успела выхватить из кучи ничего не подзревавших кутят одного. Самого медлительного. Самого слабого и потому чаще других требующего её внимания и помощи у сосцов. Как ни странно, он оказался – на беду её – и самым тяжелым, может быть, – она успела бы унести и ещё одного... И щенку тому предстояло еще долго жить.

– ... Где-то здесь. Ищи, Пальма, взять... ф-фас их!

Тот, что повыше, держал наперевес ружьё, щелкнули взведенные курки. Младший брат обернулся к нему.

– Зря беспокоишься, не будет волк их защищать. И волчица – не будет. Идти за тобой будут, надеяться будут, что выронишь или оставишь... а защищать – не-ет! Волки: у них и законы волчьи...

Она, действительно, не бросилась к своим горячим выкормышам на помощь, хотя вернулась и видела логово сверху. Она видела, как вытаскивали по одному



её детей, как – несмышлениши ведь еще – царапали они, кусали чужие лапы, как беспомощно и молча барахтались в этих лапах. Слышала раздраженные голоса, повторяющие одинаковые трескучие звуки, когда кутята – её дети! – впивались иголками зубов. Видела, как ударяли их крупными головами об один и тот же валун, что издавна порос мхом рядом с корневищем логова.

Она видела и ничем не могла помочь им: инстинкт, новый могучий инстинкт, привитый теми же людьми, повелевал ей поберечь себя во имя более верного, более надёжного сохранения и продолжения их гордого, сильного рода... Она знала, что тот же инстинкт-табу на человека отбросил бы от логова и её друга, их отца, будь он здесь. Жить. Жить во имя того малыша, которого она успела отнести недалеко и которого надо успеть упрятать в новом надёжном месте... Жить во имя тех волчат, которых родит она на следующий год.

Но и уйти волчица не могла, ждала чуда. Жить и ждать. Нет, ждать и – жить!..

– ...Со вторым пантачом не повезло, хоть здесь доброе дело сделать, м-мать твою, – говорил худой, ударяя захлёбывающегося волчонка о камень.

– Слушай, старшой... а-а гадёныш, еще кусается!.. – слушай, я возьму, пожалуй, одного живьём.

– Зачем он тебе – все равно, говорят, не приручишь. Да и овсянку он жрать не будет, ему – кха-ак, вот так-то! – ему мясо подавай. Не зря ж за них премии дают.

– Пусть вырастет, с Пальмой погуляет. Никакой зверь тогда не скроется – ты вперёд смотри, то охота будет!

– Как хочешь, а только зря полсотнями разбираешься.

– Тридцать за щенка... Небось на сурке наверх-таю, и еще пантач не уйдет.

– Не шелуши языком зряшно, – Старший оглянулся, сплюнул, складывая в промокающий на глазах



мешок мёртвых волчат. – Своего бы егеря сюда... Места здесь богатые. И кабан есть?

– Навалом. А мы за лето что-нибудь придумаем, пока здесь с экспедицией. Письмишко там... народ организуем, да шкуру-другую найдем. Придумаем... Одному бы можно лапы переломать да оставить, мамочку с папочкой их дожидаться... Да место бойкое, с нашим грузом палить не резон.

– И времени нет здесь валандаться. Бросай зверёныша в мешок, ничего ему не сделается, злее будет! – а сюда они больше не придут...

Волчица слышит жалобы живого волчонка в мешке за плечами грузного охотника и идет за ними. Идет у них над головами, почти след в след, не думая, что может быть увидена. Впрочем, внутренняя осторожность срабатывала сама: волчица скользит неслышным дневным призраком, сливаясь с кустами, камнем, травой, с собственной тенью. Сосцы её набухают, саднят на такой жаре невысосанными, сердце колотится и щемит. Мать-волчица долго ещё смотрит в ту сторону, куда увезли её детей люди, неловко вскарабкавшиеся на лошадей. Она не забыла про своего оставленного в углублении под кустом любимца, но он сейчас в безопасности. А тех других – остальных, всех! – уносит навсегда человек. Она стоит, худая и понурая, набухшие сосцы висят почти до земли и качаются от неровного дыхания. Потом она поворачивает назад.

Так и волчонок остается у матери один.

VII

... ДА, ЖИЗНЬ бывает жестока: природа частенько проверяет детей своих на прочность и на красоту. Она словно специально подстерегает твои слабости и ставит ловушки, чтобы убедиться в твоём праве на неё и развить желание, и силу – жить дальше... Волчонку, похожему на отца своей лобастостью, ещё предстояло испытание: застарелый капкан у сурчиной норы сомкнёт свои челюсти на передней лапе подростка.



тка-переерка, и ему придется лишиться двух пальцев. Мать поможет ему зализать рану; а этот небольшой порок – словно предупреждение об опасности, ещё неспособное ослабить – сделает походку волка валкой и разовьет мышцы, привьет гордое умение не отставать от соплеменников и осторожность, даст чутьё опасности и чужих запахов. Много уроков примет из беды сильный зверь – если он силен...

А жизнь полна превратностей, совпадений, кажущихся случайностью, но и утрата несет в себе доброту – если открыться её состраданию... Но жизнь и шаловлива, жизнь иронична. И жизнь прекрасна: прежде всего тем, что она – самотечна. Плохое сменяется хорошим, время стирает время, жизнь движется и движет, и приносит то, что она должна принести. Именно тебе. Именно – твое.

А пока мать-волчица подняла единственного теперь детёныша по той знакомой ей трещине в почти отвесной стене над водопадом бурлящей горной речки, к которой припадали оба отщелка и над которой так недавно давал отец-матерый выход своему торжеству, законному своему праву Продолжателя.

И другая мать привела оленёнка по той же, знакомой и ей осыпающейся розово-каменной трещине.

Водопад гудел своими заботами; река хлопала перекатываемыми валунами; всплескивали в реке рыба-форель и рыба-осман, пытаясь взлететь по водопадной струе: солнце светило всем, никого не выделяя и никого не судя...

Они встретились – волчонок и оленёнок.

Однажды, когда волчица ушла с матерым на охоту, лобастый круглый щенок – которому теперь с избытком хватало молока и мяса и который всё ещё поскуливал, вспоминая недавнюю толчею возле материнских сосцов, – этот нескладёныш-щенок вылез из-под-камня-из-темноты-мрака, скуки-одиночества. Он обманул не очень настойчивую бдительность молоденькой тетки, или кем там она волчонку приходится. Обманул и очень осто-



рожно, очень беззаботно пустился за чёрно-рыжей бабочкой, вначале напугавшей его своим полетом.

... Оленёнок исчез из-под бдительного ока маменьки, не видящей никакой опасности на плавном волнистом плоскогорье с высокой, ветром колеблемой травой. Оленёнок тоже заметил большую чёрно-рыжую бабочку, которой как раз и не хватало, чтобы придать смысл прыжкам.

Бабочка была райской. День был райский. Настроение было райское. И хотя оба детёныша уже в полной мере познали испуг, хотя страх тёк в их крови из артерий их многочисленных предков как способ уберечься и сохраниться, – колеблющемуся розовому чуду было дано свершиться. Райская чёрно-рыжая бабочка пролетела между волчонком и оленёнком.

На полном скачке затормозил оленёнок всеми четырьмя копытцами да так и остался стоять, выставив вперед прямые тонкие, стройные ножки, расставив их и склонив вопросительно мордочку с замшевыми настороженными ушами.

На полном бегу прилёг, вжался в землю волчонок, прижимая треугольники ушей к лобастой, всё тело перевешивающей голове, и прикрыл вздёрнутые раскосые глаза.

Они осматривали друг друга: матово-фиолетовые глубокие очи с уже просыпающейся тысячелетней грустной мудростью покоя и коричневые с круглым чёрным зрачком острые глаза, вобравшие в себя весь ужас и всю гордость силы тех же тысячелетий.

Они обнюхивали друг друга: от обоих еще пахло материнским молоком.

Стоял июнь – кто, скажите мне, враждует, кто угрожает и кто пугается в июне, в жаркий багряный трепещущий полдень?..

Осмывлив всю невинность встречи, помчался по кругу оленёнок, приглашая нового приятеля порезвиться.

Принимая всю безопасность и веселье встречи, помчался за оленёнком волчонок.



Они менялись местами, увертывались от шуточных наскоков, гонялись всё за той же или за другой бабочкой, смеялись солнечным искрам, которые прыгали в глаза и своим пёстрым танцем гасили злобу: детёныши были довольны собой и друг другом, разноцветьем приминаемых трав, учащённостью возбужденно-беззаботного дыхания и весёлому потоку крови в горячих телах...

Волчонок ещё почти ничем не напоминал будущего Серого Вожака: лапы были толсты и расхлябаны, и пока подводили хозяина, цеплялись друг за друга и заставляли кувыркаться, а лобастая голова всё время перетягивала и мешала – шейка для неё была слишком слаба, а силёнки в озорном возбуждении убывали слишком быстро. Оленёнок же и тогда был уже законченным, стройно-стремительным, только младенческие пятна на мягкой шкурке, подростковая хрупкость да отсутствие рогов-короны ждало завершения всего, чем можно было позже восхищаться во взрослом марале, в Благородном.

Они встретились. Они были дети. И – играли. Это было неестественно, однако они ещё этого не знали: им было весело, радостно, дружно и счастливо. Так есть сегодня... Так было... ещё сегодня. Что ж, завтра... оно придёт – это завтра. И всё же сегодня этого танца и веселья, и безмятежности никто не перечеркнёт. Конечно, оно придёт со своими заботами – завтра. Но ведь «завтра» – это другое, и мы – уже совсем-вовсе в нём – другие...

И блажен ты, если память о сегодня-«вчера» хоть немного задерживается, да и как памяти не задержаться! Они встретились. Рай, существующий до появления Адама, рай – им разрушенный и нарушаемый – казалось, готов обрести прежние силуэты в детской игре. Обрести в дрожащем розово-голубом мареве июньского горного полдня.

Как совместить: счастье и недоверие, счастье и страх, счастье и угрозу? Какой опыт, какой опыт опы-



тов и обновлённых ошибок самоутверждения помогут избыть недоверие, страх и угрозу?.. Не жизни и смерти, нет: они гармоничны и естественны, как увядание и усталость. А только – счастья, где тот опыт, когда утрачен? Память, память, её хранят даже камни и травы – память, так нужная человеку, чтобы не стать их врагом – вот этих резвящихся детёнышей, того грохочущего водопада, тех медленных облаков, часть которых – он сам...

Несутся безоглядно оленёнок с волчонком за бабочкой. А вот и маралуха учуяла, узнала, увидела их, играющих. Ее опыт, опыт матери и опыт матерей-матерей не допускал подобной игры, не оставлял ничего, кроме страха и ярости за этот страх.

Мать-олениха затоптала бы малыша-волчонка, если бы не появилась встревоженная волчица. Кто знает, быть может, она затоптала бы и волчицу, если бы её сын, её надежда и её страх, не ткнулся в её набухшее вымя.

И кто знает, может быть, мать-волчица, увернувшись, подрезала бы сухожилие оленухе, а потом резала бы оленёнка, если бы её сын – её гордость и её боль – не ткнулся бы беззаботно в ее сосцы...

Стоял июнь – кто, скажите мне, – враждует, кто угрожает, кто пугается в июне, в жаркий, багряный трепещущий полдень, когда истомой течёт белое живое молоко и когда дети приникают к сосцам?!

... Они разошлись – волчонок и оленёнок, никогда больше не повторившие своей игры. Много ещё иных встреч, опасных и радостных, придется им пережить врозь, прежде чем состоится их последняя, так печально непохожая на первую, встреча, на которой заматеревший Серый Вожак поёт свой темно-зелёный вой у неподвижной короны Благородного.

Пришла первая их осень: с туманами и серыми дождями, с пожухлой травой и струящимися сыростью скалами, с градом и неожиданным громом, рыча-



щим в трещинах гор, которые в ответ глухо вздыхают бурными осыпями.

Пришла осень: с тревожащими непонятно-сокровенные, сладкие чувства вздохами и хрипами, с угрожающим, гулким, зовущим криком страстных разъяренных Повелителей, к которым уходила мать-маралуха. Осень: с одиночеством, с грустью и удивлением перед такой полнотой и непознанностью, и таким разнообразием жизни. И перед таким ярким её усыпанием. Медленно опадали последние листья на плечи юному маралу, и только ели всё так же чернеют влажной хвоей...

За осенью – мягкая, пушистая зима, вкрадчивая и опасная своими ловушками, внезапными снегопадами и голодом. Но как раз зимой узнал волчонок силу своих челюстей, и пришлось напрягать волю, чтобы побороть хромоту и не отстать от матери-волчицы, старших братьев, с которыми пришел волчонок в зимнюю стаю. А оленёнку потребовалась вся быстрота его ног, вся унаследованная ловкость и чувство тропы, чтобы избежать тех волчьих челюстей. Но они росли. И каждое преследование делало их сильнее, каждая удача – красивее, каждая обида – горделивее, каждое внимание – осторожнее; а кровь в жилах – несла свою мудрость, и племя диктовало каждому свои законы.

... Бежит, спешит, стремится куда-то разнообразно-многоцветная вода в бурливой горной речке, возле которой родились и выросли волчонок и оленёнок. Возле которой превращались они в волка и марала.

Гудит и ревет Черная речка, унося весною валуны и упавшие стволы. Волнуется и урчит Красная речка летом, смывая принимаемыми в себя ручьями глину с отгорков; мельчая порой, шепчет невнятным прозрачным языком в жаркие дни. Прыгает и захлёбывается Буро-серая речка, испятнанная жёлто-красными листьями, фиолетовыми ягодами, протроченная рыже-зелёными иглами – осенью. Журчит и булька-



ет, и чревоугодит под бело-зелёно-оражево-голубым панцирем льда перекатная Ледяная речка – зимой.

И всегда – всегда-навсегда – поит она всех, наклоняющихся к ней. И всегда – изменялась сама – показывает она, как идёт время: вот наклонился ты утолить жажду и видишь не того головастого разлапистого смеющегося щенка, а широкогрудого, с седоватым воротником, пружинисто-валкого в походке и сурового Первого волка, Серого Вожака; и не того рыже-пятнистого, гололобого, удивлённо-восторженного сосунка, но – стоит на стремительных сухомускулистых ногах серебристо-бурий, с тяжелой короной и тёмной гривой, спокойно-одиноким марал, Благородный олень.

Бежит, торопится куда-то всех принимающая, всех утоляющая, всех примиряющая бурная горная речка.

Туда: в верховья её, в трепетный разряженный воздух, в голые нежные, хрупкие просторы льдистых арчевников и серебряных эдельвейсов, среди которых нарождалась их речка, – туда стал уходить с третьего своего лета Благородный, как только появились у него рога. Там сберегал он молодые кроветворные свои панты от насекомых и других охотников за ними, и спускался вниз лишь к осени, когда нежные побеги на лбу окаменеют и станут короной, и оружием. Туда изредка добирался и Серый Вожак в надежде утолить голод, и ловил иногда рассеянного улара или случайного молоденького тека.

Там – в высоком студеном воздухе – была речка совсем такая, какими они были внизу, в детстве: речка-волчонок, речка-олёненок.

VIII

ОНИ встретились и в тот раз, когда возмужавший волчонок был еще просто Лобаном и впервые попытался найти себе подругу. Это случилось на третью зиму. Он, будущий Серый Вожак, немного позже признан-



ный грозой и мудростью окрестных гор, проиграл первый бой за любовь.

Да, им обоим предстояло ещё пройти и через это: любовь завоевывается трудной и дорогой ценой. Ибо любовь – это Продолжение.. И каждому надо подняться до любви, чтобы никогда не рухнул род его и не закаменел в ненависти.

Это было на третью зиму. Наверное, в этом же году, хотя у него и появилась уже корона, подобная неприятность случилась и с Благородным. Во всяком случае, именно той осенью он стал жить на своём утёсе, когда остальные его сородичи ревели, дрались и гонялись друг за другом ниже, сбивая свои брачные гаремы.

Зато молодой марал не потерял свою растущую силу, да ещё накопил ярости настолько, чтобы пойти на бывшего вожака волчьей стаи, окружившей Благородного. Волк помнит, как, в самый миг прыжка матёрого убийцы, поднялся олень на дыбы, раздражённо закусив язык и упрямо наклонив могучую голову, с хрипом опустил оба передних копыта на сразу треснувший череп старого вожака, опоздавшего в прыжке.

Лобан запомнил тогда растерянность стаи, запомнил совсем невинного, случайно попавшего на пути Благородного, волчонка с разодранной грудью, отброшенного рогом. Запомнил, поднял и принял на уку. Серый Вожак был, пожалуй, благодарен оленю за урок, да погибший старый волчара прежний вожак – не был достаточно умен, а глупость и власть делали его тираном стаи; а порой грозили и самому существованию – слишком часто старик решался нарушить табу на близлежащие отары...

Следующей зимой Лобан завоевал право на любовь.

И занял место Первого волка стаи – собрав ошибки собственные и погибшего старика в опыт, стал Вожаком. Его предшественник был силен и несколько



лет вел стаю жестокой дорогой: сытость давалась порой легко, но стая редела от преследования. Старик мало беспокоился, что роду надо жить и завтра... Серый Вожак осторожностью и примером, силой и сбережёнными жизнями своих сородичей научил волков Заботливой Свободе стаи. Успешному для них закону.

Каждый волк – от переярка до матерого – должен осознать и принять: любое его действие, где бы он ни был и в любое время года, что-то несёт и остальным, что-то – утверждающее существование рода или перечёркивающее его.

Ты можешь, разумеется, отбить и зарезать овцу, можешь даже забраться в курятник или овчарню, перерезать всех и нажраться... Но на всю жизнь не нажрешься, у желудка память короткая, и завтра он потребует снова. У тебя пока есть силы, чтобы скрыться от преследования, есть убежище, где спрятаться. Только надолго ли?.. Ненависть порождает ненависть, зло питает зло, цепляются друг за друга и ширят вокруг себя круги вражды, что рано или поздно захлестывают – их породившего. Да, ты сегодня избежал преследования, но вместо тебя под пулю или копыта попал другой: стая стала слабее, ей – и тебе, слышишь! – зимой не удастся взять достаточно добычи, кто-то еще неминуемо погибнет. А летом меньше родится детёнышей в наших логовах, и они вырастут слабее, и страх будет преследовать их с рождения. Ослабнет и исчезнет род твой или выродится в шакалов... Тогда погибнешь и ты.

У тебя нет в природе врагов, есть – противники, соперники, на место которых ты должен уметь себя поставить: уважай их, ведь от их жизни зависит и твоя, и не считай их глупее себя. Ненависть худой помощник (она отрицает иные законы, кроме собственного), – нет ничего противнее природе, противнее естественнее. Есть – необходимость, поэтому будь мудр и добр, даже убивая. Живи законом уважения к правам твоих противников на Продолжение и со-



хранение – и стая будет сильна, и ты – ты! – будешь силен и сыт вместе с ней...

Серый Вожак умел любить.

Он – волк – был однолюб. И та, которую он любил, любовь которой отвоевал он в непростой борьбе, укрепила его любовь к стае, потому что стая продолжала и поддерживала род.

... Молоденькая чепрачная волчица с немного тонковатой, как у лисы, мордашкой сидела у куста барбариса возле пробившейся из-под льда речки. Вздёрнутые уголки глаз и нервные ноздри придавали ей ласковое и хитрое выражение одновременно.

Рядом были трое волков, которых здесь Лобан прежде не видел. Двое из них – матёрые – лежали близко к волчице и пыжили шеи, третий выюном вертелся меж всеми, не решаясь, впрочем, приблизиться к юной самочке.

Лобан подошёл валкой походкой, упругий и приветливый, стараясь не обращать внимания на приподёрнутые в глухом бормотании губы матёрых. Ему достаточно оказалось встретиться взглядом с юной волчицей, чтобы понять – вот оно, предназначение и обречённость! – чтобы вздрогнуть от единственности одного для другого.

Что бы там ни говорили, любовь – это молния, ударившая в дерево, а разве дерево выбирает молнию? Это обречённость и предрешённость. Она может состояться, а может, и нет, и тогда, хоть годами убеждай себя в необходимости, в удобстве, в терпении и привычке, любви не будет. Все остальное потом – уважение, долг, дружба: все меркнет в памяти, не освещённой молнией любви, так устроена природа – это её путь к гармонии, ибо любовь – великое Продолжение...

А Серый Вожак встретился взглядом.

И дальше неважны уже были и ревнивое бормо-



тание, и оскаленные белые клыки под вздёрнутыми в ненависти губами – соперники сразу ощутили их затрепетавшую близость. Для него важен стал этот куст барабариса с черно-лиловыми ягодами, под которыми улыбалась ему нежно-чепрачная волчица; важна была речка у неё за спиной, что бурлила и радовалась свободе, да и солнце, под которым они вырастят волчат.

Если... если он выиграет этот бой. Для них он вовсе не был первым волком, но соперником, и бой предстоял нелёгкий... Он сохранял приветливость и не выказал напряжённости, но был готов ко всему.

Здесь юная волчица, будто предвосхищая поражение его, вскочила и побежала над речкой. Остальным оставалось только следовать за ней. Они побежали: два чужака-матёрых грузно и угрюмо рысили по бокам властительницы – насколько позволяла тропа и, пропустив волчицу на голову вперёд, чуть сзади, след-в-след, валко плыл Серый Вожак, а уже за ним юлил переярок. И было непонятно, зачем он-то здесь, скорее всего, юнец был братом самочки. Лобан был благодарен ей за отсрочку: в беге можно было приглядеться к соперникам. Всей группой, соединённой лишь ревностью и ожиданием, они вынырнули на плато.

Мягкими полуволнами, вспенёнными терпким зелёным арчевником, плато стелилось меж двумя большими ущельями, которые впадали в его речку своими нервными ручьями. На этом плато жило много зайцев, они жили своей жизнью. Но волки смотрели только на подругу-властительницу, не обращая внимания на прыскающих в стороне косых, белые хвосты которых уже мелькали по стенам гребня над плато.

Солнце садилось. И длинные тени бегущих волков, мелькающих зайцев и чуть колеблющего арчевника завораживали ещё одного, неподвижного и собранного в пружину, жителя этих мест.

Громадная рысь, с бело-серебристым телом, по



которому чуть заметно проступали тёмные пятна, длиннее туловом, пожалуй, любого из матёрых. Зверь напрягся, готовясь к прыжку в ближний куст арчи. Рыси бы пропустить не заметивших её волков, и тогда наслаждаться охотой. Но самоуверенная и нетерпеливая кошка боялась упустить добычу: не выдержала и накрыла зайца, заверещавшего на все плато. Визг был хоть и не долгий, но разодрал морозный воздух острым трепетом последнего отчаяния.

Волчица повернула голову.

Нимало не сомневаясь, один из охранителей волчицы помчался к рыси.

Рысь присела: дерева рядом не было, а свежая добыча давала и подстёгивала право на сопротивление.

Остальные волки стояли и смотрели. Они были сыты, или им было не до еды. И это была не стая – случайная группа, каждый в которой шел к одной цели разными путями. Тот чужой волк пошёл противозаконным, путем ненависти, – за рысью оставалось право первого и голодного. И эта слепая ненависть, или острое желание выделиться среди претендентов, подвели чужака.

Самец-рысь подпрыгнул свечкой, пропуская несущегося врага, и выдрал по пути у него с лопатки лоскут шкуры. Когда ослеплённый неудачей и яростью первой боли матёрый развернулся, рысь опрокинулась на спину и приняла волка на все четыре когтистые лапы, каждая из которых почти вдвое была толще волчьих. Волк успел полоснуть её, и бакенбард рыси сразу залился кровью, а вместо глаза осталась до лба развалившаяся борозда. Жуткий вопль кошки раздался над сцеплёнными борцами, такой вопль-визг, что плавно кружившая ворона в панике взмыла и захлопала беспорядочно крыльями, уносясь прочь. А чужак-матёрый отвалился и стал отползать от куцей свирепой кошки, на быстро пятнеющем снегу тянулись его внутренности.

Рысь перевернулась на лапы и, всё так же вопя,



помчалась неровными прыжками к небольшому камню-утесу, возвышавшемуся на плато. Её никто не преследовал...

Но здесь, то ли возбуждённый виденной схваткой и пряными сладковатыми запахами ярости, то ли просто – решив заодно покончить со вторым Соперником, другой чужак бросился на Серого Вожака. И сбил его, не ожидавшего нападения, с ног.

Молоденький волчонок, заскулив, растерянно жался в сторону волчицы.

Волчица не удивилась. И не воспротивилась – здесь её власть кончалась. Она не могла выбирать, не могла вмешиваться: отцом её детей должен стать сильнейший. Она могла лишь про себя желать победы одному из них.

И Серый Вожак всем существом почувствовал – кому, он ощутил эту поддержку. Но сил его соперника это не убавило, и он снова яростно и расчётливо набросился на Лобана, едва чепрачная самочка уселась поодаль. На это раз Вожак встретил удар клыки-в-клыки, так что пошел скрежет...

Шерсть летит клочьями, все истоптано на пяточке их поединка. Хрипение учащает дыхание, а у Волка уже располосована лопатка. Они снова и снова сшибаются клыками, и чужак успевает прихватить, прокусив, его верхнюю губу. Это невыносимо больно, гораздо больнее кровотокащей лопатки, а чужак, не разжимая зубов, водит его по кругу, приближаясь к волчице. У Лобана в глазах навертываются слезы, он кружит и кружит, приволакивая лапы, но подчиняясь чужой воле. Он слабеет, ему кажется, что вернулась хромота от капкана, которую он давно преодолел.

Он замечает вдруг в глазах соперника победные искорки, они ехидны – чужак не торопится к новому маневру, он наслаждается этим унижительным вождением противника по кругу боли. И это унижение острее самой боли...

Серый Вожак напрягается, и изо всей силы дергает



головой, губа его рвется, а враг, не ждавший такого поворота, отлетает в сторону. Не давая тому опомниться, бросается Вожак с силой, которой у него не было до битвы. Он почти подбрасывает противника, снова ловит за лапу, всем телом проворачивает так, что ощущает хруст. Он швыряет и катает чужака, не давая опомниться, но и не торопя развязку.

Вот чужак сумел ещё раз подняться, шатаясь, но вместо того, чтобы броситься вновь, выгибает шею и подставляет яремную жилу.

Переярок снова заскулил. Блеснули глаза волчицы.

Да, он мог бы кончить одним махом клыка. Но ему не нужно было унижение соперника, ни сама жизнь его.

Вожаку нужна была подруга и сознание, что ей нужен – только он. Лобан любил свою чепрачную юную волчицу с почти лисьей мордашкой и нежными глазами. Первый волк привел ее в стаю.

Тех двух, чужих, он тоже привел с собой.

...А у благородного не было стаи.

У марала были свои законы. И главный – одиночество. Даже тогда, когда стоял он на вершине своего Утеса и рядом с ним красовались три молодухи-оленухи, и ждали его внимания и оплодотворения, – даже тогда он оставался один. Осколок луны плыл между рогами, звёзды чуть поблёскивали на темно-голубом небе и в задумчивых фиолетовых глазах оленя.

Он носил тогда свинец в ноге? Скорее всего, нет, иначе рядом с ним не было бы в тот год маралух. Ведь и ему, как счастливому Серому Вожаку, проходящему под Утесом марала, пришлось выдержать свой бой за Любовь и Продолжение, здесь у природы один закон для всех.

О, это была серьезная победа. Всего за год до



этого октября Благородный был второй раз вынужден повернуться к сопернику крупом и – бежать, получив несколько ударов расสวิрипевшего старого марала.

И вот они вновь застыли друг против друга. И Благородный уже знал, что он выиграет этот бой, должен выиграть.

Старый марал тоже знал это, в его взгляде уже не было ни былой усмешки, ни прежней уверенности сильного. Однако он не мог себе позволить просто уйти с утёса.

Три молоденькие оленухи, которых впервые привлек многодневный лающий рёв, смотрели снизу на застывших самцов. Природа – безукоризненный скульптор, и эти мгновения неподвижности живых изваяний наполняли округу таким торжеством ожидания, что даже облако на ровном голубом небе остановилось над заснеженным пиком гор. Чуть в стороне стояла взрослая маралауха.

Глухо ударили рога. Еще удар, еще. И вот уже рога переплелись, каждый мускул шей, высоких ног, спин противников будто отлит из металла в своей давящей напряженной неподвижности. Вот медленно, почти неощутимо шея старого марала начинает клониться в сторону, а напрягшиеся ноги подламываются в коленях... И старый пригибается к земле, вот он уже передними коленями касается травы. Резким, последним усилием он отрывает свои рога и... поворачивается задом, уходя. В страсти победителя нет места жалости и сомнению: Благородный догоняет и успевает несколько раз боднуть этот уходящий зад, а затем победно трубит на всю округу – хотя его отвоёванный гарем совсем рядом...

Конечно, Благородному нет нужды учиться добру и справедливости, конечно, он сам – будто их воплощение, но его любовь – холодновата... Он не знает своих детей. Да, у каждого свои законы, лишь бы они сообразовывались с общими и несли потомству путь к гармонии уже в семени своем. А в этом его,



Благородного, не упрекнёшь. Даже то, что рядом с ним три оленухи – необходимость, ведь у них больше врагов, и детям их нужна сила и совершенство Благородного, потому что их роду тоже нужно жить дальше...

Так мог бы думать счастливый Первый волк здешних урочищ, ведя в стаю юную чепрачную волчицу и двух бывших соперников, – так мог бы чувствовать пробуждённой памятью своей удачливый Серый Вожак, проходя после битвы своей под Маральим Утёсом в их предпоследнюю встречу с Благородным. Потому что память – тоже путь к гармонии, и потому что память эту Лобан передаст теперь своим волчатам.

Что ж, они оба честно и мужественно отстаивали своё право Продолжателей.

XI

ПРОШЛО полгода, как Благородный совершил свой последний, неудачный прыжок, и накормил собою стаю, а Серый Вожак Лобан, не сумев сдержать своей грустной памяти, спел прощальную песню над соперником-соседом...

Или над собой, над проклятьем преследования племени своего? Казалось бы нет: сейчас, через полгода, в логове его копошатся семь толстых, головастых, несурзных и милых щенков, у некоторых уже заметен чепрак по спине или тяжелый отцовский лоб над озорными глазками. Что ж, они оба стали Продолжателями и умудренными Вожаками своих родов. Они – и Благородный и Первый волк – следовали своим законам и своему пути в природе. Их дети ходят сейчас по их речке, которая все так же убегает от ледников, вырастая детьми своими – ручьями.

Да, волк видел двух красавцев-оленей, точно копию того, которого уже нет. Наверняка, в этих ущельях ходят и другие дети марала. И у волка снова здесь, на Маральем Утёсе, что оставил Серый Вожак



за собой, появились дети от чепрачной волчицы, уже начинающей сидеть, но сохраняющей всё ту же лукавую нежность в косоразрезанных глазах тонкой, почти лисьей, мордашки...

Весна проходит, прошла почти. Их речка отшумела и бежит теперь монотонно и ровно. И сыновья Благородного, наверняка, ушли выше в горы собирать молодую поросль рогов.

Наверняка, потому что именно туда по верхней тропе проехал на лошади грузный зелёный человек с ружьём, которого Серый Вожак уже видел здесь в прошлом году, а запах которого словно тревожно-знаком Лобану ещё с детства. С тем человеком была странная собака. Волк принял бы её за одного из своей семьи, если бы не постоянно машущий хвост, завернутый неуверенным кольцом.

Но Вожаку особо некогда было раздумывать. Ему надо было кормить детей и подругу. Весной на пути этого человека с ружьём можно найти достаточно свежего мяса, и оно не пахнет опасностью. Это мясо не нужно было человеку, даже сам волк ему сейчас не очень был нужен.

Охотнику в это время нужны сыновья Благородного, даже не сами олени – их молодые, хрупкие, дорогие рога-панты. Память о них и жажда получить была способна повести человека на любое безумие.

Волк осторожно порысил в том направлении. И не сразу заметил ещё одного всадника, направляющегося в ту же сторону по следам, которые этот человек высматривал и узнавал. Заметив его, Лобан стал лишь осторожнее. Хотя второму всаднику – его-то запах волк встречал здесь всюду, это был егерь – казалось, тоже сейчас было явно не до Серого: егерь торопился вослед браконьеру. «Волк дорогу перебежал – к удаче...» – усмехнулся про себя человек и продолжил путь.

Поздневесенние погоды в горах обманчивы. Вот только что ещё светило солнце, было жарко и сухо,



потом клубами стал наползать туман. Эти молочные клубы, сперва будто неуверенно, какими-то рывками просачивались через хребет, оседали в щелях и расщелинах, обволакивали серой сыростью сразу побуревшие ели.

Волк остановился, нюхая потяжелевший воздух; потом пошел, заструился сам своей валкой походкой, подобный туману, в обход предполагаемого им первого всадника. Его мех тяжелеп оседающей моросью. Где-то в отдалении слышалось глухое, словно набухшее уханье странного пса.

... И волк вздрогнул – бухает выстрел.

Внизу, в тумане, что-то копошится, слышится поскуливание, довольное и льстивое... И второй раз вздрагивает невольно Серый Вожак – к этому нельзя привыкнуть: на противоположной от него стороне, выше выстрела и поскуливания, раздаётся человеческий голос. Здесь был бы слышен даже шёпот: щель резонирует любой шорох в сочащемся сыростью воздухе.

– Че-ерканин! Это я – егерь. Узнаёшь? Шёл следом, да не успел! Оставайся возле марала – теперь уж не уйдешь... найду и докажу!..

И третий раз вздрагивает волк – снизу на голос огрызнулся выстрел.

– И-их-хрр... ч-черт... Ничего не поделать – не отступит ведь, – бормочется на противоположном Лобану склоне.

А Первый волк застывает, вмерзает в туман.

И оттуда, со склона, несутся вниз два выстрела – один за другим.

И становится тихим-тихо, слышится, как путается в еловых лапах туман, как на одной ноте визжит собака, да где-то лошадь равнодушно пережёвывает удила.

Он не знает, что им движет, но он решил – Лобан, Серый Вожак. Давя в себе дрожь, вздыбив гриvastый воротник, набычившись и почти не ступая на



подушечки лап, невесомо-серый и туманный спустился он вниз.

Первой заметил он тёмную собаку, прилёгшую на бок, заискивающе и угрожающе ощерившуюся. Потом – глыбу лежащего марала, череп которого расколот, зияет грязная кровоточащая дыра и один мохнатый влажный рог валяется рядом в траве. Это было так неестественно, что Вожак чуть повернул назад. Растекался кислый запах свертывающей крови, пороха и мокрой шерсти.

И навзничь, раскинув руки и отбросив страшное ружьё, лежал толстый человек, с толстым лицом, с толстыми закушенными губами...

Волк вздрагивает теперь машинально, кожей, не пуская в душу страх: теперь прямо над ним опять раздаётся голос. Вздрагивает волк, но всё ещё не уходит, будто примороженный туманом.

– ...Где ты, Черканин? Выйди, только брось ружьё. Не стрельну, хоть ранен... Это уже не баловство! Брось, говорят, и выходи на голос: я у твоей лошади... – Егерь звал напрасно.

Серый Вожак, как замороженный смотрит на врага своего, на убийцу Благородного. Он и сейчас не решается приблизиться к человеку, и запах двуногого, даже сейчас холодит кровь. Они одни. И человек неподвижен. И вдруг – откуда она взялась?! – на лицо человеку садится чёрно-рыжая усталая бабочка и медленно-медленно сводит и распахивает набухшие крылья. Как память...

А туман густеет и засасывает. И пора, надо уходить. Они – Благородный и Серый Вожак – совершили свое Предназначение, их дети ходят по речке. А – дети их детей?.. Вожак так повернулся к собаке-волку, этому человеческому ублюдку, что тот понял. Первый волк этих гор не знал, что это был его племянник, но предательство – есть предательство, даже в волчьем обличье, их семя легло на чужую почву...

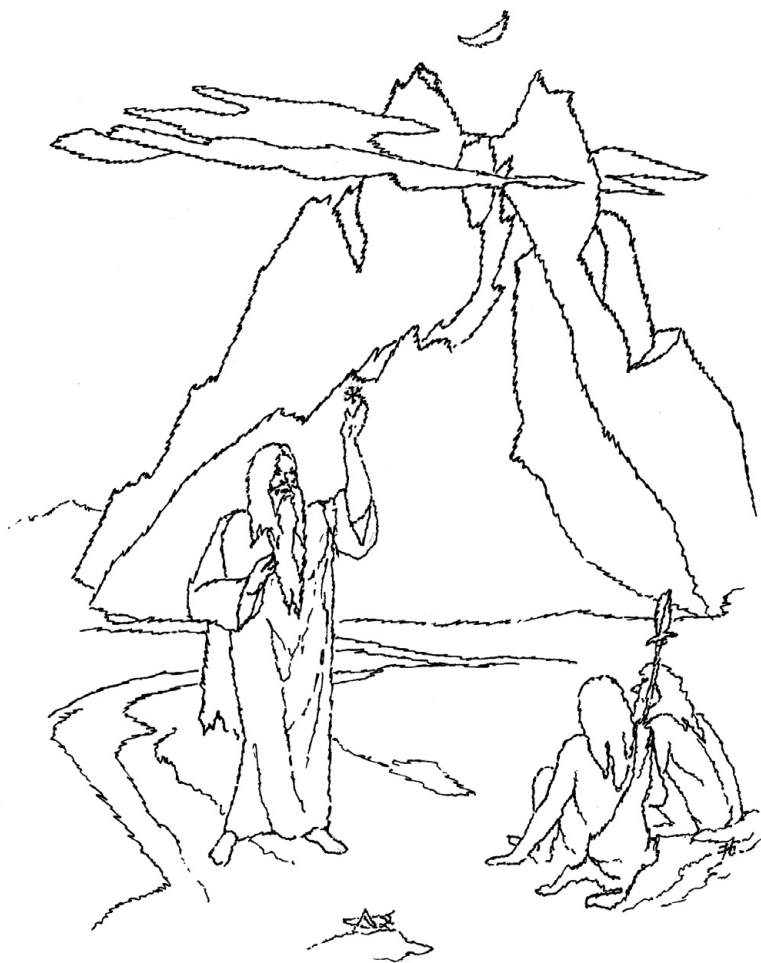


Потом Серый Вожак подошел к человеку совсем близко. Обнюхал его, раздражённо чихнул. И, задрав лапу, поставил свою метку. Этот Адам сам изгонял себя из созданного только себе рая. Вожак знал и другого, их топоры рубят так легко под собой сучья... есть другие. На всех он не мог направить свою метящую струю, волк не был богом. Лобан, как и Благородный, был лишь одним из...

– Черканин... Черканин! А, черт бы тебя... где ты? Выходи...

Серый Вожак, мягко и валко ступая по низкому глухому туману, уходил домой.





ДОРОГИ МЕЧТЫ

У КАЖДОГО СВОЁ МОРЕ...

Была да жила морская свинка. В картонной коробке. Хорошо жила: в углу у неё всегда стояла чашка с чистой водой. И блюдце стояло – с разной вкуснятиной: то кусочек яблока, то морковка, а то и печенье окажется. И дно коробки устелено мягкой ватой. В вату можно и закутаться – это если спать хочется.

Тот ящик был её домом. И было свинке там хорошо.

– Это морская свинка, – сказали однажды.

Так её не впервой называли, ничего особенного. Но здесь...

– Ха-ха! Какая же она – «морская»?! Небось, даже и плавать-то не умеет. Да видела она море хоть разок?...

– Лучше бы имя зверушке придумали... То-олстуха!

Здесь уж вовсе обидно стало морской свинке. Она ведь не знала, что предки её во всех морях и океанах побывали. На кораблях, правда. Моряки увидели когда-то добродушных и безобидных зверьков в Южной Америке и стали брать свинок с собой в плавание. Все веселее, да ещё детям живой подарок привезти можно...

Но наша морская свинка подумала: «В самом деле! «Морская», а моря я не видела... Интересно, какое оно?..»



И надо же, как повезло ей: сел на открытую форточку скворец. Он и раньше к морской свинке заглядывал: в окно его скворешник видно на дереве-клёне. К осени листья на дереве разноцветные становятся: красные, жёлтые, оранжевые. Тогда скворец исчезает. Но сейчас – лето...

– Ты дорогу к морю знаешь? – подняла морская свинка свой чёрненький нос к скворцу.

Тут-то, в этот-то самый момент, и решила она добраться до моря. «А плавать я и по пути научусь!» – решила свинка про себя.

– И даже за море знаю! – подпрыгнул на форточке скворец. И размечтался: – Летишь всё прямо, прямо...

– Я же летать не умею, – напомнила ему морская свинка.

– Да... неудобно жить, – покрутил головой птах. – Как бы тебе объяснить... Да вот, смотри!

Скворец влетел в комнату и сел на большой шар. Красивый – разноцветный шар. Птица засемила на месте жёлтыми лапками по шару, только коготки зацокали:

– Сейчас я тебе на глобусе море покажу!

– Ты хорошо глобусишь, – похвалила свинка скворца. – На этой... штуке и к морю докатиться можно?

– Да нет! Это вся-вся земля такая! Как глобус! Только больше, во сто тысяч раз больше, вот! И все здесь видно: смотри – голубое, это море...

– А-а, – догадалась свинка. – Как много здесь моря! Потому такой шарик «го-лу-бос» и называется?

А сама подумала: «Возьму-ка я этого скворца с собой к морю!»

– Глобус называется. И не поэтому, а потому что... глобус, и всё!

– Не мешай, а смотри, – прищелкнул на неё скворец. – Вот коричневое – это горы. Зелёное – ви-



дишь? – лес. Жёлтое – пустыня. Знаешь, что такое пустыня?

– Не-а... Пустое что-нибудь?

– Глупости, везде кто-нибудь да есть. Живут. Вот нитки голубенькие, а ещё капли – речки с озёрами, вода, в общем... Понимаешь?

Морская свинка понимала главное: путь к морю непростым оказывался. Во-он сколько пройти надо: по горам – по лесам, по рекам и долам, по степям да по пескам... А ещё – по дням да по ночам! И всё одной?

– Знаешь, что я сама себе придумала? – лукаво спросила морская свинка у скворца. – Я тебя, пожалуй, с собой возьму. К морю!

И пустились они в путь!

Но хоть и думала морская свинка, что нелегко будет до моря добраться... Но чтобы так уставать! Так мёрзнуть! Самой о еде думать!.. Коробку ведь с собой не возьмёшь... И блюдечко...

Это улитка может на себе свой домик таскать!

Медленно ползёт улитка, тело у неё мягкое, даже рожки – она ими, как локаторами, всё время опасность улавливает – тоже мягкие. Зато домикраушка всегда с ней – чуть что, улитка вся в нём укроется, не каждому врагу по зубам!

Но пришлось и нашей морской свинке улиток попробовать – голод не тётка.

Всё же добрались они со скворцом до гор: горы у них первыми на пути оказались. Где тропинкой, где обочинкой, а где и просто без дороги. Трудно ходить в горах – камней много, а когда по лесу горному идёшь, то и корни толстые прямо из земли под лапами путаются... И холодно – поневоле улиткиному дому позавидуешь! Одно спасает: когда вовсе ночью стыло, друг-скворушка рядом присядет, крылом прикроет. Худо без него пришлось бы!

Зато интересно всё вокруг! Вот однажды под кустом уснули, а рано-рано утром вдруг разбудило



свинку бормотание: «урл-ур-лю». Солнце ещё только чуть розовым небо покрасило, а рядом это «урл-урлю-лю». Морской свинке даже показалось вначале, что дома она – так голуби в городе иногда у неё на подоконнике ворковали. Но это были не голуби, потому что вслед за этим негромким бор-мотаньем вдруг раздалось «чуф-фы». И в ответ, будто кто угрожает кому, – новое «чуф-ф-фы»!

Выглянула свинка из-под своего куста. Оказалось, что куст её как раз на краю лесной поляны. А на поляне той две птицы больших – морская свинка и не знала, что такие бывают.

– Тетерев! – шепнул ей на ухо скворец. – Смотри-и...

Крупные чёрные птицы – явные петухи: надували шею друг перед другом, веером разворачивали лирообразные хвосты, под которыми посверкивал белый подбой. Чернь на голове отливала зеленью, ещё больше подчеркнутой красными бровями. Косачи явно собирались выяснять свои отношения и ничего вокруг не замечали, кроме противника. То перебегая, то приседая и вытягивая шеи так, что головы почти сближались,

И вдруг... Казалось, что вот сейчас бойцы столкнутся в схватке... Но в азарте драчуны придвинулись к самому краю поляны, а именно этого ждала ещё одна зрительница: от толстого сука корявой сосны отделилась тень и накрыла одного из забияк, только что угрожающе чуфыкнувшему своему сопернику. Второй тетерев шумно, точно взорвалась ракета, взмыл в воздух.

У морской свинки всё внутри похолодело – это была настоящая опасность. Видно, рысь ждала здесь с самой ночи. И охота её оказалась удачной: мягкое рычание заглушило последний крик несчастной птицы, длинные уши с чёрными кисточками настороженно двигались, пёстрые бакенбарды делали морду хищницы благодушной, однако жёлтые глаза, каза-



лось, замораживали всё кругом ужасом убийства.

Закончив своё пиршество, рысь долго ещё выли-
звала свою дымчатую, с крапом по светлому брю-
ху, шубу, а потом неторопливо и неслышно сколь-
знула в заросли можжевельника.

Морская свинка со своим спутником постаралась
побыстрее убраться прямо в противоположную сто-
рону.

Здесь ещё и речка встретилась – ух-х!.. бурлит,
несётся куда-то, холо-одная! Брызги сверкают!

– Как это – куда торопится? – удивился вопросу
свинки скворец. – Тоже к морю бежит. Она в него,
в море, впадает... не скоро, правда...

– А потом – выпадает из моря?

– Оттуда уж ни за что не выпадет. Растворится!
– ответил бывалый скворец. – Вот по речке пока и
пойдем. Только перебраться надо бы на другой бе-
рег.

Где по камушку, где и просто по воде пришлось
– помог морской свинке через речку скворушка пе-
реправиться. Трудно без крыльев!

Но она упорная оказалась, хоть вовсе не приспо-
соблена путешествовать. Толстенькая, и лапки ма-
ленькие, нежные. С коготками разве что, да что в
них толку здесь... Хотя вот корешок вкусный выко-
пать вполне может. И плавать, оказывается, умеет.
Нет, назад поворачивать и не думает, хоть страшно
вокруг.

Только на другой берег ступила – «Ой-о!» – писк-
нула: глаза-бусинки восторгом-испугом зажглись.

Чуть ниже на речке водопад грохочет. Не так, что-
бы большой, но всё же – пыль над ним на солнце водя-
ная клубится-переливается. И в этой жемчужной пыли
вдруг рыбье серебристое тело взлетело вверх из воды.
Да не по течению, а – против потока, снизу вверх чуть
не на метр – рыба летит. Даже зависла, кажется, в
воздухе, морская свинка даже тёмные пятнышки на се-
ребристой чешуе разглядеть успела. И жабры, и плав-



ники разглядела, а морда хищная – зубы мелькнули, или показалось? Пролетела и снова ушла в воду – теперь уже выше водопада.

– Форель! – объяснил скворец. – Но ты тоже хорошо плаваешь. А она только в такой воде и живёт: холодной, чистой...

Но дальше, дальше надо бы быстрее, а как – когда лес совсем густой пошёл, морская свинка и вовсе потерялась в нём. Маленькая! А деревья, ох, огромные! Елки густые, лапы до самой земли. А под ними – темно-о. Но зато и тепло, никакой ливень не страшен.

Здесь и белку встретили. На рябине сидела, ягоды уже краснеть начали, красивыми гроздьями сквозь ажурные листья висят. А ягоды горькие – свинка попробовала, ей скворец сбросил веточку.

Белка весёлая попалась. Чем-то и на неё, морскую свинку, похожа. Только рыжая, а хвост длинный и серый. Ушки с кисточками остренькие. Да прыгает так легко: во-от-ля!

Научиться бы самой так!..

Скворец кого-то себе на ужин ловить улетел. И дорогу глядеть.

– Ты далеко ли? – спросила белка с деревянного сучка.

– К морю идём, – с достоинством ответила свинка. – Знаешь, что такое море?

– Ха! – засмеялась белка. – Мне ли моря не знать. Это когда много-премного грибов. Целое море грибов! Или орехов.

И мечтательно добавила:

– Или вот ягод тоже!..

– Море – это откуда я родом, – сказала свинка. И пояснила. – Оно из воды сделано, голубое потому что. Скворец говорит. А ты грибы какие-то придумываешь. Морская свинка я!

– Сви-инка? Ты? – удивилась почему-то белка. А потом застрекотала-заохотала на весь горный лес: – Ха-ха-ха да хи-хи-хи! Ой, держите меня, а то сва-



люсь – свинка она! Свинка-половинка! Вон недалеко... свинка так свинка ходит... тысяча таких, как ты, в её шкуру влезет! Кабаном зовётся. Пойди-ка, глянь – познакомься с родственничком!..

И ускакала белка, треща и с дерева на дерево прыгая:

– Мо-оре ей подавай! Свинюшка-капелюшка!

«Так я сразу и подумала, что белка глупая. Иначе зачем бы ей такой длинный хвост?» – так решила про себя морская свинка. А когда скворец прилетел, всё же спросила:

– А может, здесь и вправду у меня родственники? Белка сказала...

– Слушай эту трещотку, – буркнул скворец и передразнил белкино стрекотанье. Он ведь по-всякому умел, даже по-человечьи несколько слов знал. – С кабаном тебе ни к чему знакомиться. Страшный, огро-омный, щетина торчит... Может, вы не очень близкие родственники...

– А хоть и дальние, – заупрямилась свинка. – Все равно невежливо. Вдруг этот кабан дорогу ближнюю знает, – это она уже по пути на поляну, куда белка показывала, сказала.

Кабан и в самом деле оказался целой сивой горой! И при этом даже головы не поднял: рыл за чем-то землю под дубом. Рыл-порыл, а после остановился. Хрюкнул задумчиво, пожевал – желуди. Они и рядом на земле лежат – и копать вроде ни к чему...

– О-о! – прошептала морская свинка скворцу. – Какой гордый и буркатый! Он и вправду тоже... свинка?

– А какой это – «буркатый»? – справился удивлённый скворец.

Оказывается, и он не все слова знал! Свинка гордо посмотрела – ага!..

– Буркатый, и всё! Вот какой, – показала на кабана. – Ух! Здесь к серой горбатой махине высыпала



откуда-то дюжина поросят. Шустрые, визгливые да ещё и полосатые! Но кабан забурчал недовольно, а на белом клыке, что даже губу приподнял, какой-то корень повис. Страшно. Даже поросята сразу исчезли.

– Здравствуйте! – все же пискнула свинка чудически, собравшись с духом.

Кабан не сразу и понял – кто это там. Чтобы увидеть, пришлось ему своим серо-чёрным горбатым туловищем поворачиваться, шея-то у кабана непоротная!

«Почти как у меня, – подметила морская свинка. – И вправду, родичи мы! Вот только вместо коготков что-то...» Она ведь в городе жила и копыт раньше ни у кого не видела.

– Добрый вечер! – как можно громче повторила свинка. Она уже вскарабкалась на обомшелый валун. – Я – морская свинка!

– Кабан я, – буркнул этот зверь недовольно, разглядев наконец путешественницу. – Какая такая ты «свинка»? И на подсвинка не потянешь!

Здесь эта буркательная громадина с маленькими глазками и страшными трехгранными клыками на длинном рыле сразу и забыла о маленькой гостье. Упёрся носом в землю. Да как пошёл вперёд – только комья от борозды отваливаются. Он, оказывается, червей выкапывал – лакомство!

На его пути задрожал куст и склонился к земле. Обидно стало морской свинке.

– А ты... а ты!.. – как можно громче крикнула она. – А ты про глобус знаешь? И какое море голубое?! У тебя... даже блюдечка никогда не было! Вот!

Кабан остановился. Растерянно поднял рыло – задумался. О море он не мечтал – зачем ему? Глобус какой-то... Вот он знает, где люди картошку посадили... туда бы!.. да стреляют ведь... А что в блюдечке ему никто пить не давал, ве-ерно...

– Ты откуда взялась здесь? – спросил.



– Откуда-откуда... из дому пришла, вот! – и добавила уже более милостиво. – Так родственников не встречают. Даже люди мне яблоки с печеньем приносят, а ты!..

– Лю-уди? Тебе? – совсем заужал её кабан. – Занят ведь я. Так, может, мы с тобой родня? Ты куда путь-то держишь?

– Я – к своему морю. От него вся земля на глобусе голубая, вот! Хочешь, я и тебя с собой возьму. Ты хоть плавать умеешь?

У кабана даже голова закружилась: и моря у него не было. Его даже горным не называли или там – лесным... Или хоть бы камышовым, как коты бывают. Тех котов ещё хаусами зовут, хотя они, как и кабаны, в тугаях живут по речкам. Подумаешь – нору барсучью займёт или лисью, да шерстью выстелит, ему уже и имя особое. А они, кабаны, везде живут! И все будто одинаковы: кабан, и вся недолга... Пойти, что ли, с ней?

– Плавать умею... Желуди хоть у твоего моря есть?

– Да там каштанов сколько хочешь! Пробовал? – это уже скворец сказал.

На скворца зверь покосился неодобрительно – несерьёзная птица, всех передразнивает. Даже хрюкать умеет, сам петь не может, так других изображает!

– Кашта-аны... слышал только, откуда пробовать. Мечта-а!

Так они и пошли. Скворец летит – дорогу смотрит и показывает.

Кабан чаще трусцой бежит. Ему любая дорога ни почём – везде проломится! Свинке теперь хорошо, только держись – она на шее секача устроилась, за щетину держится. Кабану что – весу в морской свинке – чуть. Всё бы ничего, да любопытная она очень, будто только на свет родилась! И всех о своём море спрашивает, будто сами дорогу не найдём. Уж и скворец её успокаивал, ан нет...



Даже ночью. Так хорошо луна светит, жёлто-зелёный свет её, правда, тени обманчивые отбрасывает, но зато – иди себе вперёд, не собьёшься. Так нет: «Кто-то там хрюкает! Может, тоже свинка?..» Сама-то даже хрюкать не умеет, пищит!

– Чего останавливаться, – бурчит кабан. – Дикобраз это...

Хоть шкура у кабана крепкая, а всё лучше подальше от этого отшельника. Вон как он иглами загремел своими, они в лунном свете пестрят, длинные! Ну-ка, хвостом по пяточку попадёт да иголок своих навтыкает, их ему не жалко – тыщи! И медведь обходит от греха!.. Говорят, даже метать эти свои колючки умеет!

– Какое такое море? – сердится дикобраз на путешественников. – Бродят здесь. Вот пониже спуститься – там море дынь поспевает. Или еще кукуруза... да человек с собаками сторожит. Идите себе!

И скрылся вмиг с глаз. Оказывается, у дикобраза рядом нора была в корнях старой сосны. Неприветливый зверь, а еще хрюкает!

А утром! Солнце взошло, уже и пить хочется, а вокруг – сушь, холмы без ручейка даже малого! Нашли, правда, лужу – горечь одна, солёной вода оказалась. Как вдруг – «Кря-кир-ря!» Утки. Да какие: золотые! Даже кабан оживился: «Ну, хоть попьём вдоволь. Да и поваляться бы в тине не мешало – день жаркий предстоит!..» Однако скворец их тут же и отрезвил.

– Это же, – говорит, – не те утки – земляные они. Огарь это, а степняки их атайками зовут. Считают, что в них – души предков. Наверное, потому, что атайки в могильниках поселяются. Во-он, видите? А вода далеко отсюда...

Прямо на холме в солнечном свете темнела башенка с округлой крышей. А сам холм густо зарос низкорослым шиповником и травой – никаких следов. Это успокоило кабана: значит, люди здесь давно не были, ни одной тропки не видно.



Утки же кружили совсем низко, виден был бурокоричневый ошейник, бело-зелёно-чёрные пятна на крыльях. Покружив, обе атайки сели невдалеке на гладком, словно утрамбованном, бугре. Подобрал под себя лапки, улеглись рядом, одна другой даже голову с чёрным клювом на золотую спину положила.

Вскоре свинке встретился ещё лучший строитель, чем сурок. Только сначала повстречался на их пути зверь, который, как и сурки, тоже считал, что море – это бескрайние волны травы до самого горизонта. Мельком удалось увидеть свинке сайгака. Хоть казалось, что кабан быстро бежит, но он оказался тихходом по сравнению с этой степной антилопой. Вот только что стояло целое стадо, и лирообразные рога янтарно светились, и нос удивлял своим явным желанием стать хоботом, как у слонёнка в сказке – до встречи с крокодилем. Хобота не получилось, но большой нос даже в беге тянул голову сайгаков к земле. Но скорости, видно, не мешал – в один миг исчезло стадо степных странных антилоп. Даже сайгачата мчались как большие – пулей. Глянь – и только пыль медленно опускается по следу исчезнувших сайгаков, вечных степных кочевников...

Оказалось, сайгаки пили воду из небольшой речушки, неторопливо пробирающейся по холмистому плоскогорью. Решили путешественники идти по этой речке. Кругом, сколько глазу видеть, трава да трава – вправду будто волны серебристые ходят под ветром. Шли-шли, как вдруг кабан насторожил уши и шумно задышал. Да и свинка уловила в сухом воздухе совсем влажную волну. И засуетилась на жёсткой кабаньей холке: «Не море ли там?..»

Она отгадала лишь частично: впереди была вода, даже целое озеро воды, вовсе неожиданное здесь, а вокруг него уже поднимались молодые осинки и берёзки. Как попали сюда бобры? Откуда добрались к невеликой речке, почти ручью? Потому что это именно бобры построили на речке запруды и прегра-



дили её усыхающий усталый бег. Вода накапливалась у запруды и разливалась в котловине у подножия холмов. Так и получилось здесь настоящее озеро!

Хлоп! – громкое эхо, ровно выстрел, полетело над водой к холмам. И снова – хлоп! Морская свинка разглядела круглую голову с поразительными резцами поверх губ – это бобр плыл к густым зарослям тростника. Он и хлопнул широким, будто лопата, хвостом. Вот это уж настоящие строители: посреди озера поднимался купол домика, а на нём баловались два бобрёнка, стараясь спихнуть друг друга в воду.

– Море? – небрежно отвлёкся бобр, вперевалку выходя из воды и вставая на задние лапы и свой мощный хвост. Он похрустел белым корешком тростника. – Много ты хочешь... Вот поработай и хоть маленький прудик построй. Тогда мы с тобой и поговорим!

И хлопнул хвостом по воде – нырнул. Только круги по воде!

Много можно чудесного увидеть в путешествии к морю!

Но самой яркой, пожалуй, оказалась встреча на другом озере, уже настоящем. Хотя это озеро тоже разлилось по степи. И так широко, что конца-края не видно. Да и добраться до него оказалось непросто: без кабана свинка ни за что не прошла бы. Но потом оказалось, что и кабану до озера не добраться: надо было пройти по бело-розовой корке, покрывающей болото. А вокруг над затянутым соляной коркой болотом, где под ногами чавкает ил, колыхается расплывшееся солнцем марево.

И вдруг – как во сне! – в этом мареве проплыли в воздухе чудесные птицы. Длинные красные ноги и такая же длинная шея с небольшой головой и тяжелым клювом вытянулись в голубовато-красном воздухе. Бело-розовые перья птицы вспыхивают в солнечном сиянии, а яркие красные и черные пятна машущих



крыльев кажутся вспышками самого солнца. Вот одна птица спустилась невдалеке, спокойно оглядела прищельцев, опустила клюв в полынью среди ила, процеживая воду через свой замечательный клюв. Потом ей пришлось разбежаться, чтобы снова подняться в воздух. Вновь пожаром вспыхнуло на солнце её ожерелье.

– Это фламинго – птичий верблюд! – засмеялся скворец.

Морская свинка вовсе и не знала, кто такой – верблюд. Но пришло время увидеть ей и настоящего верблюда. Ш-шу-у-ух!– пробирались они с кабаном по камышам, только шелест позади оставался. И речку ещё одну переплыли.

Ш-шу-у-ух! – становилось всё жарче, а под копытами кабана начал шептать песок. Становилось днём так жарко, что и выносливому кабану тяжело. Жарко, горло сохнет!

Вот здесь-то и встретили настоящего верблюда. Два горба у него, и вправду – чем-то на него фламинго похож! Только гоняет верблюд во рту жвачку – настоящую колючку жуёт. С такой и кабану не справиться, хоть и голоден сильно.

Взгляд верблюда где-то за песчаными волнами теется. Скворец ему на горб сел, так верблюд даже глазом не моргнул.

– Попить бы, – прохрипел кабан. – И зачем меняю к тому морю...

– Вот вам море, – качнул верблюд изогнутой шеей, и свинке показалось, что взлетит сейчас этот нелепый громадный зверь над песками. А тот на них так и не смотрит – всё вдаль...

– Море ведь голубое, – сипло сказала свинка. Она тоже пить захотела смертельно. – Это когда много много воды...

– Да? – верблюд даже глаза прикрыл от возмущения, – Вода только в колодцах бывает. И много её быть не может! А море – жёлтое! Сами видите



– море песка. Ещё немного... там колодец... напьётесь. Ишь ты! Много-много! Её вытоптать надо, водичку-то...

– Здесь не живут, – кабан расстроился, так в жару ему плохо.

– Как не живут?– обиделся верблюд. – А вот он что? Он здесь, наверное, миллион лет живёт! Он не страшный. Он страшно древний!

Это что ж за чудовище смотрело на них? Свинке даже вмиг холодно стало от пристального немигающего взгляда. Даже скворец, кажется, съёжился. Из-под бархана на них и впрямь глядело чудовище – варан. Язык его опасно вылетал изо рта и вновь прятался за страшными зубами. И для свинки, будь она не на горбе кабана, встреча с этой громадной ящерицей могла бы оказаться ужасной... Она каждым волоском почувствовала это.

А верблюд и вовсе отвернулся. Видно, неинтересны они ему стали. Опять взгляд его куда-то за барханы уплыл, потерялся. Что он там высматривал? В желтизне той жгучей?

– Мираж! – пискнул скворец.

По небу... текла река. Точно, как летели ещё недавно над соляным болотом розовые фламинго. Кабан даже несколько шагов сделал – вот туда бы: к реке в небе, к садам на её берегу!.. Неужели так всем – одинаково кажется?!

– Идите! И не останавливайтесь! – предостерег верблюд.

Колодец им и в самом деле скоро попался. Напились, кабан ещё долго на разрытом песке лежал – влажно, вода снизу песок питала. Он бы дальше и не пошёл, да какая в этом верблюжьем море жизнь?!

– Почём вы знаете, какое море настоящее? – ворчал кабан в дороге. – У верблюда – своё жёлтое море... чуть кровь не закипела! Белке вон хорошо, когда море ягод с грибами... это бы и мне сейчас не помешало! Сурку вон всё море подавай, волку, не-



бось, тоже своё снится... Может, кому море снега нравится?

Пока ворчал-бурчал, всё шли. И дошли ведь наконец.

– Вот – море! – подлетел однажды к своим спутникам скворец.

– Где, где? – заволновалась морская свинка.

Нос её учуял какой-то удивительный дух, ушки шум различили: «У-ух... ах-х... Ш-шу-ух!..»

– Так это же небо там?

Кабан молчал – притомился. Просто пошёл вперёд. И уже совсем близко подбегала к ним волна. Подбегала – и откатывалась, шепча: «Ух-с... сшта... у-у... шта-ли-и?» – Устали, спрашивает? Ещё бы! – кабан принялся пить растёкшуюся у самых его копыт воду. Но тут же и заверещал:

– И это – твоё море?!..

Морская свинка испуганно смотрела вперёд: конца этому морю не виделось.

Она тоже глотнула – и будто микстуру выпила. Го-орь-ко!

– И здесь жить нельзя, у твоего-этого!.. – уже бушевал кабан.

– Ну почему же нельзя, – послышалось невдалеке. – Ведь я же живу! И других много живёт в море – не жалуемся!

Недалеко от берега в волнах показалась круглая усатая улыбающаяся мордочка.

– Не знаете? Тюлень я. Каспийский! – чёрные глаза его дружески смотрели на гостей.

«Стоило ли такой путь проделывать?» – думала морская свинка, всё ещё ощущая горечь воды в горле и ещё большую горечь разочарования в сердце. Затосковала она перед таким огромным водоёмом, которому конца-края нет.

Стоило ли, в самом деле... каждый пусть сам рассудит.

– А всё равно красиво... – грустно сказала всем



на берегу морская свинка. Да, грустно. Потому что ей захотелось домой. В свою коробку, выстланную ватой. К своему блюдечку, в которое наливают свежую воду или кладут яблоко. И вода в питьевой ванночке никакая не солёная, а кабан этот никакой ей не брат!

«Как же мне назад добраться?» – думала морская свинка, стоя на берегу моря. – Наверное, я и вправду не морская».

Впрочем, это уже другая история.

Один скворец пел радостную песню: ему совсем немного осталось до тёплых краев, где можно перезимовать. Наверное у него было тоже своё море.



СКАЗКА СВЕРЧКА

Из серии «Скрипы за печкой»

- На далеком-дальнем юге, -	Тех краев иль стран,
Начал так Сверчок легенду, -	как хочешь
Там, где солнце в пепелище	Назови ту часть планеты,
Всё живое обращало,	Где начало брало племя,
Островами древ могучих	О котором мой рассказ.
Там земля за жизнь	Та приметя –
цеплялась.	помнить просто:
А в тени их крон	Пик горы,
сплетенных	ушедшей к солнцу
Прятались от солнца люди.	Так высоко, что не видно
Так давно всё это было,	В свете солнечном вершины
Что забытое – забыто...	- Чоки-чок, чоки-чок –
Острова зверей скрывали:	Вот о чем поёт Сверчок:
Злых, и сильных,	Утром солнце рано встанет,
и свирепых.	Ночь под солнышком
И еще одна приметя	растает...

И никто никогда не взбирался на вершину той горы.

Говорили, что находились смельчаки, которые хотели подняться, но не пускали их сами люди племени: сколько они себя помнили, – никто не смел и подумать о вершине горы, у подножия которой жило племя.

Но вот однажды плохой год выдался, тяжкий год: гибли лучшие охотники, потому что появились в лесах новые страшные хищники, а люди еще не умели с ними бороться. Всё меньше становилось охотников – всё больше слабело племя: жизнь полностью зави-



села от удачной охоты. Голод сделал людей бессильными перед болезнями. Племена грозила гибель.

На совете, где собрались старейшины и все оставшиеся сильные мужчины, чтобы решить, как же быть дальше, – на этом совете встали трое юношей. И сказал один из них за всех:

– Мы поднимемся на эту гору! Ведь она такая высокая, что там, наверное, можно найти что-то, что спасет нас...

Старейшины с ужасом посмотрели на вершину горы, которая терялась в облаках: оттуда всегда приходила лишь гибель, оттуда гремел гром и неслись молнии, оттуда срывались камни и сметали на своем пути даже могучие леса... С ужасом посмотрели старейшины на гору, но промолчали: гибло племя, и неоткуда было ждать спасения, а люди хватались за любую надежду и не простили бы старейшинам нерешительности. И трое юношей ушли на ту гору, провожаемые молчанием своего племени, ушли за лучшей долей для всех...

- А если не вернутся, спрашиваешь ты? Что же, узнавать новое всегда трудно. Они понимали это – трое юношей. Но ведь не могли же они оставаться спокойными, видя, как гибнет их племя. И каждый из них старался подняться как можно выше.

Проходит год, другой, третий, больше-меньше – кто знает. Только однажды спустился с горы усталый воин. Одежда его в лохмотьях, ноги избиты дальней дорогой, а лицо иссушено ветром. Узнали в нём люди одного из юношей, спросили: «Что же принес ты нам?» Раскрыл воин ладонь – в ней были невиданные прежде зёрна. Взрыхлил он землю, разбросал по ней зёрна. Совсем мало времени прошло, появились всходы и дали много такого же зерна: им можно было утолить голод даже без охоты, восстановить силы – без риска. Вскоре люди научились делать из зерна муку и печь хлеб... И могли теперь не бояться неудач в охоте.

Прошёл еще год, три года и еще два... Сколько же это времени пролетело? Племя стало забывать тех двух юношей, что не вернулись с горы.



Только через шесть лет после возвращения первого к ним спустился другой посланец. С трудом узнали его люди племени. А он стоял перед всеми молчаливый, и сильный, и твердый, как камень, который принес с собой. Он отвык говорить — так долго был совсем один и так долго молчал, что ему пришлось вспоминать слова заново, чтобы рассказать, как высоко поднялся он на гору, как много увидел там необыкновенного.

— Вот, — сказал он. И протянул тот бурый камень, что принёс с собой.

Камень как камень. «Что же удивительного в нём?» — спросили. А он молча — чтобы делать, говорить ведь обязательно — вылепил диковинную печь, развел жаркий огонь и бросил туда камень. И расплавился тот камень: стал жидким, как вода, стал серым, как вода в пасмурную погоду. Разлил его по приготовленным формам, выкопанным в земле, а когда все остыло, увидели люди чудесное оружие: ножи, топоры, наконечники... И много других нужных вещей научил людей делать возмужавший юноша, вернувшийся с той высокой горы.

Теперь могли люди не бояться диких зверей. И с лесом, который наступал на племя, справляться стало легче, и землю обрабатывать и взрыхлять для зёрен стало много проще.

Прошло совсем много времени. Люди забыли третьего юношу.

Но вот, когда и горы-то совсем не было видно — такой туман окутал её, — пришёл в селение незнакомый человек. Все сразу поняли, что пришёл он издалека и очень устал. Худой он был, этот человек, почерневший от солнца и долгой дороги, а седые волосы, очень длинные белые волосы, были мокрыми от тумана и сами были похожи на туман.

Пусть и белой была его голова, и совсем седой, как туман, длинная борода его, пусть измучен он был так, что казалось — упадёт сейчас прямо на землю, человек тот был... молодым! Такими яркими, живыми, острозглядными были глаза его. Непонятный го-



лубой свет струился из глаз пришельца, такой чистый и непонятный свет, что люди отводили свои глаза.

– Откуда ты? – спросили его.

Молча указал пришелец на гору, от которой ветер отогнал в это время облака. Люди сразу поверили ему – так непривычен и непонятен был взгляд, полный голубого огня.

– Я уходил давно. И был на самой вершине.

– Ты что-то принёс нам оттуда? – спрашивали люди. – Нам с горы принесли очень важное знание: у нас теперь довольно еды и мы сильны! Ты прожил несколько жизней там... далеко. И ничего не принес племени? – все видели, что ничего не было в руках пришельца. И не могли понять – зачем же тогда был он на горе так долго.

– Я был на самой вершине! Разве вам не хочется подняться туда? Там такой голубой свет, так близко звезды...

– Туда невозможно подняться! – обступили его люди.

– Я покажу дорогу, – улыбнулся им пришелец. – Вы уже не помните их – тех, кто принёс вам спокойствие, пищу и силу... И вам страшно подняться туда, на гору, самим. А если рука чья-то опустится раньше, чем передаст свое умение? Я принёс вам то, чего не унесёшь в руках. Я принёс вам мечту...

И пришелец раскрыл ладонь. И все столпились вокруг: ведь даже через столько лет он сумел остаться таким молодым. Но лишь те, что стояли рядом, на одно мгновение успели увидеть крошечную красивую снежинку. Снежинку самой точной формы, снежинку-кристалл. И ничего, кроме неё, не было в ладони.

И людям вокруг стало тревожно от неясного, короткого мерцания снежинки, превратившейся в голубую холодную каплю, от необъяснимого голубого мерцания глаз пришельца, который видел и понимал что-то, им пока непонятное. «Вам, конечно, захочется подняться туда...» – улыбнулся он людям. И – упал.

– Запомни эту сказку, – говорил Ленке Сверчок. – Этот человек узнал счастье неизведанной дороги, по которой ещё захочет пройти каждый.



КОЛЮЧКА

Рассказка

Всяк бугорок спотыклив да важен,
да не всяк – по уму...
(поговорка)

У Глаши не было ни брата, ни сестрички, а время детского садика кончилось. И у неё начиналась новая жизнь.

Зато был у маленькой Глаши большой друг. Дядя Володя, художник.

Вообще-то друзей у неё много, все вокруг, потому что всем она любила помогать.

– Ох, Глашенька, скоро осень, и ты в школу пойдёшь. Кто же мне за хлебом сбегает, – стала даже говорить соседская бабушка Зоя Николавна.

– Ничего, – отвечала девочка. – Мне ещё утром голубей покормить надо, а у кошки Милы скоро котят выведутся. И у Лёшки-терьера лапа больная. Я во вторую смену попрошусь учиться!

Много друзей и забот у Глаши, но самый большой всё же дядя Володя. Потому что он один умел всё-всё рисовать, и к тому же они оба любили зверей и цветы.

У художника в квартире жили: два ежа, старый кот Базиль, который лучше отзывался на имя Васька, лохматый, огромный и добродушный сенбернар Атилла, на нём даже верхом можно было проехаться.



И ещё приставучая сорока Зинка. На окне в круглом аквариуме плавали золотые рыбки и ползали улитки, да и окна почти не было видно – его завивали цветы, которые цвели редко, но поливаться хотели часто. Глашке приходилось об этом напоминать другу.

Подружились они из-за котят, сначала Милиных, а потом и просто чужих.

– Что-то от меня приятели прятаться стали! – смеялся иногда дядя Володя, рассказывая, где поселился очередной их подопечный. Но город большой, а знакомцев у художника много даже и за городом.

И ещё, когда Глаша приходила полить цветы и погладить Атиллу, художник рисовал ей зверей и птиц, и деревья, и стрекоз, и голубое небо, и солнышко на нём или тучи с дождём, а то и туман – это смотря по их настроению. И всё было очень похоже, так что маленькая Глаша могла долго сидеть у его картинок для неё и представлять себя среди зверей, птиц и леса, и тихонько разговаривать с ними, совсем тихонько, чтобы не мешать.

Вот из-за такого рисунка всё и началось.

Вернее, началось всё тогда, когда в соседнем дворе Глашка, догоняя выпавшего из гнезда воробьёныша, наткнулась на колючку. И в одной руке принесла к дяде Володе занозу, а в другой – воробыша.

– Сейчас-сейчас, ты только не плачь, – приговаривал дядя Володя, сразу понимая, что произошло и не сердясь.

– Я и сначала не плакала, это слёзы сами текут, а мама ругаться будет...

– Пойдём, я знаю, где его гнездо, а то вот Базиль уже интересуется! Сейчас покажу, где живёт этот желторотик, а потом мы тебя в момент вылечим и коленки отмоем.

Художник прикрыл полотенцем большую картину, которую он всё рисовал для выставки. «Всё равно не примут... не возьмут», – бормотал он про себя как песенку.



– Почему же не возьмут? Она красивая, – сказала Глаша, она уже видела эту тётю на портрете, и Атилла сидел рядом, положив голову к ней на колени. Голова была тяжёлая, а глаза Атиллы были ещё грустнее, чем обычно.

– Потому что потому... не возьмут и всё. Ты где-нибудь видела красных женщин и голубых собак? Вот и пойдём.

Он залез на дерево, где в дупле, оказывается, пряталось гнездо, а не под крышей, как она думала. Художник даже поднял её к себе, чтобы и девочка посмотрела на всех птенцов. Их найдёныш оказался самым взъерошенным и писклявым. На верхних ветках ругательно верещала воробьишка, но Глашка не удержалась и погладила птенцов. Они открыли клювы, запищали, один даже ущипнул за палец. Видно, им всё равно кто здесь, лишь бы накормил.

Дома дядя Володя вытащил из её ладошки большую занозу пинцетом и смазал руку одеколоном.

– Терпи, – говорил он и дул на ранку, а сорока Зинка суетилась рядом на столе. И сенбернар подошёл лизнуть, ободряя, но начал чихать от одеколону.

– А вот и видела! – сказала, чтобы не показать накачивающихся слёз и успокоить Атиллу.

– Что видела-то, птаха-понимаха?

Она понимала, что ему невесело и теперь не до неё. Художник встал, прогнал с плеча сороку и снял полотенце с картины. «Не примут... не возьмут...»

– Голубого Атиллу видела, – настаивала девочка. – Вечером зимой!

– Может, и видела, глазастая фантазёрка! Иди сюда.

Красная тётя на картине была красивой, но её глаза будто не видели голубого сенбернара, а рука с тонкими пальцами не гладила, а будто хотела оттолкнуть голову с колен. А глаза Атиллы грустно смотрели в красивое лицо.

Вот за эту атиллову грусть тётя Глаше и не нра-



вилась. И хотя девочка ничего не сказала, художник снова закрыл картину.

– То-то и оно! – улыбнулся он почти как Атилла. Не примут голубую собаку, не возьмут – не увидят. И женщина красная... так-то... они лучше знают, как художнику писать. Давай-ка лучше тебе порисуем, школе подарить. Что изобразим?

– Всё равно она красивая, ваша тётя, – успокоила девочка и под села к столу.

Художник уже рисовал речку.

Быструю горную речку, вода в ней бурлила, неслась по камням, а берегов у речки не было: вместо берегов над течением поднимались крутые скалы. И никому здесь не могло быть места, на этом рисунке, возле этой куда-то спешащей реки.

- Не нравится?

- К ней ведь никто подойти не сможет, а если олень пить захочет? – схитрила Глаша.

Дядя Володя засмеялся, взял второй лист, приклеил к уже нарисованному.

- Это мы сейчас поправим. Смотри...

С первого листа на другой упал водопад. Вода закипела под падающим потоком, закружилась в небольшом омутке и затихла на излучине у покатога берега, к которому подходила широкая тропа. Потом речка забурлила себе дальше, там снова поднимались скалы, и течению приходилось перепрыгивать через валуны. Но зато вокруг тропы, что подходила к самой воде, выросли густые кусты, поднялись деревья, и дуб отбросил тень на излучину. И появились звери.

Тропа была широкая, удобная и мирная: маленькое – всего-то с блюдце – озерцо-омуток могло всех напоить и примирить на время жажды.

Вот поднял голову с ветвистыми рогами красавец марал, с губ его ещё стекают чистые струи воды, а затуманенные глаза высматривают кого-то на другом берегу. И рядом с ним, скосив взгляд на роющегося



в песке медвежонка, чуть замутив передними лапами воду, пьёт коричневая, почти чёрная, медведица.

На тропе уже хрюкает горбатый, с поднятой щекиной, с загнутыми на длинном рыле клыками, кабан. А у небольшого куста присел и насторожил уши заяц.

Кукушка кому-то задумчиво отсчитывает годы, сидя на суку старой ольхи. А выше неё из дупла выглядывает хитрая мордочка белки.

И шмель ровно гудит на красном диком пионе, а на шмеля, смешно склонив глазастую голову, удивлённо и заморожено смотрит косулёнок.

- Такая речка подходит?

- Да-да... подходит, здесь хорошо всем, - отвечает Глаша.

И здесь зазвонил телефон. Художник взял трубку и сразу стал серьёзным.

Под его руками ещё лежала разноцветная картина жизни у реки, в пальцах ещё катался коричневая палочка пастели, но было видно, что уже забыл он и про водопой, и про зверей возле него. И про Глашку забыл, которую зачаровала мирная жизнь в картине.

Не к месту зашипала царапина, напомнив про колючку и занозу. И про голубую собаку с красной тётей вспомнила, потому что дядя Володя говорил в трубку, а посматривал на свою завешенную картину и становился всё озабоченнее. Девочка посмотрела на царапину, на след от занозы, ещё совсем горячий, и подумала, что голубой собаке тоже было бы больно, наткнись она на колючку. А красной тёте:

- А я ту колючку всё-таки вырвала! – сообщила она.

- Колючку? Да-да, это хорошо... - рассеяно ответил художник и снова заговорил с телефоном. – Нет, это не вам, отвлекся на секунду: у моей соседки занозу вытаскивали, вот она и вспомнила про колючку. Нет, совсем маленькая соседка, но да – красивая. Вот в первый класс с ней собираемся скоро, - он за-



смеялся чему-то в трубку и стал медленно, не глядя почти, водить по рисунку у реки коричневой пастелью. – Да, конечно, сейчас принесу...

Положил трубку, потёр себе лоб и бросил пастель на речной рисунок.

- Ты побудь-поиграй, птаха-понимаха, всё равно твоя мама ещё на работе. А я скоро вернусь, тогда и чаю попьём, - взял свою большую картину и ушёл.

Глаша ставит картинку на опустевший мольберт. Пришлось встать на цыпочки, но всё же установила: теперь сюда хорошо падал свет, и все звери будто сразу ожили. А вода – тоже будто живая – падала с уступа, ровно рокотала и кружилась в небольшом омутке, и затихала на излучине у покатога берега.

У самой воды, утонув копытами в золотистом песке, высматривал кого-то на другом берегу марал в золотой короне рогов. Всё так же рылся в песке малыш-медвежонок, и косила на него глазом пьющая из речки медведица.

Куковала кому-то кукушка, смеялась в дупле белка, и недовольно о чем-то хрюка на тропе горбатый кабан с пожелтевшими загнутыми бивнями. Поводил ушами заяц под кустом, и гудел на цветке под удивлённым взглядом косулёнка чёрно-жёлто-полосатый шмель.

К солнцу подплывало еле видимое облако, а речка, наполнив прозрачной водой озерцо у водопада, снова торопилась куда-то вниз от этой мирной тропы.

Девочка, зачарованная картиной, поправила один её бок на мольберте. И, опуская руку, вдруг... укололась.

– Непорядок! – раздался скрипучий голос.

Даже Базиль-Васька, дремлющий на диване, поднял голову на этот скрип, а сорока Зинка подпрыгнула на открытой створке форточки и завертела хвостом. Встал с места возле кресла сенбернар Атилла и подошёл к замершей возле картины Глашке.

– Это я, я говорю – не-по-рррядок! – вновь раздражённо проскрипел голос.



И Глаша увидела, как на широкой мирной тропе, что вела к водопою, зашевелила бугристыми ветками-отростками... обыкновенная колючка. Коричневая колючка, в рассеянности посаженная художником на самой середине тропы. Она вроде как шевелила сейчас ветками с острыми шипами и прямо на глазах взрастала, занимая всю тропу. Даже кабан, на что у него толстая шкура, и то удивлённо и тонко взвизгнул, наткнувшись пяточком на колючку. И попятился в испуге.

Перестала куковать кукушка, и заяц задробил лапкой в тревоге, и медвежонок, напуганный, засыпал себе глаза песком, и шмель присел на красном пионе, сразу двумя лапками удивлённо потирая себе затылок.

Озадаченный пёс Атилла тоже сунул носом к картине, но укололся видно и, по-щенячьи визгнув, отошёл на своё место.

– Вот так-то лучше – и лежи, где положено, нечего собакам разгуливать, где не положено, – скрипнула Колючка. – И маленьким девочкам в лесу нечего делать, глазеешь тут. Сиди в кресле и жди, пока я тебе дела не придумаю...

Глашке ничего не оставалось, как подчиниться: что же делать, если даже такой солидный и храбрый пёс спасовал. А Колючка, ощутив свою власть, уже повсюду распоряжается на тропе.

– Ты же недавно пил, толстокожий грязнуля, – говорит она кабану, всё ещё нерешительно стоящему рядом. – Иди, занимайся делами.

– Я не грязнуля, – обижается кабан. – И мне надо войти в воду: там для меня камыш вырос.

– Ничего, вода здесь не для того, чтобы кабаны по ней хлюпали без толку. А тебе незачем зря куковать, лучше б полетела да узнала, как растут твои дети, – упрекает Колючка птицу.

– Они хорошо устроены, у них воспитатели очень заботливы, – оправдывается кукушка.



– Надо бы им подсказать, чтобы поостороже держали птенцов, а то так из кукушат вырастут такие же бездельницы кукушки, – вслух, будто она здесь одна, думает Колючка.

– Но ведь кукушки нужны деревьям, они самых вредных волосатых гусениц поедают, – пробует заступиться Глашка.

– Маленькие не должны возражать взрослым. Старшие всегда лучше знают, кто кому полезнее. Не так они и нужны, эти длиннохвостые, с толку лишь сбивают своим кукованием: я здесь загадала про себя, а она и полпраза не гукнула! Вы все теперь должны почитать и слушать меня, раз я здесь поставлена порядок соблюдать.

– Никто вас для этого не ставил, – пробует возражать девочка. – Пока вас не появилось, было тихо и красиво...

– Это зачем же меня посреди самой тропы посадили, сможешь ответить? Вот и помолчи. Ты, как я вижу, недобрая девчонка, и везде мешаешься – недаром моя сестра сегодня проучила.

От такой несправедливости даже кот зашипел и спрыгнул с дивана, однако подойти близко не решается, только успокаивающе трётся о глашкину ногу: «не расстраивайся, мол...».

Колючка кота даже вниманием не удостоила.

– Так вот, раз меня здесь поставили, значит, я должна за всеми следить. Здесь был полный порядок. А вы меня слушайте, если хотите к воде подойти. Очередь установим, – принимается Колючка всеми распоряжаться и, как сказала, руководить. А что подделаешь – и вправду не пустит. Может, так и в самом деле положено. Здесь, на водопое, звери не привыкли спорить и ссориться.

Один красавец-олень постоял-послушал, да и перешёл на другую сторону реки, благо ноги длинные. «И рук-то нет, не то, что головы, а туда же...» – бормочет на прощанье.

А Колючка уже совсем разошлась: тому царапину, тому занозу, того скрипом голоса доймёт.

– Не убегай, косой, а то больше сюда не по-



падёшь вовсе. Скажи-ка, что умеешь, попоухий?

– Я...? – заяц растерянно оглядывается на всех.

– Н-не знаю... морковку копать.

– Зато я знаю! Ты не посматривай на того рога того, он шибко умный, думает. Так никуда ведь не денется, вернётся. А ты, косой, хочешь к воде подойти – окопай-ка вокруг меня тропу, натоптали, понимаешь, а я сиди теперь в такой жёсткой земле!... Вот так, теперь можешь минут пять у речки побыть, умыться. Да не плещись попусту, знаем вас! – кажется, что после зайкиных усилий Колючка ещё вширь раздалась.

А зайцу уже не хотелось ничего, и он юркает в кусты.

– Тебе тоже дело придумала, – скрипит Колючка кабану. – Нечего на меня пялиться, мимо не пройдёшь. Во-он от того дерева, где кукушка сидела, на меня тень падает. Подкопай-ко с одной стороны у корней, я медведицу заставлю с другой поднажать, – Колючка между делом колет подошедшего близко медвежонка.

Тот верещит и бросается к матери. Но медведица не решается возражать, только прижимает сына к себе, успокаивая.

– Но здесь мой дом! – прячется и вновь выглядывает встревоженная белочка.

– Ничего страшного, только о себе думаешь, а ты не одна здесь. И скорлупу не расшвыривай!

– Но у неё там бельчата маленькие, – напоминает Глаша.

– Новое дупло найдут, вон дрозд к зиме улетает, пустит пока... Моим родственникам тоже солнце нужно, а вы здесь топчетесь!

И Глаша видит, как увядает красный цветок, на котором сидит шмель. Потому что рядом проклюнулась новая колючка. И ещё несколько, пока еще не таких значительных, как первая Колючка, разбегаются по тропе почти до самого песка у воды. Теперь уже и главная Колючка чувствует себя совсем хозяйкой.

– Хватит на сегодня, – скрипит она. – Мне тоже отдыхать нужно. Расходитесь все. И тебе пора до-



мой, девчонка! А ты, медведиха, не будь дурой, отпихни этого кабана с тропы.

Кабан, который уже готов был подрывать дерево белки, послушно поворачивается уходить, медведица высматривает, как бы ей с медвежонком пройти, не задев колючую семейку. А косулёнок жалобно зовёт маму-косулю.

И кто знает, что ещё натворила бы назавтра Колючка у мирного водопоя.

Но здесь радостно пролаял Атилла, трещит, онемевшая было сорока Зинка. Вернулся художник.

– Вытри ноги, когдаходишь в дом! – приказывает ему Колючка.

Художник сначала очень удивился – откуда на картине взялась такая зловредная Колючка? А там, дальше и вокруг неё, ещё новые подрастают... И всё вспомнил: как говорил по телефону, как машинально рисовал на тропе. И всё понял, потому что хорошо знал, как быстро они плодятся.

А на водопое у водопада – он теперь хорошо видит – уже нет спокойствия и гармонии, и красота увядает – всё перекошено оказалось в картине.

– Спасибо за напоминание, – улыбается художник Колючке. И в самом деле – что толку спорить с глупостью и чванством, их надо бы просто не слушать. Да-а, скажут, а если они – на тропе? – Вот только у вас здесь ещё одного животного нехватает...

– Вот видите, – Колючка обводит всех торжествующим взглядом. – Не я ли говорила, что не зря здесь поставлена и расту!

– Не надо больше никого, дядя Володя! – пугается ещё за одну жертву Глаша. – Она же и его...

– А ты ещё мала, повторяю, чтобы нас судить, – перебивает Колючка.

– Знаю, знаю, – улыбается художник. – Наша вина, нам и спасти мир, не то сплошное лакейство разведётся.

Он берёт пастель, о чем-то думает немножко,



прищурился, потом ещё два цвета, вот – коричневый, черный и жёлтый – и рисует... не догадались? – Верблюда. Как и положено: буро-коричнево-жёлтого, правда, с одним горбом – дромедара.

Девочка смотрит на руку художника снизу, а Колючка даже вытянулась вся, чтобы разглядеть. Другие звери тоже незаметно посматривают – тесновато становится у речки.

– Нет-нет, его – убери! – приказывает Колючка.

Верблюд задумчиво смотрит куда-то далеко, может быть он видит свою пустыню, где есть простор и свобода? Кажется, ему никакого интереса нет ни в тропе, на которой он оказался, ни до падающих в омут струй, ни до растерянных зверушек возле колючек, ни до главной Колючки.

– А почему он такой грустный? – спрашивает шёпотом девочка.

– Да он просто голодный.

– Нет... Прочь! Я жаловаться буду...

Верблюд же встряхивает горбом и всё так же задумчиво и неторопливо начал свой обед, или уже ужин, с этой самозванной повелительницы тропы. И остальных её родичей.

– Я думал, она вкуснее – такая-то важная, – бормочет верблюд. – А больше мне здесь и нечего делать, разве что попить на дорогу, – он оборачивается к дяде Володе, в углу рта ещё торчит последний отросток так напугавшей всех Колючки.

– Пожалуй, ты прав, – соглашается художник. – У каждого свой мир, и не будем этому мешать жить. Удачи тебе там и полных колодцев на пути.

Он берёт мягкий ластик и осторожно, чтобы не нарушить восстановленного покоя, стирает дромедара – ведь этому верблюду надо побывать ещё во многих других местах, где вырастают колючки.

– Уже вечер на водопое, – напоминает Глаша своему другу.

– И ты права, – соглашается художник.

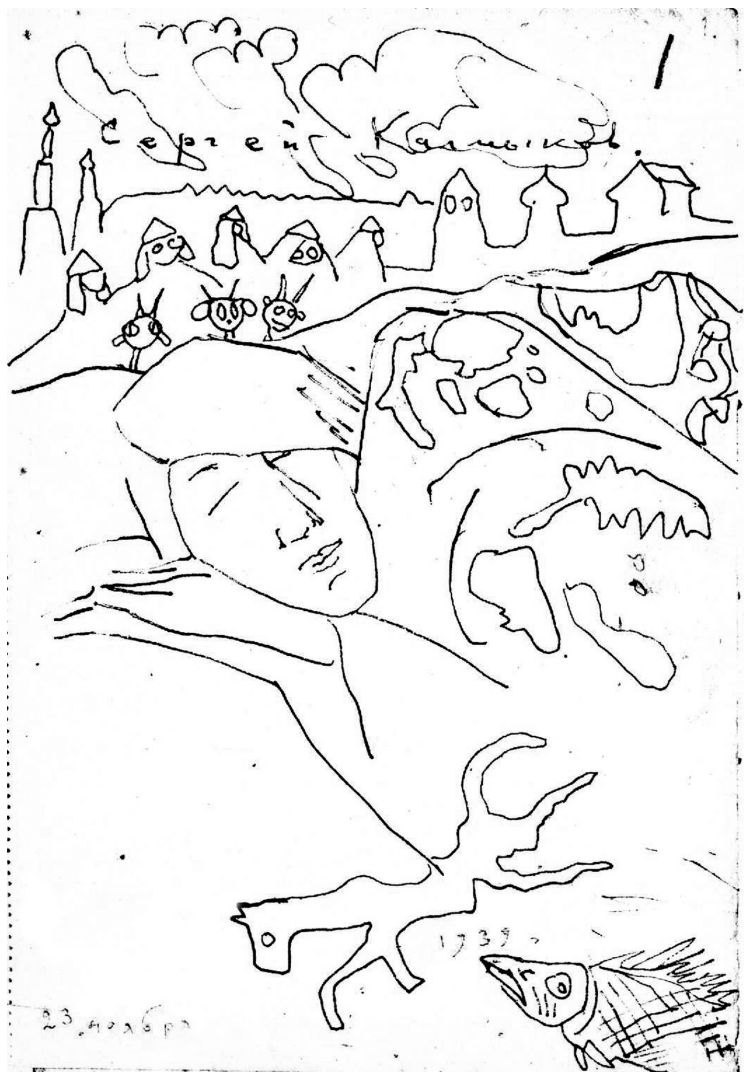


Несколько движений руки с ластиком и пастелями делают картину ещё красивее: солнце катится за гору и прощально шлёт сонные малиново-голубые лучи. И все звери будто меняют окраску, даже чёрно-жёлто-полосатый шмель становится немножко розовым и чуть голубоватым...

– А как же голубая собака? – вспоминает девочка. Её приняли?

– Может и приняли бы, – отвечает художник. – А может и нет. Только не донёс я её до выставки – подарил я ту голубую собаку.





ПУТЬ МАСТЕРА

ОН БЫЛ НИЩИМ

Он был нищим.

Его лоскутные разноцветные, самошитые и размалёванные красками одежды вызывали столбняк у встречных прохожих. Батон и бутылка молока многие годы составляли его дневной рацион, зато носил он скудную пищу свою в волшебной суме с вышитой Ювелирной Чашей Созвездий, зато воздушная Муза с бегущим рядом Леопардом всюду сопровождали его на треугольном мольберте. Его все в городе знали. И все чурались. Он мог говорить несколько часов кряду непостижимые «нормальному» уму вещи, чуждые марксово-ленинскому материализму (прагматизму?) и погребённому под радужным бытом социалистическому реализму. О потоках вариационных рядов, пространственных решётках, настроении цветов и собственно цвета, сумме человеческого опыта и его взаимосвязи с космическим устроением... и ещё о многом мог говорить он часами и горячо, завораживая и заставляя оглядываться (случайных слушателей). Был зол и неопрятен, но придуманные им причудливые шокирующие одежды на полвека опередили нынешние изыски модельеров. И для него не существовало авторитетов.

Юродивый. (Городской дурачок. Уличный паяц.)

Умер он в последней стадии дистрофии в городской психиатрической больнице. Без друзей и наследников.

А был он самым богатым человеком в этом южном



городе у сказочных гор. И, вполне вероятно, самым богатым человеком в мире. Ведь он мог себе позволить кататься на каменных атомических велосипедах с Леонардо и Микельанджело вокруг Везувия. (И был почитаем обоими, несмотря на ненависть и полное отрицание ими друг друга.) Или - улететь в Башнях-Вихрях на другую сторону Луны, где жили его знакомые мальчики-пантеры и пантеры-девочки, где танцевали прелестные многоногие крылатые девушки. И великий Моцарт играл космическую музыку на межзвёздном рояле со световыми струнами...

А ещё он был единственным создателем и владельцем огромной коллекции собственных картин, позже разошедшихся по запасникам провинциальных музеев и частным рукам.

Он был самым счастливым человеком «на Земле, в Космосе и их окрестностях». Потому что всю сознательную жизнь занимался только одним, для чего он был рождён, призван и признан Временем: занимался Искусством. Жил в нём и им, вопреки всему, вопреки тому времени, которое тикало на наших ручных часах и будильниках и гомонило в радио, вопреки обстоятельствам и общественному укладу, стремившемуся снивелировать световую гамму в защитный серый цвет. Живописью, графикой, архитектурой, театром, литературой, философией и пр. И пр.

СЕРГЕЙ КАЛМЫКОВ.

Имя очень с ним созвучное, ибо соединило в себе рациональную утончённость Запада и необузданную красочность Востока. Ажурную готику логики Европы и страсть скачущих скифских коней в раскалённом ветре Азии. Красочную причудливость «Мира искусств», непредсказуемость жизненного театра и космичность фантастического предвидения.

ХУДОЖНИК.

Родился в Самарканде 19 (6-го с.с.) октября 1891 года. Крещён в православной вере. Рос и заканчивал гимназию в Оренбурге - пограничном городе Европы



с Азией. Учился живописи в С-Петербурге в студии Е.Н.Званцевой (школа Бакста, Добужинского и Петрова-Водкина). И напоминал, по выражению последнего, «молодого японца, только научившегося рисовать»... Его «Красные кони», написанные «пастозно и грубо, как у древних скифов» были представлены в школе за год до известного «Купания красного коня», на котором для мальчика со знаменем позировал, кстати, он.

Он не стал ни «заслуженным», ни «народным», хотя его декорациям в Опере рукоплескали, едва открывался занавес. Впрочем, его фамилия редко значилась в афишах.

Он и не мог быть облечён подобными званиями!

Он: «Гений 1 ранга Междупланетной категории, Магистр цветной геометрии, Гроссмейстер волнистых линий и линейных искусств, самый элегантный мужчина Земного шара, Великий, Наивный и Совершенный» - Сергей Калмыков!

Перебивавшийся ремеслом копииста и не продавший за свою жизнь ни одной собственной картины (и несть подобным судьбам гениев числа)...

Умер в полном одиночестве, без своей школы и учеников (как, впрочем, любимый им Леонардо) - ибо им начинался и заканчивался путь собственных поисков. Но в Искусстве «ничего не начинается нами и ничего не кончается после нас». Как и в Духе... Фантазёр и мечтатель, который жил в своём реальнейшем межзвёздном мире лунных джазов и крылатых красавиц. И провожала его одна женщина, певица оперного театра, которую он не успел написать.

Ни на одном из кладбищ города теперь не найти его могилы...

«Из глубин Вселенной смотрят миллионы глаз. И что они видят! Ползёт и ползёт по Земле какая-то скучная одноцветная серая масса... И вдруг - как выстрел - яркое красочное пятно: ЭТО Я ВЫШЕЛ НА УЛИЦУ!»...



«ГЕНИЙ МОЙ – ЖЕНСКОГО РОДА!»

Думается, одной из первостепенных черт величия Художника становится его восхищенность, зачарованность Женщиной.

Женщина – как источник и утверждение красоты, как средоточие чувственной и духовной основы в природе. Женщина – как продолжение и превращение. Из точки в окружность, из окружности в звезду и дальше – во Вселенную.

Наконец, как отблеск этой Вечно Женственной Природы – в самом себе.

Потому так и волнует нас нескончаемая вереница женских образов, что в каждом из них, написанном великим художником, обязательно присутствует часть его собственной сути, женственной-животворящей-страждущей. И – отдающей.

«Художник должен быть наивен, беспечен и бескорыстно щедр»...

Мадонны Леонардо и Рафаэля, Саския Рембрандта и Маха Гойи, Одалиски Матисса и Царевна-Лебедь Врубеля... Как правило – это всегда одна, Единственная. Счастлива (или несчастлива) встреченная, совпадающая или же зеркально отражённая той женственной частью души художника, что обрекает его на вечный поиск, вечную мольбу и труд Пигмалиона.



Не осознав этого, невозможно понять сути обаяния, секрета чар художника.

Замечательный русский художник Сергей Калмыков (1891-1967), ученик Бакста, Добужинского, Петрова-Водкина в школе-студии племянницы К. Сомова Е.Званцевой, одарил Оренбург, Алма-Ату, в которой прожил последние свои, тяжкие и счастливые 35 лет, а теперь дарит – Москву и Париж видением «мирискусников» начала века, космичностью чувственно-художественных устремлений.

Уникальная графика С.И. Калмыкова, кроме абсолютно необычной, концентрированной в точках и связующих пульсирующих линиях, техники рисунка, открывает нам серию фантастических женских образов. Образы эти воплотили в себе не только идеал женской красоты, увиденной однажды и навсегда в живой героине своих писем, но и само представление о Вечно Женственном – одухотворённом, полётном, протяжённом во Времени и Пространстве.

У художника, оставшегося бытово одиноким, все женщины, на десятках, сотнях гравюр, монотипий, офортов, рисунков, - не просто воздушны: они крылаты и изысканно удлинены, они ирреальны, но и живо осязаемы, потому что сквозь их парящую бестелесность просматривается осязаемая, мускульная связь их создателя с Землёй и Небом.

Даже его «Ведьма, читающая Гёте» парит в воздухе благодаря крылышкам, и традиционная метла – лишь театральный реквизит, который подчеркивает скорость движения да изящество форм!.. «Дочери Великого Костюмера», «Красавицы» (восточные и лунные), «Ассистентки Леонардо да Винчи», «Музы пиратов» и прочая и прочая – все они суть «видения об одной», апофеоз которой художник воссоединяет с первым собственным шедевром («Красные кони», 1911 г.) в картине последних лет жизни.

«Вы становитесь – «рассудку вопреки, наперекор стихиям» – наперстницей моей и поверенной мое-



го тридцативосьмилетнего гения! – пишет художник в одном из писем. – Кто-то движет моей рукой! – Майорийские боги? О нет, не они! Может быть, Вы? – не знаю. Недавно я подумал: а ведь Гений мой женского рода!..» – «Часто жалею, что нет здесь Вас. Вы стали бы яснее сама себе. Ведь Вы же до некоторой степени и моё создание! Но наша переписка, конечно, создаёт отчасти и меня...»

И – как итог самоотвержения: «Не всякий имел счастье прожить... занимаясь живописью, как искусством - в наше время, столь далёкое от всеобщего увлечения (или хоть осознания) живописи, как искусства. Как будущего...Так надо знать цену этому своему счастью».

О, Галатея! – Жива ли ты ещё в художнике? А – в мужчине?..



ОТ ЮРОДИВОГО ДО ГЕНИЯ

МИРООБРАЗ и МИРОСМЫСЛ
СЕРГЕЯ КАЛМЫКОВА

(Из бесед с Художником посредством писем
в новой эре)

У окна кареты сидела Прекрасная Дама и чинила чулки Леонардо да Винчи.

19 октября первого года нового века нового 1000-летия всё население Земли, Луны, Галактики и их окрестностей отметили 110-летие несравненного Сергея Калмыкова!

Взгляните на сохнувшие от холода листья. Что может быть красивей их ржавчины - черной, желтой и красной!.. И кто осмелится сказать, что «Принцесса Грёза» Врубеля не участвует в современности? Искусство вечно. Тысячелетиями оно сверкает своими созвездиями над нашими ничтожными волнениями...

Нужно ли напоминать, что этот день (19 октября) сам по себе знаков в русской культуре: своим искрящимся кометно-шампанским ослепительным взлётом в Космическую Гармонию с лицейского космодрома. Явление Пушкина было неизбежно потому, что в земле уже лежал жёлудь Серебряного века, предопределённый, в свою очередь, рождением Сергея Калмыкова...



Итак. На торжество к накрытому тысячекилометровому столу в кратере по ту сторону Луны прибывали Леонардо да Винчи и Бенвенуто Челлини, Микельанджело, Мантенья и Гойя, Ван Гог и Дега, Бёрдслей, Уайльд и Врубель, Герман Миньковский и Андрей Белый - и ещё, ещё... со всех концов Космоса и его окрестностей, из разных уровней Пространственных Решёток слетались в Башнях-Вихрях, съезжались на каменных велосипедах и в каретах, запряженных слонами и голубыми жирафами творцы Невозможного и Совершенного.

И конечно же, конечно появились Бакст, Добужинский и Петров-Водкин, зрелым слушателем курсов которых был в С.-Петербурге 10-х годов ушедшего века наш Юбиляр! А Матисс сопровождал неотразимую Венеру Персидскую, которая захватила с собой примус – так, на всякий случай... И звёзды подрагивали от спокойного и торжественного кваканья золотых лягушек. Изумрудно-фиолетовые капли росы выростали в гигантские зеркала, в которых восхищенные гости увидели Великого Костюмера и Кавалера Мота, Всепонимающего и наивного Лай-Пичу-Пли-Лапу и блистательную Ассистентку Леонардо Ала-ал-М*ари – имена одно фантастичнее другого, образы колоритнейшие и цветоменяющиеся раскаляли зеркала, лучи от которых сошлись наконец в одной точке: искрящейся, трепещущей и постепенно обретающей узнаваемые всеми черты. Да! В этом слиянии пульсирующих лучей появляется сам Сергей Калмыков, Гений 1 ранга Межпланетной категории, Гроссмейстер линейных искусств, Магистр Цветной Геометрии и пр., и пр. - в развевающемся многоцветном плаще и малиновом берете, всё с тем же треугольным мольбертом и с холщевой сумой, расшитой цветными нитками по сверкающему маслу фону, где бежит его Муза с пантерой. Он появляется, окруженный дочерьми Великого Костюмера, восхищенными стайками многоногих девушек, девочек-пантер и гепардов-мальчиков! И световые струны



Межзвёздного рояля вновь проснулись под пальцами Великого Моцарта...

Ни одна вещь, ни один предмет не начинаются и не кончаются нами. Все они начинаются вдали от нас и уходят в окончательное далеко за нами. И пока - пока! - нами непознанно-непонятое. Но... всё связано - начало и концы. То, что я задумал, - очень длинно, очень протяженно и в пространстве и во времени... Архитектурно-ювелирно-живописный стиль... композиции с помощью расчета, вкуса и - случая! (Когда я это написал? - Может, в 932 или 28 году, эра здесь не имеет значения). Всё это предполагает эпический размах. Недаром я декоратор - исполнитель огромных полотен. И не мыслю себя вне оформления и работы над оформлением разных Гранд Опер, Гранд Выставок, Величайших Архитектурных Ансамблей. Не мною они начаты и не мною окончатся. Все они так или иначе соприкасаются теми или иными своими точками... с теми или иными данными внутренней психики того или иного лица.

Жизнь наша протекает в некоторых рамках, которыми мы незримо окружены! Эти рамки являются организующими началами нашей жизни. И этих рамок никто не видит! Наша жизнь проходит в архитектурных промежутках. Погибают народы и цивилизации, уходят в предание языки... Остаются памятники архитектуры.

Горы всегда влекут к себе человека, наполняя душу его трепетом и силой - предвосхищением. Как и море. Недаром Рёрих... Быстротекущая, бурлящая вода - Время. Вздыбленная к небу земля, её выплески скал и выдохи вулканов - пространственное выражение грёзы Достижения... пусть и не всегда дано знать - чего. Но это путь художника, путь того создания, которого Бог одарил своим подобием. В искусстве имеют значение намерения, а не достижения. Художник - прежде всего мечтатель, а не мастер. Именно мечтания и намерения художника отличают его от рядовых последователей и подражателей Творца.



А между морем и горами – степь. Пространство для размышлений, покой для памяти, колыбель ностальгии и поиска. Всё – Россия, а мы в ней – кочевники. Нас гонит из одного конца в другой. Пороку временной власти кажется, что это она ссылает непокорных, стремясь рубанком выровнять пространство ума посредством срезания голов. А головы собираются на вершинах Земли и Космоса, и энергия гениев вновь облучает землю. Останови солнечный луч! Прикажи не литься дождю и не взрываться вулкану! Так грозовым испарением создавалась та духовная Алма-Ата, в переулках которой, под сенью бородатых карагачей или по дороге к парящим снежным вершинам легко было столкнуться с Гением: увидеть, как работает, ораторствует или «валяет дурочку», вдохновляясь в детском баловстве или в вине на новый шедевр слова и мысли, на неожиданное откровение цвета и звука, и движения. Сам воздух «Города снов» (по Луговскому) рождает бескорыстие и полётность мысли за пределы быта (какой быт – у изгнанных, сосланных, исключённо-заключённых!), предполагая жертвенность Духу и восторг пред красотой мироздания.

О, сколько их, тени которых наскальными силуэтами прорисованы на стенах, коре деревьев, в журчании арыков, в весеннем взрыве розовых цветов урюка и в остановившихся валунах, принесённых селевым потоком!.. Первая книга Николая Федорова и лекции Александра Чаянова. Солнечные мысли Александра Чижевского и философские кадры Сергея Эйзенштейна. Домбровский, Солженицын, Зоценко. Павел Васильев. Исаак Иткинд. Николай Раевский. Сосланные, расстрелянные, измученные, униженные. Непокорённые и творящие. Брошенные ими зёрна умирали, давая новые ростки...

И – Сергей Калмыков: «Художник должен быть наивен и бескорыстно щедр!»

Вся моя работа и премудрость – явления стихийные.

...Мы стоим перед новой свободной архитектурой приближающегося военизированного периода



человеческой истории (да, да, не надо смущаться - это действительно 1920-й год):

Объективные формы природного пейзажа, бронированные и обтекаемые поверхности. Каучуковые, резиновые деревья. Чехлы и противогазные маски всего пейзажа - всех построек.

Летающие Башни-Вихри. Целые города, планирующие в воздухе. Золотые перекасти-поле, движущиеся по земле, воде и воздуху, населённые целыми армиями. Таковы возможности, намечаемые этими предварительными, фантастическими пока, эскизами.

Но как после периода эпохи Возрождения наступил расцвет среднего периода - века Леонардо, Рафаэля и Микельанджело, так и после первых шагов радио, химии, техники, кино - надо ожидать решительных последствий современной военной техники в будущих произведениях строительной архитектуры и связанных с нею изящных и нежнейших, более легких и портативных, подвижных форм искусства линий, красок и объемов - живописи, рисунка и скульптуры.

Только необходимое, только быстрые и неожиданные, молниеносные художественные решения. Нечто допотопно грузное, экваториально-пышно-растительное, никаких ионийских или коринфских стилей. Нечто мастодонтообразное. Формы, способные выдержать величайшие удары и давления. Формы светящиеся, непроницаемые и мрачные. Формы океанические, геологические, газоподобные. Такова схема приближающегося искусства, таковы его намечаемые признаки и характерные мотивы.

В сущности всё, что у нас перед глазами, это особая пространственная сетка или решётка - пространственная напряженность того или иного рода. Так связываются этюды и все мои беспредметы и предметы. Композиции в стиле Монстр... Тут и природа и модные костюмы, и какая-то инженерия и архитектура, и ювелирная мозаичная ковровость (1920).

...По дороге на Садовой (кажется, в Пензе? - да и



есть ли город в России, где лишь в названии улиц шумит листва и наливаются яблоки со сливами!) вывеска «Вишневый сад» какого-то сельпрома. И в ларьке странный тип, Ремизовский какой-то, с красным глазом старик безумного вида, стриженный. Я его в первый вечер увидел в окне рядом в доме. Он сидел неподвижно и филином, зорко и слепо, смотрел перед собою. Я стараюсь не смотреть на него. Какой-то бывший человек, вперивший взгляд в своё прошлое сквозь сквозящее, нереальное для него настоящее. И я когда-нибудь могу сделаться таким. Вот ужас-то! Будет то, что будет... Или он провидит - будущее? Тогда... н-да!..(1934).

Мне кажется, я создан для этой красноречием наполненной жизни! Зачем я не родился семнадцать столетий раньше?!.. Ах, и я мог бы быть знаменитым странствующим оратором, блестящим и легкомысленным волшебником...

И вот я перевожу свою гениальность в комический план. Старый приём шута. И все дерзости мне прощаются! О, Господи, что за безумный мир: мне столько надо сделать, а для этого придется надеть личину - чтобы не мешали или не арестовали... Так мало надо, чтобы стать легальным и не производить впечатление сумасшедшего: потешник. Пусть юродивый - этого всем только и надо... Никто больше меня не любил рисовать на улице! Кругом смотрят, зевают, глазеют, удивляются - кто во что горазд! Другие - завидуют! - скучают! - задирают! Я - ораторствую! - огрызаюсь и остроу... казалось бы, меня надо на руках носить! Я же всю жизнь делаю это задаром! - а всем всё равно...

Сколько безвестных гениев кануло в вечность в провинциальной России... Но безвестие - не безымянность: так имена иконных мастеров записаны на скрижалях Высшей Памяти. И где-то вспыхнувший в ночи огонёк взрывается фейерверком, и взгляды обращаются к небу. Метеорность Миши Махова с его деревянными скульптурами к «Слову...», со скрип-



кой у Паганини, подобной крылу, единому с телом музыканта, и её оборванные деревянные струны-нервы всё звучат где-то под ветром в осыпающейся листвой кроне. Греко-египетская красота Людвиги Волкович, взглядом Калмыковским благословлённой взять кисть в сведённые болезнью руки и не вставая с коляски писать и писать на стекле бесконечные портреты бесконечных людей, пустынников и страсто-терпцев... Павел Зальцман, Евгений Сидоркин, Жаке Шарден, Исаак Иткинд, Калжан Айтбаев, Саке Гумаров - все-все, кто поднимался в горы крутыми улицами города снов, предательства и жертвенности, забвения и любви, все они - имена, стихи, краски, аккорды - оживают и протягивают руки с открытыми ладонями: «Берите!». И так - во всех затерянных необъятных уголках пространства. «Пользуйтесь, Люди!». Задёшево-задаром: и пользуются - Париж и Рим, Япония и Америка - сквозь бывшие и возведённые границы земные. О! Россия безоглядно богата: как ни одна другая страна, она ссылает своих гениев в тундру и на Брайтон-Бич, в окопы и в тюрьмы, или просто морит голодом и забвением. А потом умиляется возвращённым ей ширпотребом, или бледным сколком разбазаренных самоцветов...

Я вижу анфилады зал, сверкающих разноцветными изразцами.

Я прохожу по плитам, испещрённым таинственными знаками. Их необходимо прочитать. Меня сопровождают разные звери и птицы. Рыбы сочувствуют мне в своих водоёмах. Мягко изгибает спину пантера и ластится у моих ног. Птицы поют. Солнце светит лучами, всё блестит переливами остро-нежных красок. Сколько золота, серебра, черных, белых, розовых и мутно-жёлтых бледных камней.

Я всё это вижу. Я иду среди всего этого. Я вижу иные миры. Я смотрю на всё с далёкой точки будущего.

...Светлые тени и блики мягко плывут по плитам пола. Он становится прозрачным и розовым. Вдали под



ним горит огнями зал... Выхожу во двор. Во дворе к колонне Башни прикован Великий Костюмер, прикован к своим призрачным фантазиям. Сейчас он должен записать блеснувшую в уме мысль. Он достаёт из кармана блокнотик и записывает мысль «вечным пером». Пишет быстро и мигом исписывает весь блокнот. Ряд мыслей набегает на Великого Костюмера, и он еле успевает доставать из карманов блокнотики и спешно записывает мелькающие в воображении мысли.

Я стою и терпеливо жду. Он всё записывает и полдвора заполняется блокнотиками.

Проходят века. Он всё записывает. Проходят тысячелетия. Уже трудно повернуться от загромоздивших все углы двора блокнотиков.

Тогда колоссальные ноги Башни делают отчаянное усилие и, напрягая свои искусственные мускулы, раскачивают, разворошивают основание затопившего их моря блокнотиков. Затем несколько пробных движений приседания и подскакивания, и после этого сильный прыжок. Враз, как по команде, единое для всех колонн приседание и отчаянный сверхидеальный прыжок. И башня летит в пространство среди удивлённых звёзд мироздания (1920).

...Надо полагать, я должен благодарить свою судьбу - за то, что пока мне не везёт в жизни! Если бы везло, я, вероятно, давно бы помер!

А сейчас - никак нельзя! Умирать! Тогда пропадут все мои работы! Скажут - формализм! - чепуха! - это, мол, никому не нужно! - И вот! До тех пор, пока не будет ясно, что все мои гравюры, фантастика, записки - очень нужны - всем! - до тех пор я и буду изо всех сил своих стараться - это доказать! - что всем нужно! Я знаю, что найдётся хоть один такой человек, которому будет не всё равно и который примет...

Ну, вот! И живу! Так что мне надо быть благодарным! Я и благодарен - судьбе своей! - за то, что ещё до сих пор мне как-то не везёт! - Хэ-хе!- так я и до ста лет доживу!...(1948).



Вчера? - задали мне вопрос: «Кому нужны ваши Страхи-Лады?» - А кому были нужны карикатуры Леонардо да Винчи? Надо полагать, прежде всего ему самому! Да и другим, оказалось, тоже - Ренессансу, эпохе Гуманизма!.. Полноте Вариационного ряда Человеческой Мысли!

...В отношении заработка художник должен быть обеспечен, общество должно само думать об их пропитании. (Если не хочет погрязнуть в собственных отбросах и в самоедстве). Дело же художника: есть готовое и заниматься своими дикими фантазиями. Искусство - это мифология, магия, а не деловой расчет. Мир болен. И только художники способны привести мир к спасению. Кто оспорит убеждение, что Конфуций, Будда, Христос, Магомет, Заратустра - великие Художники. Как и то, что Созидатель - всегда жертва: поклонения (потом, потом - после распятия), легенды и потребления (увы, не следования). Горько прав Фёдор Михайлович: пигмею во все времена хочется, чтобы великан был ростом с него. Но Пушкин всё расставил по своим местам: «...Всех строже оценить умеешь ты свой труд. /Ты им доволен ли, взыскательный художник? /Доволен? Так пускай толпа его бранит /И плюет на алтарь, где твой огонь горит...»

Да-а... я как бы оторван от действительности в своих лучших художествах. Так, например, у меня есть слоны, трубящие в свои поднятые вверх хоботы на фоне вавилонских башен, виселиц и закатного горящего неба, висячих садов и серпа большой желтой луны на горизонте. Люди с пиками, на концах которых воздеты отрубленные головы, сидят у слонов на загорках, в люльках. Слоны вопят и шествуют по реке, переливающейся множеством оттенков, но в целом желтой и мягкой - воробью по колено там, где они идут! Между делом долго писал этот эскиз масляными красками, стараясь добиться необыкновенного сочетания цветов. Небо зелёно-фиолетовое,



а не сине-фиолетовое, вода огненная, а не синяя... в общем, дико и романтично... У меня есть рисунки, на которые можно смотреть, как на дальнейшее, своеобразное русское переложение или продолжение известных французских скрипок.

Этот этюд был подарен добрейшему Николаю Гринкевичу, певцу-басу из оперного, который пел ещё в Софийской опере, в Болгарии. Из эмиграции, где он был рождён, Коля вернулся в конце пятидесятых годов - вовремя, не то что Н.А. Раевский, вынужденный пройти Минусинский лагерь и поселение, прежде чем получить свободу... Да, Минусинск - хорошее лекарство от русской ностальгии... А ведь Раевский и там работал над своими пушкинскими изысканиями - по памяти. Остановить художника может только смерть. А Гринкевич смог привезти и архив, и удивительную библиотеку старой и эмигрантской литературы, из которой мы в «Просторе» черпали для публикаций то, что порою недоступно было и москвичам. Раевского мы хоронили в предгорья, вопреки всяким установкам и разрешениям, гроб в некоторых местах приходилось нести почти вертикально, зато 94-летний писатель обрёл свой покой в нетронутой гармоничной горной роще. Коля Гринкевич ушёл позже, мы с ним ещё сумели побороться за передачу деревянного Вознесенского собора, строенного Зенковым в начале века и выдержавшего разрушительнейшее землетрясение 908-го года. Но отпевали Николая в Никольском соборе, где он - тайно! - был рукоположен в диаконы... Калмыков не часто дарил свои работы, хоть и охотно показывал и говорил о них, он не любил расставаться, как и многие художники. Это потом они расходились вместе с мифами о нём... Мне тяжело дался исход из горной столицы, которая в эйфории «возрождения» быстро уплывала в феодализм. Там оставались друзья, горы и могилы...

Так и с этой обложкой с носорогом. Сидит и пи-



шет странная Муза на носороге при звёздном свете, а кругом идёт снег... Муза сидит спокойно на носороге, а он идёт по снегу. Это символ стихийного потока явлений, свирепого и страшного, тропически темпераментного в холоде зимней стужи реальных явлений, среди которых так спокойно работаю - «сидя на необычном носороге»... Каждая краска - особый ритм. Всякий ритм – схема. Самые красивые и разнообразные ритмы и схемы даст нам только живопись. У меня рисунки с одной линией. Мне бы хотелось вырезать их на камне как вавилоняне (1924).

Непонимание всегда невыгодно для непонятливых... Да, кто-то «не любит» оперу, выключает с первых аккордов Баха, «знает» Гоголя и Толстого через экран. И даже не подозревает, сколько богатства теряет в этой нищете духа, потребляя успокоительную жвачку раба. Ширпотреб, нивелирующий сознание и личность.

Если я не современен, то тем хуже для современности. Тогда, значит, я буду современен – в веках!..

Как медленно текут минуты! Но они проходят. Срываются секунды! И нам навстречу несутся астрономические пространства!

Надо знакомить всех с суммой человеческого опыта. Надо, чтобы каждый ребёнок стал академиком! Пусть дети не в бабки играют, а начинают с азов – с треугольников, с кругов! – и по порядку всё! – от простого до самого сложного. От точки до самого идеального человека! От прямой линии до самой красивой девушки или рабочего! – от круга до города будущего!.. Ибо точка – это нулевое состояние бесконечного количества концентрических кругов...(1963).

У оставшегося всю жизнь бытово одиноким (духовно всякий художник - наедине с собой и Мирозданием) все женщины на десятках, сотнях гравюр, монотипий, офортов, рисунков - не просто воздушны, они крылаты и изысканно удлинены, трепетная линия делает их ирреальными, но и живо осязаемыми. Все



они суть «видения об одной». Апофеоз этого «единовидения» художник воссоединяет с первым собственным шедевром («Красные кони», 1911 г.) в картине последних лет жизни, а до этого - в большом холсте «Остров Цитеры», замечательный вариант которого - «Парад королей» переходил из одних рук в другие, пока не попал в коллекцию Ричи и не уплыл в его штат Висконсин... или Кентукки?..

«Дорогая О.А.! Вы не можете не согласиться, что я не могу не вспоминать Вас. В самом деле – над моей кроватью на стене набит длинный холст, длиннее длины кровати! – его можно и продолжать, но можно считать законченным. Это знаменитый, как я его называл, «Остров Цитеры». И на нём изображены – Вы!

Кроме Вас - Лапин, Добровольский. Скелет в красной полумаске, Сатурн, косящий древний мир. Мальчик, моющий кисти. Гигантские кузнечики, бабочки и стрекозы, летящий Амур с факелом. Ваша Кирка с луком и стрелами. Чудовища, играющие на музыкальных инструментах, – тряпки и горшки с красками. Да, ещё – забыл – танцующие Фокин и Фокина (помните – у Дягилева?), и балерина Карсавина, – и обезьянки!

Нечто причудливое, как видите. Но это ещё не всё. Здесь участвуют элементы моей Архитектуры: простенки, розетки – моего стиля, клетчатые – гармонично-сочетающиеся с клетками костюма Арлекино (Фокин)! И это не всё! Длинная стена (перед которой фигуры) с простенками и розетками, – строго симметричная - горизонтально-вертикальная и фронтальная – на длинной плите, плита окружена водой. Вода ограничена горизонтом, над – небо и облака. Надпись «Остров Цитеры» и под нею мелкими буквами цитата из Вяч. Иванова: «Любовь и Смерть созвучных вздохов гимны! - Как Солнц скрижаль зажжённые во мгле земной пещеры». Сделал этот холст в начале лета. Красиво!»

Нет нужды драматизировать «уплывание» работ наших - пусть даже самых гениальных! - художников



за рубеж России. Это уже достояние мировой культуры, человечества. Ведь мы не сопротивляемся явлению картин Рембрандта или Ван Гога и Матисса в наших собраниях! Уж, конечно, лучше распахивать двери Гению, а не рекламным поделкам низкопробного ширпотреба агрессивных ремесленников «рынка»... Удивительно, что Фолкнер и Томас Манн вчитывались в Достоевского и Льва Толстого, Акутагава и Кавабата знали Чехова и даже Горького, а Брэдбери и Хейли – Замятина, мы же с восторгом неопитов очистили книжные полки для «Эммануэлей» и прочих Чейзов, а экраны – для сентиментальных «стукалок» и порно-«ужастиков»... В нанимаемой Ричи алма-атинской (а позже - и в московской) квартире я сразу узнал несколько работ Анатолия Зверева, но больше всего меня поразил точный графический портрет этого американца, сделанный той же гениальной рукой. «Каким образом?!» – «Да проще простого, Слава: на выставке где-то в начале 80-х подкатился мужичок – «хочешь, Толик сейчас твою парсуну сотворит? – Конечно! – Гони... шесть рублей! – И пока бегали за двумя «фаустпатронами» портвейна, пока их разливали – портрет был готов... я был тогда моложе и наивней...» Да, я даже знал ту квартиру на Пушкинской, где это было тоже возможно: там добрейший Зверев, заросшее лицо которого никак не могло собраться в злость, вдруг гаркал после очередного стакана всё того же портвейна: «Какой я вам Толик! Я – Анатолий Тимофеевич!» - затем, впрочем, успокоенно засыпал. Собирались, конечно же, не только, чтобы выпить: в старой квартире обыкновенного инженера-механика смеялись над суетностью мира и бездарной властью, учились терпению и восторгу. И понимали, что надо просто хорошо делать своё. Здесь, на куске обоев школьной акварелью Зверев мог написать трагический женский портрет, который наверняка теперь висит в добротной раме на чьей-нибудь стене. Здесь, в этой квартире на Пушкинской, переплетались ротопринты с



парижского издания вечных «Москва-Петушки», а сам Веничка уже предсмертно и почти весело, со стаканом всё того же портвейна, хрипел резиновым горлом в микрофон англо-польского оператора Поля-Павла... Россия - богатая страна и всегда легко разбрасывалась своими гениями. А уж провинциальными...

Ли-Лин-Та-Лу-Ла (дрессировщик синих ихтиозавров):

Космическая Фата-Моргана или Фантас-Магория. Удивительная ткань необозримой занавеси. Фигуры зверей и движущихся деревьев. Струи расплавленных алмазов. Тонкие золотые проволоки, видимые лишь в колоссальный тысячепудовый микроскоп. Строгая бесстрастность и непроницаемое равнодушие. Бесконечные открытые галереи и балконы. Туманы и равнины. Рёв и звон тысячекилометровых космических роялей. Розовые саксофоны и отчаянные трели зигзагов. Наслоения обломов. Сумасшедшая сложность фактуры. Срывы и осадки. Взрывы, дымовые завесы и визги поющей атмосферы.

Ну что же - всё это и многое другое, - допустим, будет сначала это. Потом другое. Там третье, и так далее. Получится неопишуемая симфония.

Лев Толстой действовал контрастами, орудуя элементами нормального бытия. Война и Мир («Миръ» тогда писался ещё и «Міръ», и значения у них были разные: в первом случае – от «мирить, замирать, мирный», во втором - и толстовском смысле – т.е. «земля, вселенная, и род человеческий, община, все люди» - В.Даль. Вот еще один пример нашего безграмотного «реформаторства» - языка ли, всего ли «мира»). «Война и Міръ». Он обращался к своему читателю, соблазняя его эстетической стороной бытовых деталей. От Льва Толстого до Маринетти один шаг. Мало разницы в том, что Толстой якобы был против войны, а Маринетти – за войну. Оба сильны тем, что подают Войну читателю эстетически, действуя на современное сознание не религиозно-догматически, во имя родины или религии. Они обращаются



к индивидууму, ни в сон, ни в чох уже не верящему. Они соблазняют читателя остротой впечатлений.

Но наряду с нашим обычным миром обычного измерения существует мир другой, параллельный или пересекающий его. В этом мире свои законы. И он не единствен, один из энного количества иных возможных миров. Скажем, в мире Толстого и Маринетти люди о двух ногах и двух руках, но можно представить мир, где люди о сотне рук или тысяче ног. В таком мире может и не быть какой-либо войны, и наоборот - только война. Там может быть смерть или жизнь, и там их может и не быть, а будет – ни жизнь, ни смерть. Этот воображаемый мир автор может строить на страницах романа заново, пользуясь имеющимися словами, буквами, красками и линиями. С помощью вечных знакомых материалов он может построить незнакомые новые предметы, нарушая то законы земного притяжения, то законы химических соединений, то законы перспективы, то обычные пропорции. И новый невероятный мир будет существовать не менее убедительно. И вот кажется занимательным решить задачу эпоса, не прибегая к элементам войны. Не изображать смертоубийство, смерть, - сузить диапазон контрастов. Такое решение даст нечто оригинальное, расширит привычный кругозор. Будет новым шагом от Льва Толстого и Маринетти (двух полюсов). Точки могут быть расположены и по одной прямой (в данном примере - Т. и М.), но могут располагаться и по углам треугольника, квадрата, куба, тетраэдра и т.д. Каждая позиция может быть в положении той или иной точки.

Играя сочетаниями простейших схем, можно достигнуть впечатления необъятности. Данный эпический этюд, равно как и серия набросков, сделанных автором до этого, именно и преследует разрешение задачи в плане указанных положений. Это опыт художника, проба – можно ли достичь хороших результатов в этом новом стиле. Как он называется?



Этот новый стиль? Автор подыскивает к нему названия... это не футуризм, не реализм. Но это современно. И, вероятно, это не единичный случай – эти задачи автора, не индивидуальный случай...

Ну конечно, все читали «Войну и Мир» Толстого. Но вот последний манифест Маринетти (писано это в 1936-м), обращённый ко всем писателям и художникам Италии, читали, наверное, немногие. В «Правде»... однако могли прочесть заметку: «Манифест Маринетти». «Основатель футуризма итальянский поэт-фашист М. Опубликовал манифест ко всем писателям и художникам с приглашением на африканскую войну». «Война в Абиссинии – по словам Маринетти – утончённейшее усиление всех наших наслаждений. Война – самый совершенный спорт, прекраснейшая человеческая динамика», «единственное подлинно сантиментальное приключение», наконец «самый мощный источник вдохновения для всех прекраснейших видов искусства».

Источник вдохновения всех русских и итальянских, английских, немецких, японских и американских Ростовых и Денисовых и т.д. – война, как и связанные с жизнью беспечных вояк – карты, вино, тройки, автомобили, женщины – эстетическая приправа, соус ко всем мелочам жизни – даны в этом манифесте метко и веско, как соблазн, не без иронии и усмешки. С этой стороны нельзя отказать Маринетти в остроумном цинизме. Он знал, для кого писал. И знал, на чём играл. Апеллируя к спорту, к динамике и сантиментальным приключениям, к вдохновению всеми видами искусства, он нащупал самое уязвимое место современников. Особенно буржуа середины XX века. Сытость без души, скука.

Он не обращался к справедливости, к человеческому достоинству, к этике или совести и т.п., даже к патриотизму. Современный человек запада не склонен рисковать своей шкурой ради подобного рода вещей. Но вот рисковать головой ради пустяка, для



того только, чтобы потешить самолюбие, удовлетворить каприз - на это способны если не все, то многие... Тем и живут!

Калмыковский космизм, его творческий, художественный прорыв за пределы реального пространства и останавливаемого на холстах времени. Нет, больше: иное измерение открывается нам в пульсирующих, изменчивых линиях и красках, в то-ропливых, словно боящихся не успеть за мыслью, записях. Предвидение катаклизмов века, связанных с оторванностью человека от космических законов и сил, от утраты осознания себя частью мироздания и личной ответственности за собственные деяния в нём, подвигало моего героя, как и многих избранных Духа, на апокалипсические картины и обострённое видение, сообщало художнику ощущение одиночества и, порою, случайности своей в этом человеческом котле единовременного существования.

Подобно многим своим предшественникам-современникам (Врубель, Рерих, Ларионов, Кандинский, Филонов и Малевич, а позже - Татлин, Челищев и др.) Сергей Калмыков был захвачен стремительностью научных открытий начала века, которые на смену прежнему «птолемеевскому» цельному мирозданию с устоявшейся музыкально-математической гармонией движения, масс, сил, времени приводили вдруг к иному мироосознанию, связанному с «релятивистской» космологией теории относительности, идеями Пуанкаре, открытиями Резерфорда, позже - осмыслением биосферы Вернадского. Новая терминология («принцип относительности» Эйнштейна, «четвёртое измерение» Миньковского, «невесомость», «расщепление ядра», «радиоактивность» и т.д.) давала почву для создания наукообразной мифологии, а появившиеся ко времени философские и теософские работы (Н.Федоров, Е.Блаватская, П.Успенский и др.) открывал простор новым ощущениям «всемирности жизни» и возможности «космических контактов», а также - захватываю-



щих дух западного человека возможностями человека, связанных не только с новыми техническими достижениями (и даже не столько - особенно для художников!), но в скрытых силах, возможностях самого человека, в утраченных и вновь возвращаемых «тайных знаниях», доступных лишь «избранным». Удивительно, однако это мироощущение можно было найти в древних книгах индусов - «Ригведе», «Рамаяне», но та цивилизация давала путь обретения - себя, вела к овладению космосом через личностное слияние с ним. Новая технология сулила - покорение... Всё это дало небывалый толчок искусству, открывая художнику новые горизонты возможностей и пути поиска. У кого-то это было продиктовано теософскими поисками «абсолюта Духа», у кого-то - неудовлетворённостью слабостью человека и стремлением дать художнику «теургические способности не только аналитического разложения изображаемого, но и создавать синтез и воскрешение в картине» (П.Филонов)...

Кто справится, скажи, со скоростями,
Которые мы вызвали?

Кто сможет

Незыблемый наш охранить уют -
Уют любви, уют простого платья,
На кресло кинутого? Кто поймёт
Ту силу, что мы вырвали из мрака
Во имя жизни иль во имя смерти?
Мы пробудили тайники вселенной...

(В. Луговской)

Если манифест Маринетти парадоксален своим нарушением обычной человеческой этики, то страницы этого этюда парадоксальны своим нарушением привычного натурализма. Всё для наслаждения - гурманство. Один ищет острых ощущений на войне, играя со смертью (своей или чужой), другой ищет их в свободном искании всех пропорций и отношений действительности. Третий ещё что-то выдумывает. Проходят дни, года и десятилетия. Одни борются за



социализм, за бесклассовое общество, другие за капитализм, за фашизм и прочее, третьи - за новые оттенки в костюме, за новые способы в той или иной области человеческой деятельности. Интересы многообразны. Неожиданны аналогии и противопоставления. Сравнительная эмпириология сулит многое.

Скептицизм, фанатизм, холодное равнодушие, азарт, скука, воля и своеволие. Всё это сталкивается и тасуется самым парадоксальным образом... От времён каменного века мы ушли (кажется!) далеко. И вот, по мере того как мы от них уходим, мы всё чаще и чаще наталкиваемся на своеобразные древнейшие находки. Первобытные ящеры, гигантские чудища возрождаются. Вылезают на улицу. Колоссальные шапито, цирки, балаганы, всевозможного рода выставки. Проходят толпы зрителей и смотрят. Кругом оживление. Всё перемешивается. Современные воротнички и манжеты прикрывают шеи и лапы ихтиозавров.

Рождается - СТИЛЬ МОНСТР. Я же - один из столпов этого чудовищного стиля.

Падают жёлуди на землю. Лёгкий треск их об землю. Шуршит, журчит вода в канаве среди камней и травы. Когда по пистоне в патроне ударят, взрывается порох и летит пуля.

Жёлуди - те же пули. Своего рода - ракеты в мировое пространство. Каждый зародыш, зерно пшеницы или овса, стручок гороха, акации - всё это снаряды и ракеты. Но одни взрывы происходят с одной скоростью, другие... длятся столетия, тысячелетия, а иногда и астрономические годы. Взрыв жёлудя длится около ста лет. Вырастает дуб. Пускает корни и ветви в землю и в воздух. Покрывается листьями. В свою очередь атакует землю тысячами жёлудей (маленьких снарядов или адских машин). Из головы автора на бумагу осаждаются слова и фразы. Они таят в себе в свёрнутом виде целые каскады фраз и даже книг. Это зародыши-пули-снаряды. Они необычайно настойчивы. Хочешь не хочешь - пиши!..(1936).



Да, он, Сергей Калмыков прошёл через все этапы и поиски, естественно увлекаясь теми идеями и возможностями, которые открывали для художника абсолютно новые миры. Сам воздух города, в который он переселился из Оренбурга, снежные пики и степные пространства под ними питали видениями фантазию, предполагали жертвенность и восторг. И вот что интересно в нашем человеческом сообществе. Увлечение войной, риск даже и чужими жизнями, стремление подчинить, даже изнасиловать добром и счастливой жизнью не вызывает столько нетерпимости и даже ненависти со стороны «порядка» или государства, а потому и послушного «большинства», сколько вызывают поиски художника, его стремление самовыразиться. Отчего бы? - ведь его поиск и даже ошибки ведут к раскрепощению сознания, к осмыслению бытия, к свободному выбору, предоставленному самим Создателем. Вот оттого-то... Человеку в «цивилизованном» обществе не даётся в итоге даже права выбора между жизнью и смертью: государство убивает, но судит за самовольный уход из жизненного котла.

За образец - ты мудреца огрехи
Возьми себе, а не глупца успехи...

(В.Блейк)

Спираль незаконченных врубелевских замыслов
взмахом неожиданной вавилонской башни вынырнула
из пространств небытия через мой мозг!

Я слышал голос отдалённых табунов, мерно позванивающих в колокольчики, подвешенные к ошейникам из голубых ленточек и серебряных шариков. И звон этот длился века...

Эти невинные размышления мои напоминают толчение воды в ступе. Нет ничего более изысканного. К этому роду занятий следует отнести также «переливание из пустого в порожнее». Трудно придумать что-нибудь более тончённое. Искусство - свободная



игра - переливание из пустого в порожнее.

Некоторые возмущаются. Возмущаться тут нечему. 1) Природа не выносит пустоты. 2) Искусство не выносит весомой грубой эмпирики. 3) Обычные понятия и слова теряют свой смысл в соприкосновении с искусством. 4) Искусство орудует с невесомыми величинами. С духом. 5) Некоторым это не нравится. Что делать. В данном случае помочь никому нельзя. 6) Искусство требует жертв, в том числе и жертв здравому смыслу. С потерей его искусство достигает особого призрачного смысла. Искусство - это особое умение создавать призраки.

Свободные подобию.

В жизни этой свободы нет. Всё подчинено закону следствия и причины. В искусстве есть призрачная свобода. И то хорошо. Как любовь.

Автор взмахнёт хвостом, изовьётся винтом и будет прыгать в кругу клубящихся призраков. Дикая хаос образов нахлынет на его страницы. Пусть их себе кружатся в своей призрачной свободе. Он будет наблюдать их молча, не говоря ни слова. Быть может, развязав себе руки от изнуряющих записей, он сможет нарисовать коллекцию рисунков. Дать ряд альбомов. Это было бы неплохо. Но всё это требует времени. Что же остаётся делать сейчас? - Созерцать свистопляску образов, призраков. Наблюдать шабаш ведьм, подражая доктору Фаусту. Что делать? Гретхен умерла. Её нет, и не известно, где она. И Фауст был бы глубоко разочарован, если бы она вернулась... (1935, 1962).

Наш путь разветвляется потоком вариационных рядов. Мы можем находиться в Париже. На пути в Индию. Мы можем оставаться на Луне, на любой её половине. Если хотите, можно последовать за пятиногой девушкой и за молодыми людьми, прибывающими на атомических велосипедах на ту сторону Луны, которую никто ещё не видел. Мы можем отправиться в Россию – куда-нибудь на Волгу. Все пути



для нас равно открыты: наш путь разветвляется потоком вариационных рядов (1943).

Честолюбие - великая способность человека! Из-за честолюбия люди бросают службу, чтобы сделаться полётчиками в цирке, под куполом, над сеткой, которую сами же плетут.

...Я обожаю - балаганы, карусели! Мне нравится «бедный прогорающий цирк» - яркий попугай у равного шарманщика!!

Я попробовал как-то делать иллюстрации к своим фантазиям. Не тут-то было! Ничего не рисуется! Всё ещё не пришло для них время. Или - уже давно - давным-давно - прошло! (1948).

...Леонардо да Винчи в своём фиолетово-синем плаще, расшитом голубыми и синими камнями, белыми шнурами и серыми шёлковыми листиками, будет идти рядом с Вами.

Его белой бородой, водопадом спадающей по складкам плаща, будет играть ветер.

Ваш красный плащ (цвета английской красной), расшитый золотыми нитями и шариками и украшенный розовыми лентами и бантами, - Ваши белые туфли из кожи трёхлетнего сиамского слонёнка, расшитые бледно-серо-голубыми пунктирами, - Ваши чёрные локоны будут приятно дополнять пылающим соседством холодную сдержанную мощь профиля божественного Леонардо.

Всего только половина восьмого утра, и лучи солнца освещают подошвы Ваших сандалий. Лучи солнца будут прогревать Ваши щиколотки и лёгкими возбуждающими уколами будут подталкивать Ваши шаги в сторону запада, по направлению к портикам, скрывающимся среди бушующих зелёных бугров, неистово кидающихся разсыпанными каскадами цветов в нежную бирюзу неба.

Под бледно-розово-сероватыми колоннами, сплетёнными из мелких песчинок, будут прогуливать группы девушек и человеко-пантерят...



ТРИОЛЕТ

Я сижу между лунных кратеров
и поглаживаю рукою шероховатости
знаменитых океанов.
Солнце накаливает мою кожу
и я обдумываю композиции
своего умопомрачительного эпоса.
Я сижу между лунных кратеров
и поглаживаю рукою шероховатости
знаменитых океанов.
Знаменитые пупырышки лунной поверхности
отбрасывают тени. И в одной из них
я различаю фигуру
сидящего на серебряном песке
Великого Костюмера.
Его тело перепоясано крепкими,
чуть видными для глаза нитями,
сплетёнными из пылинок гранита.
Я сижу между лунных кратеров...

В квартире надо мной... поселился Герман Миньковский. Он приехал, вероятно, ночью, когда я спал.

Однажды утром я его увидал, когда он с синим полотенцем на шее поднимался к себе в окно по особой тончайшей лесенке. Надо сказать, что на Марсе в домах не было дверей, а лазали по тонким особым витым лесенкам в окна. Так что и мы придерживались там бывшего марсианского обычая...

Знаменитый математик вежливо поклонился мне и сказал, что давно мечтал со мною познакомиться. Как-то раз, случайно совершенно, так лет около пятидесяти тысяч тому назад, ему удалось прочесть один мой триолет, который ему очень понравился. Затем, уже сравнительно недавно, тысяч двенадцать назад, ему попались на глаза у одного знакомого два моих эскиза и графика - удивительная композиция Ювелирной Звёздной Чаши. В особенности ему показалась интересной эта грязновато-песчанистая гамма одного эскиза масляными красками.



Знаменитый математик попросил меня показать ему другие мои работы. Я показал серию своих новых офортов, над которыми как раз работал. Иллюстрации к своему чудовищному роману. Миньковский рассматривал эти офорты и восхищался: «Вот, наконец, я увидел то, о чем напрасно мечтал в былое время. - Это восхитительно», - говорил мне Герман Миньковский. Он смотрел также и на мои работы красками на холстах и не знал, чему отдать предпочтение - изысканности ли моих цветовых гамм, или необычности моей конопатой фактуры холстов, или безграничной строгости моих графических листов.

Он пристрастился к рассматриванию моих листов и холстиков и, чуть ли не каждый вечер, навещал меня и подолгу болтал до поздней ночи, сидя в лёгкой качалке около раскрытого окошка.

Однажды он сказал мне, что этот молодой человек, так похожий на юного Александра Блока, который каждый вечер проезжал на жирафе мимо моих окон, знаком с одной особой, что живёт наискосок против его, Миньковского, квартиры. Она сидит... по целым дням у окошка и каждый вечер обменивается еле уловимыми знаками с этим молодым человеком в ковбойском костюме. И когда она подаёт чуть заметный знак, рожки жирафа, на котором едет молодой человек, слегка потухают и горят золотым тлением...

Фонтанам, каналам и водоёмам я отдаю немалую роль в своих небрежных проектах. Ряд пристань и набережен, ряд мостов и всевозможных лодок и трирем заполняют моё воображение. Их странное оборудование поблескивает неожиданными цветосочетаниями. Линии их капризны. Вода повторяет их искривлённые изломы. Пропорции - текущие, изменчивые - дробятся и перебиваются мелкими струйками. Вечер тихо зеленеет и розовые облака тонут среди черных и золотых перекладин. Пурпурные паруса пересекаются медово-желтыми и бирюзово-синими и голубыми полосами яхт, задравших кверху свои гордые шеи и носы.



Фиолетовая тишина и рябь водных просторов беспокоится белыми вёслами.

Мерно покачивается край лодки или триремы. Огненный стеклянный шар купается гигантским пузырьём в волнах, подпирающих его широкие блестящие радугами и перламутрами бока. От Луны и от Марса, и от Венеры стекают крутые водянистые дуги, и среди них нежный юноша в черной шляпе, на пятнистом жирафе верхом, проезжает и дергает за повод жирафа, вытягивающего голову к отдалённому Сатурну. И края кольца Сатурна пожираются челюстями длинношеего жирафа. И капли, блестящие отражениями, падают десятками миллиардов с диска на диск, с площадки на площадку, с трубки дома на площадь, на ограду, на парапет канала. И дымятся вечерние костры и бесчисленные огни зажигаются вдоль Трубочной набережной.

И Герман Миньковский складывает мои листы в папки и удовлетворённо хмыкает...

Луи Виоль - юноша в ковбойском костюме - провожает глазами Тони Грай, любовницу великой Лаватер-Ли, повелительницы планет...

Расправа с изменницами-любовницами у Лаватер-Ли коротка, она топит их с помощью неотвратимого и неуклонного падения множества капелек, капающих им в рот с высоты. Она их привязывает навзничь к плитам зала и открывает краны на верху сферического потолка.

И Тони Грай не осмеливается заговорить с Луи Виолем. И тот осведомлен об этом и боится навлечь на Тони Грай беду. И лишь издали с высоты седла смотрит в её сторону, и жираф нетерпеливо жуёт кольца Сатурна...

На берегу он объезжает высокую скалу, склонившуюся над прудом Урана. На скале высечена надпись полуторасаженными буквами: «Здесь покоятся кости великого Фортегуэрро Джантруфетти, гроссмейстера линейных искусств эпохи 4392567223- го года.

И астрономические цифры врезаются в уме Луи



Виоля. Он тихо проезжает мимо скалы и по каменным лестницам осторожно съезжает на своём жирафе вниз, и плывёт по синему заливу, и бледные гребешки волн бегут ему навстречу, и розовые облака бегут по радиусам широкого зелёного веера, раскинутого над водным простором. И дикие гипподактерии кусаются и дерутся в волнах, вздувая их буграми...

Я совершенно теряю голову.

Эти водяные картины топят меня в своих голубых и розовых сияниях, и я теряю самоощущение. Будто уже есть только эта одна зелень и серые разводы воды и жемчужины капелек. И они капают, льются перед моим носом, и дождик мочит мне шкуру, и она покрывается пятнами. И Я лежу на камне, под которым великий Фортегуэрро Джантруфетти нашёл себе вечное успокоение, и мой хвост самопроизвольно бьёт по скале.

И Луи Виоль подъезжает ко мне, медленно поднимаясь из тёмно-серой тускло поблескивающей поверхности бассейна Урана. И вода блестит на его ковбойском костюме. И он спрашивает - как ему быть. И я выпрыгиваю и лечу ввысь, и хватаюсь хвостом за полосы Нептуна, и лижу языком поверхность водоёма, и отвечаю заплетающимся языком юноше, что ему надо ехать на берег моря и сторожить огни на берегу до моего прибытия. Я же должен бежать по крышам трубочных набережен к отдалённым синеворанжевым заливам.

Я побегу, как проклятый, по крышам Трубочной набережной. Буду перепрыгивать с трубы на трубу, буду перескакивать промежутки между крышами и сочинять в уме по этому случаю триолеты.

В животе Луны журчат ручьи.

Это игра контрастов,

Гармония из хаоса.

В животе Луны журчат ручьи.

Эстеты с рыбьими головами на плечах

Сидят за большим столом, над которым



Несутся египетские колесницы,
И ведут разговор о картинах Матисса.
Голубые муравьи
Дуют в саксофоны и стучают
Своими когтями в медные тарелки
И необъятные барабаны.
В животе Луны журчат ручьи...

Лунный серп зазолотился в дробь мельчайшей ряби, внизу у меня под лапами между отдалёнными трубами. Светлые триремы гордо выпятят свои лебяжьи шеи. Басовые струны контрабасов низко захрипят и шум отдалённого города и огненной пристани низкими протяжными нотами растянется между моими скачками.

...Картины совершенно апокалипсические, дикие и безумные побегут перед моими глазами. Я увижу на поверхности волн, заливающих фиолетово-красное, серо-зелёное, бирюзово-черное море крыш, – бледно-розовые и бледнозелёные туши жирных борцов – с бритыми головами и с роговыми очками на носах, – дающих по шее один другому, в пылу страстных схваток друг с другом вышлёпывающих «итальянские макароны» и кувыркающихся в малиновой пене волн, освещённых пылающими факелами, блистающими из глаз разъярённых электрических скатов. Грубыми ударами пухлых лап демонстрируются невиданные затрешины по мокрым спинам, и игривые «тур де бра» и «двойные нельсоны» подольют керосина ожесточенного соревнования в безумные схватки разъярённых самцов, сражающихся над корявыми крышами уснувших в синем тумане кварталов.

Лучики света побегут раскалёнными ядрами в черные облака и белые струи китового уса пересекут всю набережную и проглотят море с ярко пылающими звёздами и тёмнокоричневыми неудобоваримыми стальными переплетениями угрюмых мостов, перекинутых от одной глиняной башни до другой через розово-синие кусты бамбуков, стреляющих рыжими



стрелами в раскалённые до желтизны трусики великой Лаватер-Ли, Повелительницы планет, купающейся в малиновом заливе моря Киприды на самом маленьком из островов Цитеры. Шелковыми сетками бронзовые юноши выловят планету Венеру из эфирного блюдечка солнечной системы. И бросят планету Венеру в ступку, сделанную из промокательной бумаги, и истолкут в мельчайшие части, и развеют их по ветру. И ветер сплетёт из пылинок мягкие тучи саранчи, и саранча полетит над медными тарелками полей, изрытых яркозелёными потоками пенящейся азотной кислоты. И коричневые туманы прочистят нам лёгкие, и мы вздохнём, как угорелые пифии. А потом будем пить чай большими стаканами до одурения. И, прочистив своё сознание, займёмся переписыванием весёлых триолетов...

Молодой ковбой слушал мои вдохновенные пророчества. А жираф, опустив голову вниз и просунув шею между стоящими на берегу синими обелисками, лизал прибрежные гальки, и они жгли мои глаза своими яркими насыщенными огоньками. Я хлопал своим хвостом по трубам, и трубы извивались, подобно коряворогим жукам, поблескивающим своими красно-коричневыми панцирями. Длинноногие комарики, растянувши свои конечности на десятки километров, скребли морское дно своими усиками. И на поверхности синего залива вспухли буграми синяки от комариных укусов.

Ковбой снял шляпу поклонился мне с насмешливой улыбкой. Ветер развевал концы черного платка, повязанного на его шее. Зелёные осьминоги пытались обхватить своими щупальцами рожки жирафа. Но рожки, раскаляясь в зелёно-золотые отливы, сжигали щупальцы. И голубой дым стлался от обуглившихся кончиков осьминоговых присосок.

Мои усы прокалывали стены домов и в них зажига-



лись огненные дыры. Фиолетовые клубы дыма стлались по внутренностям комнат. И набережная лежала свинцовым слитком, который сверкал и дымился.

Чёрные рыбки плескались в бледноголубой воде, и я бил их своими пятнистыми лапами. И красивые мальчики и девочки, эти будущие леопардо-люди, клали их на розовые тарелочки и разносили по всей набережной. Жираф встал на задние ноги и танцевал, подняв голову к Луне, повисшей на середине неба неподалёку. А девочки и мальчики гирляндами кружили вокруг Луны и жирафа.

Басы медных труб крякали, и стаи птиц щебетали и прыгали по серосинему небу.

Дворец Короля Электрических Кабелей утопал в золотых языках пламени...(1934, 1963).

...Что привлекает в авторе, так это полное отсутствие чувства меры! За что бы он ни взялся. Подумает ли об иллюстрациях к роману, так возникает желание посвятить этому делу пятнадцать лет своей жизни... Если у него кристаллы - так уж непременно какие-нибудь тысячекилометровые. Если пошел вопрос о деторождениях, то дети автора начинают исчисляться миллиардами. Если уж воздержание - то какое-то невероятное, а коли любовь - то не менее десяти тысяч в год! Автор не знает ограничений! Он действует и мыслит как некое дитя природы...

В искусстве имеют значение намерения, а не достижения. Художник прежде всего мечтатель... именно мечтания и намерения художника отличают его от рядовых последователей и подражателей Мастера. Им-то нет нужды брать высоты, на которых можно сломать себе шею.

...Но искусство – есть царапина дикаря, детская игра, и мифы – стадион будущего!

Люди не дикари, но далеко не все из них занимаются



искусствами. Люди станут людьми лишь после того, как все сделаются художниками! Этого ждать долго. Мне ничего не остаётся, как в ожидании этого отдалённого будущего плести свою корзину дикаря. Свою Аполлогию!.. Я вымажу сплетённую мной корзину грязью, облеплю глиной, обожгу на солнце, на горячем песке и сотворю миф о своей жизни!.. (1928-29, 1963).

В каждом атоме мира будет отныне чувствоваться моё присутствие, взгляд мой будет излучаться электронами тончайших туманностей! Эти туманности будут окутывать планету подобно шарфу Колумбины – или покрывалу Изиды!.. Я – тот инструмент, с помощью которого... (1948).

Он так надеялся прожить 195 лет и даже был уверен, что сможет прожить ещё дольше, «если, конечно, удастся достать запасное сердце, лёгкие и пр. ...чтобы... работать и воплотить тот рой мыслей и образов, что клубится и распирает мозг». Что ж, вот уже и прожил он среди нас 110 лет, и всё так же волнует его явление, всё так же заставляет поднять взгляд вверх и ощутить себя частью Великого Космоса. И хочется верить, что наши дети эту связь не утратят, как бы ни старались пигмеи духа и властотолубцы окутать их суетной жаждой потребления: ведь ради них художники делали свой выбор, отдавая жизнь свою Мучительному Дару.

Однажды, в один из самых тяжких периодов жизни своей, когда ему не на что было и поесть, Сергей Калмыков воскликнул (записал): «Как мне нужны деньги... будь они у меня, я стал бы Меценатом, не хуже Павла Третьякова!»

Да услышит эту заботу уши (и деньги, конечно!) имеющий. Услышит ли?

Ибо без души, без искусства и хлеб не вырастет...



ИСХОД

(День последний - день Первый)

(Рассказ для романа)

Голоса за дверью

(...) Стук в дверь был настойчив, но и деликатен.

До этого стучали иначе. И голос, да-а, голос знакомый, он не пугал, и в нём звучала тревога, кажется, и в самом деле к нему обращённая... и просьба - без этой устрашающей требовательности, устрашающей, но и поднимающей в душе волну непременного противодействия, злости... а в этом голосе не было уверенности в своём праве на такую требовательность (...) И ещё... ещё услышал он то, что заставило его поверить в искренность, в отсутствие враждебности, к которой он давно привык. В том голосе за дверью сейчас звучала привычная нотка театральности, что всегда была ему понятна самому, и близка... да-а, близка.

Он ушёл в свои мысли и забыл о стуке и голосе (...)

Да, я театральный человек, поймал он свою мысль, и легко перенёс своё тело в Рим, увидев себя в каменной купальне... (Здесь.....)

Новый стук и мольба: «Сергей Иванович, я прошу, откликнитесь, вы живы ли?» - вернули его к со-



стоянию нынешнему, почти уже спокойного, почти до гармоничности равнодушного ощущения себя частицей необозримой вселенной... вот если бы ещё не боль, он так хорошо знает, как будет по-живому больно, попробуй он встать из ванной, где тёплая вода принимает в себя эту боль, растворяет её, не даёт сместиться этой боли в ноги со спины... и с болью приливает к голове бессильное бешенство памяти, беспощадной уличной, подворотной памяти, возвращающей, сохраняющей жгучесть унижения, унижения безответного, тянущего из памяти за собою и другие оскорбления чуть ли не с самого детства. «В семье не без урода - Я всегда был уродом» - эта строчка из собственного дневника выплыла, он написал её старательно и немного кокетничая тогда перед собою своей собственной точностью определения.. да, да-а, а урод - это в сущности просто непохожий, а непохожих бьют даже птицы - если не поклоняются, конечно, и не подражают - это он проговорил вслух, путая собственный испорченный долгим молчанием голос с голосами, слышимыми за дверью, с привычными звуками скрипа множества голосов недовольных им - конечно же, им: сумасшедшим соседом, недовольных дверей на площадке и людей, за теми дверьми живущих, а сейчас, верно, тоже вышедших на стук в его... обитель? крепость?.. нору ?! убежище ?! - в его Вселенную, вот! Сейчас же тот театральный голос привычно перекрыл площадочную разноголосицу, и он вспомнил лицо маленькой певицы.

- Валя? Это - вы, - ему легко представить её, маленькую, ладненькую, простоватенькую и добрую, у неё неожиданно сочное колоратурное сопрано, да - и в бараке она жила рядом, а теперь в соседнем доме. *(Я так не хотел переезжать оттуда, с какой стати - мне вовсе не нужны были их газ и электричество, у меня и так глаза болят, а при свечах цвет глубже, и ездить далеко...)* Но не могу же...



нет, не могу я открыть, потому что в ванной сижу, да, нет сил и желания, желания нет, хоть надо бы встать ведь когда-то, у него столько дел, столько начатой работы... а вот... мальчишки побили камнями, и ноги отнимаются, а спина болит, и ослаб, ослаб. *(Зачем мне кого-то видеть сейчас, когда я вижу иные миры... и Леонардо... - ОБДУМАТЬ - В.К.)*

За дверьми притаилась явственно (?) слышимая тишина. Тишина эта ловила (улавливала?) его мысли, и он постарался внятно выговаривать слова, коль скоро они всё равно произносились. *(Он поправил челюсть языком, ему вспомнилась боль и как боялся он рвать последние зубы...)* У этой тишины выросли такие уши, что в ванной зарябила желтоватая вода - ей передалось нетерпение, просто зуд в руках от желания вот сейчас, в этом полусвете, чуть проливающимся из окошечка на кухню, набросать на бумаге эту ушастую тишину.

Нет-нет - рано похоронили!

- И вода остыла... нет, нет, нет - вы только не слушайте, это ерунда, это вам в театре сказали?.. Уже и похоронили? *(но мне некогда, я не могу умирать сейчас: мне ещё надо сделать миллион этюдов...)* Две недели, да-да - две недели не выхожу, но учтите: я должен прожить сто девяносто пять лет... это совсем немного для меня, мне надо больше, чтобы столько сделать, сколько я задумал, вы ведь знаете - я так и не седею, а это верный признак, - он дернул головой, потому что давно не подкрашивал волосы, а природе должно помогать - у него хватает глубокого дыхания и сарказма и на себя, да-а, хватает, это пусть все другие думают, что он никогда не улыбается и всегда угрюм, он же смеется - всегда-езде-над-всем, внутри себя смеётся, он очень легкомыслен и уж никак жаловаться не будет, не станет... *(Это хорошо, что мне не везёт в жизни, если бы везло, я давно бы помер...)*



...Снаружи заговорило сразу несколько голосов, потом она, эта Валя из театра, высоко сказала, чтобы его не тревожили, а она после спектакля заедет и молоко привезёт, да, голос певицы притушил все остальные: «Сразу со спектакля, Сергей Иванович, я к вам, дорогой, только молоко привезу и надоедать не стану, я так рада вас слышать!» (...)

СВЕЧУ он зажигать не станет, зачем? Сил оказалось мало, а в сердце мокрой коричневой лягушкой вползало беспокойство, Не-ет, не то, повседневное, обычное - но пустое, отбирающее у него власть над временем. Это бывало, бывало... и всё хорошо будет, «сейчас» - так легко проходит, я сумел уничтожить это «сейчас» в своей работе, гениальный художник должен отвергнуть «сейчас» - потому что в космосе есть «всегда». (...)

В Космосе и его окрестностях, по привычке добавил он. Да, именно мальчишкам легко обидеть художника Калмыкова. Всем некогда услышать (.....) А мальчишки, как вся природа: она - замкнута на себя, она очень отзывчива на влияние, и потому зависима, и потому жестока в круговой поруке своей, как и податлива, впрочем, на толчки и разрушение. И никто не хочет слушать меня, а ведь каждый художник должен овладеть временем, как он им сумел овладеть, И жить, сколько необходимо... вот он уже пережил Леонардо да Винчи и Рафаэля, потому что ему надо было вместить в себя и их, найти своё. Начатое далеко до него и продлевающееся намного после него. Главное - не топтаться на месте, и - не терять легкомысленности, да-а, не терять: чтобы с ним не произошло то же, что с Кузьмой Сергеевичем, его учителем... Впрочем, Мстислав Валерианович оставил в нём больше, хоть рябчиков-то ел у Петрова-Водкина, да одно расстройство получил, желудка расстройство и... потерю времени на пресловутую «форму»... и не натурщиц бы срисовывать, а Россию из окна вагона... Но равновесие



углов и линий я сумел нарушить в своих пропорциях и удлинил их до бесконечности, поймал-таки за хвост четвёртое измерение! (Генрих Миньковский, конечно же, гениален в своих... и мы с ним часто беседуем в той моей тетрадке.....)

(...)

Я был всегда...

Ему и зеркала сейчас не надо: он знает себя по тем автопортретам, что получились полтора месяца назад. Он намеренно подсветил тушь сине-розовой акварелью, это его графика, только его рисунок, и кто спутает его руку... а цвет также способен ввести время - движущееся, непрерывное время. Не зря в детстве, вместо лазания по крышам или там игры в бабки любил он закапывать в землю стеклышки, разноцветные стеклышки ... часами смотреть на них: цвета менялись, двигались вместе с землёй, вместе со временем, (весь мир двигался куда-то в ощущимом коловращении, он тогда еще не задумывался над тем, куда же он движется и куда несёт его этот коловорот, но кожей ощущал себя частичкой этого разноцветного движения...) и само время останавливалось, (или теряло смысл)... будто застывало в этих стёклышках, исчезало и вновь неведомо откуда возвращалось ко мне... И видел я анфилады зал... (Здесь - неведомые острова, трансформирующиеся в «Остров Бенвенуто Челлини» и пр, с Леонардо, Великим Костюмером, человеко-пантерами...)

Тогда-то он, наверное, и пред-почувствовал эту способность времени – уходить и возвращаться, вперёд-назад, до бесконечности унося его в прошлое и будущее; тогда-то и пред-узнал он, что не только он сам появился на свет потому, что был Пушкин и был Леонардо, но и они – были потому, что предстояло появиться ему, Сергею Калмыкову, это его личное пред-появление необходимо подтолкнуло выброс других гениев... вперёд-назад,



да-да – вверх, где нет времени, и где всё – время! Нет, не льстил он себе в этих автопортретах, (не для своего самоуспокоения в слепом тщеславии перед дворовым шёпотом...), не для самоутверждения писал он их и даже не для самопознания (.....) , как не льстил себе Леонардо в «Джоконде»... нет! (.....)

В самом деле, продолжал размышлять великий и скромный Лай-Пи-Чу-Пли-Лапа, приходится изумляться, когда подумает о сущности природы красок - о том, что они представляют как вещь в себе. Это истине окна в прошлое, настоящее и будущее.

Возьмём Красный цвет. Это зеркало, глядясь в которое мы видим - пожар древней Трои, гибель миров, пылающие Солнца, внутренность вулканов и т.п. Со всех сторон несутся сигнализации и отражаются в красной краске. Огни революций, кровавые зарева всего мира.

Розовая краска... Это розовые туманы, это лепестки розы, щёки юной Девы, розовая кисея, ковры, каменные стены и цветущие деревья...

Или - Голубой цвет. Водяные хляби, это небо, это ноктюрны, это легенды, снега, зимние вечера, это выси гор. Не видя вещей, мы их видим: это путешествие Одиссея, бег парусов, чешуя рыбы.

ОН С ТРУДОМ выкарабкивался из ванны, кривя рот в усмешке – по привычке попытался иронизировать над собой. Мокрая старая мышь! – не-ет, шалишь, только не допускать мыслей о старости... Валя принесёт молоко и он вернёт себе бодрость. Не раскисать! – работы у него... Сколько же он просидел в ней безвыходно? Три дня, пять? Неделью? Он утратил, кажется, ощущение дня и ночи, но глянув в запалённое окно понял, что пережил ещё одну зиму, а вот пенсии не получал давно. Но голода тоже не ощущал, одна отупляющая слабость... он, пожалуй, даже строчки записать не сможет, а ведь давно ничего не писал – так, несколько наброс-



ков в кругах, которые надобно отправить лунным жителям! Но и усмехнуться этим мыслям, всегда успокаивающим его прежде, художник не нашёл сил. Ну ничего, Валя принесёт после спектакля молоко, молоко даст ему новые силы, и он заработает, как никогда! И мы ещё посмотрим! Они ещё узнают художника Сергея Калмыкова!..

А ведь скверно что-то, на этот раз и «самоирония» не отлаживает, не возвращает бодрости духа... она могла бы и теперь принести молоко, а потом уж пойти в театр, а так - что ж, долго ждать, это Валя на репетицию торопилась, Не-ет, у этой певицы такой покладистый характер, она вечно кого-нибудь жалеет... потому и сойдёт со сцены незаметно, а ведь он помнит ещё Карсавину, вот уж той слово было... всё вокруг крутилось! (.....) И, кстати, ему вовсе не нужна чья-то жалость, он всегда сам выбирал свою дорогу и мог бы в золоте купаться, согласись... (Здесь, наверное: «я мог бы быть хорошим семьянином, если бы...» и т.д.) Но Калмыков не так прост, они хотели бы его запрячь в эти декорации на все времена, а он р-раз - и на пенсию... на пенсию сбежал! Ему и своих дел за двадцать тысяч лет не переделать! А меньше он жить вообще не согласен, желудок вполне может ещё переварить гвозди и камни, а сердце ещё и не чувствуется вовсе! И голод ему всегда был ни почём! (.....)

Он оглядел комнату, заваленную его фолиантами и картинами, газет он давно не покупал, а эти прошлые – посерели и слежались. Давно не тронутый треугольный мольберт покрылся пылью, но она очень интересно высеребрила зелёные, оранжевые, алые пятна... этот оттенок надо использовать, впрочем, это коровинская гамма... или сомовская? «В мастерской художника» – Константин Коровин. Не-ет, в его-то мастерских, в калмыковских (!), есть раскалённость космоса, это никому не удавалось...



Шум на площадке, И опять перед его дверью.
Может Валя всё же принесла молоко? Но женщины
так не стучат.

Все мимо, мимо...

(.....) Нет, нет, нет не зря он отказывался перезжать в эту квартиру. Там в бараке (он, барак этот, считался общежитием оперного театра, а прежде был, кажется, конюшней, но в нём жили и семьями, в основном «второстепенные» (!?) работники, из обслуги, или музыканты из оркестра, а иногда - временно - и певцы, но не «примы», разумеется, тем сразу находилось жильё в другом доме, он так и назывался «Домом работников искусств», что на Массанчи недалеко от Никольского храма и базара...) было хорошо и все знали его (даже к его чудачествам привыкли и, он прекрасно сознавал это, относились снисходительно), а здесь так далеко от театра - во всех смыслах далеко, в географическом и душевном, всё незнакомые и чужие, зачем ему и знакомиться с ними, и почему им так хочется заглянуть в дверь, Они и помогать-то хотели бы из одного любопытства, а вот послушать, когда он пытается говорить важные вещи или рассказать о своих теориях, которые касаются всех... да, всех! Помогать ему не надо, он всю жизнь обходился своими силами и ни в ком не нуждался в этом смысле, это он мог дать всем многое, открыть им глаза на Космос и Красоту в нём, и Гармонию... Вот и кто-то из театра тоже приходил - из любопытства или... чтобы картинку получить, как будто он такой богач, что может дарить десятки тысяч! Сейчас его картины не меньше стоят, а через время... Я утру всем нос! «Вы даже ключа казённого не сменили в дверях, Сергей Иванович?» – спрашивают. Ишь, «не сменили» - такого «липтонца» (....) он хорошо уел тогда, так ему в глаза и сообщил: мол, никто «с улицы» не полезет к нищему художнику, для таких с улицы здесь никакого интереса и нет, хотя когда-нибудь, да-а – когда-нибудь,



вы уж вспомните тогда мои слова! – через миллион лет все люди станут людьми, всем надо стать художниками, или, скорее, пробудить в себе художника, чтобы понять смысл и гармонию, только тогда люди станут людьми, это Оскар Уайльд сказал как раз накануне рождения Сергея Калмыкова!.. (.....) И скоро, когда гений Калмыкова станет известен, я уже не смогу быть хвастуном! - а как мне не хвалить себя, когда все ругают или хихикают, или молчат и глаза отводят, будто стыдятся, я же всё вижу, а сами косятся на мои работы, хоть на выставки и не пускают, готовы их растащить, как только я умру! Даже знаю, кто первый потащит - а ведь говорят об идиотизме, о сумасшествии... впрочем, что такое «скоро» с точки зрения Вечности - несколько тысяч лет и неужели настанет когда-нибудь такое время, когда его - меня! - не будет?!... - а я вот буду, всем им назло буду и их переживу. (....) Сил у него хватит!

(...) Но вот сил-то уже и не было. Не было сил как-то здраво поведи себя даже и в том юродстве, которое набросил на себя так давно и столь удачно, что это давало ему желанную свободу оставаться собой. *(Когда же это произошло? Еще в Оренбурге? Ох, как разозлило меня сказанное ... Никитиным? - «Ты знаешь, появилось выражение - «калмыковщина»!» Я принялся ругаться: сволочи, дураки... И подумал здесь же - удачная мысль, Сергей Калмыков хитрее их всех, потому что они мелочны, а мне надо защитить свой гений... пусть думают и говорят, что хотят, я им подкину «дровишек в огонь», а потом ещё посмотрим, кто над кем посмеётся!)* И вот теперь его выбило что называется из колеи ... и теперь, когда дверь неожиданно распахнулась, он растерялся и провалился в эту старческую истерику, в тот страх перед чужими (?..) людьми и всяким «делопроизводством» («Да, я трус и могу только показывать дулю в кармане, но я могу это преодолевать, когда касается моей работы!»), он



уже не понимал от страха, что происходит и куда его забирают эти люди: он ведь никому не позволяет входить в мастерскую, а ведь здесь мастерская великого художника, Великого Костюмера (.....), его ценили Леонардо, «желанный» Челлини, Добужинский, он даже подарил свой альбом наркому Луначарскому!.. И почему...

(Вариант: «Изысканный Гений» - от «особого, отмеченного, отысканного и что важно, отмеченного и обреченного на сложный путь, но и способного состояться, если будет делаться своё - вопреки... «Это хорошо, что мне не везёт в жизни. Если бы везло - я давно бы помер!.. - к размышлению о названии)...

Тётки были злые, почему-то здесь было много именно «тёток»... они всегда отказывались его выслушать и тыкали в него пальцем (*им, наверное и в детстве не говорили, что показывать на что-либо пальцем - дурно, «моветонно»*), и упрекали его даже в том, что он отказался от газа и не готовил себе горячую пищу, а ведь они даже ничего не понимали в настоящей еде и в том, что именно молоко – самая универсальная пища жизни... это их дети дразнились и кидали в него камнями, и эти тётки уже никогда не поймут, что проходит время сладострастия пола и наступает эра сладострастия зрения, именно зрительные наслаждения и переживания заменят нам наш пол как средство удовлетворения нашей страсти к передвижениям из прошлого в будущее, именно в живописи... и «Гроссмейстер линейных искусств» Сергей Калмыков трудится для этого, для них... которые выглядывают из-за плечей этого милиционера и доктора, это ведь доктор - в белом халате?.. а спина пройдёт, пройдёт, в больнице он был давно, после войны - его спас тогда своей операцией профессор Бакал... *(Смешно: милиционер спрашивает про кого-то – пьян ли, так зачем же меня-то беспокоить, Сергей Калмыков никогда не брал в рот спиртного, ему не нужны чужие эмоции, его свои*



переполняют, и средств для этого нет, лучше конфеток бы купить... иногда он позволял себе покупать ириски, да-а...). Почему ему не дадут надеть брюки, ведь нынче придёт Валя, она добрый человек и у неё неплохой голос, и он обязательно расплатится с нею по-царски, они ещё не знают, как он богат, хоть ему и дали такую мизерную пенсию, а Валя принесёт ему молоко и он сможет продолжить свои композиции...

Все мы...

- СОВЕРШЕННО не критичен к своему состоянию, - кривит молодая докторша губы в сторону дежурного врача, уже посматривающего на часы. - А истощён... дистрофия полная. Алиментарная. Нам такое о блокадниках показывали в институте. Да, гений, конечно же, гений!.. Наполеон? Или домоуправ? (...)

- Шизофрения. И старческий маразм. Словом, дай ему бог, чтобы ещё и склероз присутствовал... и нам бы его не помешало: дабы о маразме не помнить! Ну, да ладно: словоохотлив и неостановим, сама узнаешь, ещё и сердится, если перебить попытаешься. Сам заявил, что может говорить «миллион лет подряд»... и всё в подобных масштабах, не меньше! Якобы гениальный художник... Манерен и очень при этом обстоятелен, всё как надо. Пойду...

- Шиз... если не паранойя!

- Все мы немного шизики... (...анекд?) Он тебе ещё всего «Евгения Онегина» прочитает и с космосом его сплетёт. Только дай! Или Вийона... ты знаешь кто такой Вийон? И от Эйнштейна камня на камне не оставит, так-то. Все люди, мол, в основном глупцы, потому что лезут не в своё дело - хотят мир практически переделать, а сделать это могут только художники - в этом роде что-то... а он, конечно, бессмертен... Вот кормить его малыми дозами...

- Хорошо. Укол ещё, пусть поспит. Все они здесь гении, он себе как раз найдёт слушателей!..

Он и в самом деле попытался разговаривать



с другими больными, заключёнными в эту «юдоль скорби». Но те уходили, никак на него не реагируя, словно и не видя, они тоже были заняты только собой. Один было остановился и хихикал невпопад, в движении губ, в их извивах, скруглениях, подёргиваниях находил его слушатель свой интерес, нет, нет - не как глухонемой, что пытается разобрать смысл слов по губам, но весь интерес находя в этом самодовлеющем действе губ, как наблюдал бы за муравейником. И Калмыков отошёл, раздражённый. Ему не хватало бумаги и карандаша, но их отчего-то не хотели ему дать, Всё тоскливее и бесполезнее становилось ему..

(... Это позже явилась легенда, что там, в психушке, он написал много картин, из которых гл. психиатр сотворит целый музей... и исчезнет музей вместе с психиатром и картинами. Впрочем, он и сам, художник Калмыков, творил легенду своей жизни... Пусть потом говорят обо мне на всех углах и перекрёстках...)

ОДНАЖДЫ он зашёл в комнату и увидел, как его скорбные собратья здесь работают. «Исполняют полезный и посильный труд», – пояснила медсестра, больше похожая на гренадёра, их он видел ещё на параде на Марсовом поле... *(как давно это было, будто в другой жизни, лучше всего о том времени в Петербурге и о самом Петербурге написано Белым в его романе...)*, эта могучая женщина приглядывала за пациентами и листала журнал. Ему предложила тоже попробовать - должно, мол, получиться, если художник... *(В чём он только себя не пробовал!.. как художник, разумеется, он может назвать себя счастливым человеком всю жизнь он занимался исключительно искусством!..)* Шла третья неделя его пребывания здесь, вот чего он не умел вовсе - ничего не делать, не записывать мысли, не набрасывать этюды, не говорить и выговариваться, ведь это тоже труд, а те



размышления, что распирают голову, всегда требовали исхода... эти мысли, картины, идеи, воспоминания теснятся сейчас в его черепной коробке, они распирают, разрывают его мозг, они ищут выхода... Так я и умереть могу, - придумал он вдруг теперь, - смерть... это мне рано, мне столько... я не верю ей сейчас, и здесь так вкусно кормят, никогда не думал, что это так возможно - и всё бесплатно... мой этюдник (?), моя пантера (и бегущая... ускользящая? - Муза)... но почему их нельзя привезти...

Он принялся за работу, собрал-таки три конверта, четыре, принялся клеить - было это бессмысленно, даже рука заболела. Он остановился, припоминая свои фолианты рукописные, не-ет - рукотворные, там ведь и рисуночки возникали, да-а, фолианты, которые он так любовно переплетал в жёсткие разноцветные обложки, какими гравюрами и акварелью украшал тексты собственных фантастических бытовых записей, да-да, эта фантастика происходит на каждом шагу, она живёт с нами и остаётся в воздухе после нас, этот мысленный след больше меняет природу, чем все ваши практические дела, товарищи халтурщики, начиная от Белинского, который подбросил нам уродство соцреализма, и кончая этим Дейнекой с его прямыми линиями... в ад... а куда ещё может привести самоуверенная академическая глупость и догматика!

Он засмеялся, (ему показалось - очень легко и весело, так что все должны понять, какая это чушь...) хоть и походил этот смех на скрип или всхлип, дежурная сестра подняла голову от журнала: не отвлекайтесь, больной, работайте, или не получается? Тогда отдохните и успокойтесь... От чего успокоиться... упо-кои-ть-ся?.. а ему вот неожиданно припомнился тот комический случай с одной его книжкой, которую решил он посвятить поэту Всеволоду Рождественскому, давно, до войны ещё, кажет-



ся, и тоже из Питера, кажется у него даже книжка стихов была. Посвятить и подарить свою книжку с замечательными рисуночками своими... как подарил он тогда в Оренбурге молодому человеку, ученику Мейерхоolda Вале Плучеку... (который удивительно танцевал чарльстон на летней эстраде, а потом почти всю ночь мы говорили и он слушал меня, не перебивая). Акварелью и тушью рисуночки! И оставалось дорисовать всего-то пару сюжетиков! Но здесь увидел его, поэтову рецензию в газете, где тот недостаточно восторженно отозвался о моих декорациях к операм. Разумеется, я пришёл в бешенство! И на клочки разнёс тетрадочку, пока не успокоился! Но вскоре Рождественский вторично появился в Алма-Ате и теперь недвусмысленно громко похвалил мои декорации к «Князю Игорю». Они и в самом деле хороши, я вернул им время, а по цветовому решению они перекликались с Голвиным. Переменил тогда гнев на милость и единым махом в один день написал другую, да вот прежних рисуночков уже не было... другие да не те!.. Нет, ничего не выходило с этими конвертами! Он сам не ожидал такой слабости: отчего-то неудача и скука так огорчили, что он упал лицом в эту грудку пустой жёсткой бумаги, которая зачем-то должна была стать «конвертами»... кому их посылать?! (... Здесь, м.б. - «Лунные письма»...)

«ТАЙНА сия велика есть».

Смерть. Кто познает её? Он-то ещё тогда - месяца два как? - да, первого февраля пристально посмотрел ей в глаза, сам посмотрел, не отводя глаз (не то что тогда у профессора Баккала или ещё прежде, в голод, там - обстоятельства, а здесь он сам хотел и вгляделся, здесь он был ху-дож-ни-ком). Пристально и с присущим ему сарказмом смотрит Ей в глаза и сам рисует их. Уж чего он добился, кроме нескольких изящных пустя-



ков, так это - рисунка. Даже Врубель не отверг бы в нём рисовальщика, а ведь Михаил Александрович Врубель самому Репину мог указать на неумение рисовать! Заглянул, заглянул сквозь все свои пространственные решётки: посмотрел Ей глаза в глаза, эти два автопортрета в два дня – серьёзная работа, и за бутылками из-под молока да розовым цветом не укроется это знание... вон куда мне пора. И поймут, поймут, если сохраняют. Впрочем, мне это теперь не столь и важно, он взглянул уже на этот мир с далёкой точки - Будущего. И Прошлого ведь тоже, они едины - как едина точка, будь она хоть величиной с космос.

А я покоритель этого Космоса! И я проведу концентрические круги внутрь его - со знаком минус, в прошлое. И круги наружу этого Космоса-Точки - со знаком плюс: в будущее. Там мы тоже встретимся с Леонардо, он обрадуется своему ученику!.. (.....)

– Успокойтесь, больной. Необходимо отдохнуть... а-яй, вот и обмочились опять: это от волнения, устали, знаю, устали... сейчас мы укольчик... и вашу гениальность через пару недель как рукой снимет... нет, сейчас нельзя одежду и карандаш вам ни к чему - доктор лучше знает, чем вам полезнее заниматься! И не надо сердиться, надо остаться в палате и отдыхать.

(...) «НЕ СПАЛ в течение всей смены ночью. Всё время простоял на коленях в постели. Молчал. Молчился под себя неоднократно... на вопросы отвечает замедленно, обдумывает. Мышление правильное. Настроение несколько упавшее. Поужинал.» (М.Б. - больше из «истории болезни»...)

Он лежал на кровати поверх одеяла и водил рукой по шершавой стене. Лунный свет бликовал по шершавостям, стена уплывала под взглядом в сторону и вдаль, от неё оставался лишь отвердевший под рукой холод, и этот холод делал отчего-то



само его дыхание разряжённым. Вошёл медбрат, он этого мужчины зачем-то прежде пугался, но сейчас на вопрос лишь слабо отмахнулся рукой. Хотел зачем-то рассказать о Родене, но только вновь погладил стену, пробормотав успокоительную невнятицу, чтобы не пугать дежурного, И тех, рядом в палате. «Не спите? Спать, спать!» Он скоро уснёт, теперь уже он это знает, недаром ему вспомнилось - не в прошлом ли году прочитал в «L'Humanité» или раньше: Роден умер в 77 лет от пневмонии, да-а, от пневмонии, а у него лёгкие тоже всегда были слабые и сейчас колет, трудно дышать, хотя температуры не чувствуется, И всё же... не от шизофрении же умер Роден, хоть его тоже частенько считали сумасшедшим, а какого гения не считали, какого художника оставляли в покое даже после смерти? Потому что его труд их тревожит, а хватаются за биографию - чтобы хоть как-то оправдать собственную нелепицу судьбы (...?). На могиле Родена поставили копию его «Мыслителя»... или оригинал? Всё, просто здесь уже своё отработал. Как сам написал когда-то, в шутку конечно, но и предваряя самую внутреннюю суть (или - итог?) своего бытия здесь, на земле. Нет, к чему лукавить - написал, когда сам хотел покончить с собой (.....): «Толпы молодых людей пойдут, проводят, весь город, все учреждения будут в трауре и печали». Ирония действительности!.. Да, нынче одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год от Рождества Христова, Роден умер ровно пятьдесят лет тому, значит - в девятьсот семнадцатом. На семьдесят седьмом году...

Дождь в городе.

Потом круговорот лиц ворвался в его ... не сон, нет, он сознавал свои мысли и ощущал шероховатость стены, и уж конечно не бред, а лица были узнаваемы и отвлекли его от знаменитого француза-скульптора. Всё были знакомые лица и не всегда добрые, но и с



ними он попрощался. А хотел бы он увидеть не их, нет. Ему хотелось увидеть вновь свои рисунки, картины, своих «Красных коней» и «Апофеоз...» с Ольгой Алексеевной, который он закончил-таки, хоть многое и мешало. (*Я смотрю на всё с далёкой точки будущего...*)

Был канун Первомая, «праздника всех трудящихся». И шёл дождь, когда Валю вызвонили из театра. Сообщили о Сергее Ивановиче: «Мы поможем, поможем... вы, как член месткома, да и уважал он вас...» Она ещё машинально отметила, что ни разу не произнесли «покойный», но всё равно говорили о нём в прошедшем времени, чего она никак ощутить не могла. Потом звонили из лечебницы, из больницы, видно в театре дали телефон, торопили, напоминали о празднике - до него надо, мол, «забрать тело». Это всё было настолько абсурдно (*нелепо*) и никак не сопрягалось с Калмыковым, которого уж никак не представлялось возможным даже вообразить каким-то безликим «телом», что Вале долго ещё всё происходящее казалось дурной шуткой или бредом.

Сумбурно, с глазами, отуманенными жалостью, дождём, поздним сожалением, что так и не собрался никто дойти до лечебницы - «разве это успокоение: мол, скорее всего не захотел бы никого видеть, или - чтобы его таким(!) видели» - она договорилась о катафалке. Да, прямо к больнице, в театре как-то не получилось... Сколько же лет он отдал этому театру?... почти тридцать?... (...)

Она купила простенький костюм, хоть и мелькнула-таки мысль: надо бы - как он ходил, в плаще, может, и с мольбертом или с его знаменитой сумой, чтобы сопровождали его Муза и её - Его! - пантера... Но поговорить было не с кем (*это потом объявятся «близкие друзья» и прочие «воспоминатели»...*), а в больнице насупленные служительницы холодного полутёмного помещения с пустыми металлическими столами, морга,

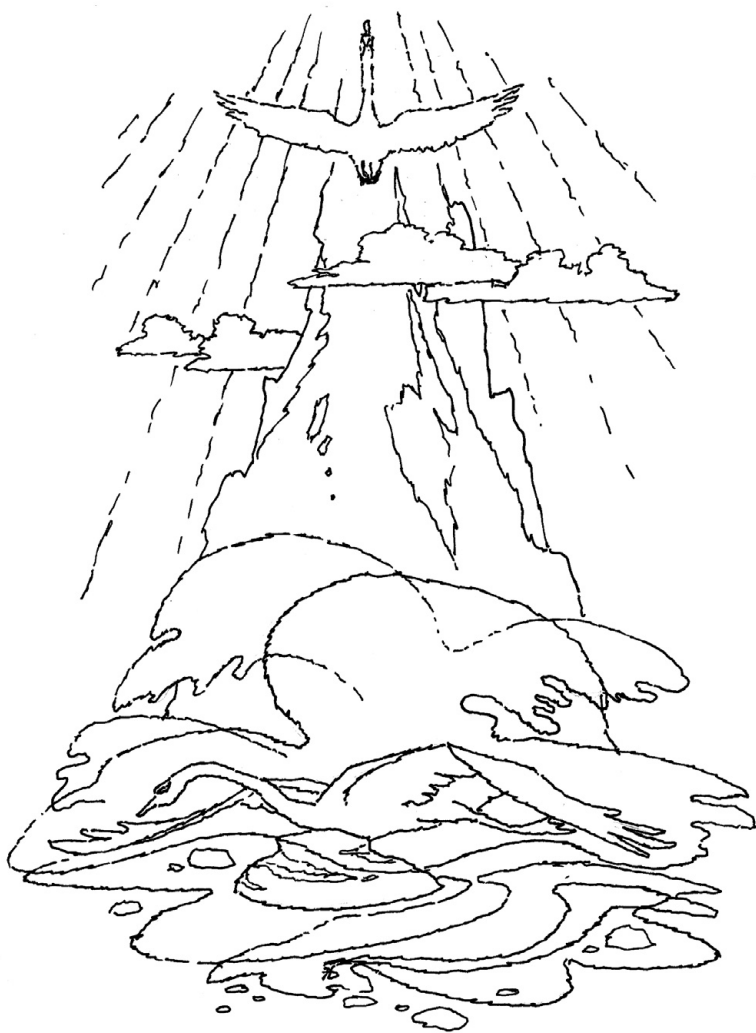


да, торопили, грозили закрыть и выставить его, художника Сергея Калмыкова, «выставить тело на улицу». Она упросила таксиста, простой оказался мужик, и лестно ему, что везёт певицу в оперный театр, пусть и зарёванную! Туда и поехала – в театр, нехорошо же, что никого нет, какой-никакой автобусик бы, чтобы люди проводили... Но там никого из начальства не нашла – праздник, а таксист ходил за ней следом, ему интересно, кажется, до сих пор ни разу он в оперном и не был. В зале репетировал оркестр, ей вспомнилась калмыковская картина «Оркестровая яма», кто-то из них останется в этих сине-серых мазках... навсегда. Она сказала им о Калмыкове, с кем-то из них он даже общался дружески... или нет?

– Ре-пети-ция-а? – переспросил тот мужчина, таксист. Он даже, видно было, и не понял до конца, тугодум попался, постоял, посмотрел, ровно загнипотизировать хотел, или что-то для себя запомнить. – Артисты! Да ведь вы же люди? Или как?

(...) Они ехали назад под дождём, мотался «дворник» по стеклу, сгоняя струи воды, мотал головой таксист и всё молчал. Она что-то говорила, рассказывала о Сергее Ивановиче, он его, конечно же, видел на улицах и наверняка удивлялся, а то и вертел пальцем у виска, но теперь молчал. И когда ехал следом за катафалком, тоже всё молчал. У самого кладбища оказалась ещё одна сотрудница, она ждала с маленьким букетиком луговых фиалок, мокрым уже и будто съёжившимся, но голубая фиолетовость соцветий казалась удивительно тёплой. Мы купили ещё веноч здесь же. Тот таксист с другим водителем-шофёром и помогли нам проводить его. «Хороший был (хоть) художник?» – спросил кто-то из них. «Очень. Он говорил, сам говорил и знал, что гениальный...». «Что ж, всё может быть». (...)





КОГДА НЕ ПИШЕТСЯ ПРОЗА

Остров Готланд многие века был началом (или концом?!) знаменитого торгового пути «из варяг в греки», так что к разноречью голосов жители его привыкли издавна. Теперь это ещё и разноречье голосов поэтических, художественных – переливающихся друг в друга и сливающихся в единый поток человеческой культуры. Сама атмосфера Висбю, с его древними крепостными стенами, с его храмами, скалами и морем, располагает к мирному общению и осмыслению жизни и целей её...

Здесь и прозаики порой обретают ритмический голос, который так естествен в посвисте ветра, рокоте волны, шелесте листьев... И девичьем смехе, не нуждающемся в переводах.

К ВИСБЮ

Наверное, когда-нибудь - лет через триста -
я вновь проснусь, и сквозь белёсый свет
смежённых век
опять узнаю берег каменистый
и морем выплеснутый тихий Висбю...

Здесь можно жить с закрытыми глазами:
лишь слушать ветер, волны и песок,
да камень жёстко ощущать ногами -
тот скальный камень, что основой граду лёг.
Но не о том...

Здесь столько языков звучало,
что познаёшь цену молчанью.
Здесь путь конечный - путь начальный,
где путник - утомлённый и печальный -
домой спешит. Но там, где избы
в полынном облаке горчайшего дурмана
уже от нежности устали и любви,
его во сне опять зовёт дорога
и камни Висбю, чары Висбю, девы Висбю...

Мне память...

 память морок нашептала,
и вспомнил я... вспомнил! - тот вкус
 можжевеловых ягод, их терпкий
 оскоминный вкус -

*Висбю — древний центр о. Готланд, начало пути «Из
варяг в греки».*



меня возвращает к началу,
где Один судил - не Иисус.

Где воины, павшие в битве,
в Вальгалле
у хладных костров
застыли немym ожиданьем
в потомках проявленных снов.

Но сны - что же сны? -

маскарадны,

как жизнь на краю бытия:
так берег уходит туманный,
крик чайки последний, прощальный...
Не знаю - где сон, а где явь...

.....

НА ФОРЁ

Заметки на полях.

Памяти Андрея ТАРКОВСКОГО

Я в фильм попал. И свой снимаю фильм.
Суrowый фильм

по-бергмановски медлен

и горек,
как черемша - чеснок природы дикой.
Там овдовевший лебедь

бьёт крылом волну...

* * *

Любовью моря истощённый камень:
угрюмые любовники

волны

на берегу застыли в ожиданьи.

Форё — островок возле о. Готланд (Швеция), где ныне дом живого классика мирового кино Ингмара Бергмана, его к/студия и киноархив. Здесь А. Тарковский снимал сцены своего последнего фильма «Жертвоприношение».



Не так ли я - утрачивая -
запоздало учился нежности...
Но вновь вернуть её
уже не мог.

* * *

Мы много говорим...
Не помня,
что и железо стирается,
и камень - песком сочится,
а суетное слово слышится медяшкой,
под ноги брошенной.
Лишь ветра свист
да грома выстрел тяжкий -
вне времени - имеет смысл.

* * *

Я ухожу. И вот уже матросы
швартовы отдали.
И берег суши
махнул в тумане мельничным крылом.
И призраки слетелись
на паром:
По мою душу?..

.....

Visby, Gotland,
August, 2000 y.

СНОВИДЫ

Вы – живы – там? –
Вы – помните – меня:
погрязшего
в забвеньи многая
веков далёких –
Я-был - Я-нет - Я-есть –
Я - буду:
но - тогда-когда –



звон
 колокола
погрузится
 в море (...)

* * *

уже не кровь
 в тебе:
в Тебе –
- Время:
- с глазами – тех –
 - ушедших -
 - шелестящих
твоими снами.

* * *

Сон: без памяти:
лишь шорох
 ощущений –
собачьего
 языческого взвизга:
от:
радости-печали
 Ожиданья –
Прихода твоего (туда?-к-нему?):
 заждался видно
и
хвост его –
 по темени колотит
и
замирает:
 остановка сердца
нашего ^^^^----.

* * *

Сосна –
сословная сожительница
Рыбы



и Тигра
 с Гарпией –
какой баланс иль синтез
или:
кровосмешенье
это – Я:
Сон уходит –
с потным криком
 сквозь запотевшее стекло
окна
уходит: в рык прибора –
с пеной
 на песке бесследном

* * *

Читайте
 Хлебникова,
господа, –
и не говорите, что вы
 новаторы;
и Вийона откройте,
сударь,
или Парни:
пристало ль кичиться
 "свободой выражений";
к Баркова стиху обратитесь,
дурнословцы,
и не пижоньтесь –
 цинизмом;
в Босха взглянитесь,
умники, –
и не пугайте меня –
 "авангардом";
и Полоцкий,
как Мосх еще во время Оно
стихами составлял фигуры;
а цвето-смерчи
Ван-Гога



и ныне возносятся к Богу;
хоть
Гойи
листы обнажите –
и оглянитесь на зеркало:
"Капричос" –
перевожу я на русский –
уроды...
мы – лишь продолженье...
(лишь строчка
криво написанного
стихотворенья...)

* * *

ни мудрости,
ни знания, ни песен:
всё сквозь –
и – в пролёт...
всё в промельк

ПОЧТИ РОМАНСЫ

Шёпот мужчины

Подарила б ты мне
Одну ночь при луне...
За одну эту ночь
Все года мои – прочь...
Но и без той луны,
(Пусть за тучей она,
Иль, ещё не созрев,
Не восходит из сна),
Был бы счастлив я, коль
Нас сокрыла бы тень...
Утону и забуду
Дороги и день...
Среди стонов, и слез,
И размётанных кос...



Крик женщины

Куда ж ты уходишь?
За чем ты бежишь?
Зачем же ты мною
Не дорожишь?
Ведь было – «навек»...
Ведь было – «люблю»...
Но тень твою в смехе
Ночном я ловлю.
И – тоже смеюсь:
Не смеясь – умирать.
Пуста, обезсмысленна
наша кровать,
С которой в ночи ты,
Как тать,
- удирать...
Иль все это – сон,
И во сне я одна?
Но он слишком долог,
А ночь холодна...

* * *

кипят во мне
и
льдом кровавым
оседают на дно –
чего? – души? – сознания? –
непознания? –
недознания -
их боли:
всех... кого "спасают",
сжигая,
чьих детей
сшибают лбами,
выбивая -
искру властишки,
звон монет
иль ладошный грохот...



но однажды
молнию получишь,
пепелящую
и воду, и огонь,
и трубы медны <>

* * *

Туман седым покрывалом
покрыл
цивилизованный ад
и снова: как будто –

начало:

с усмешкой

глаза глядят –

оттуда, из занебесья:

на страхи
и на топор,
что так же,

как повелось со стариц,
всё рубит тот самый сук...
затихло в туманном подлуньи,
лишь стук
топора
да шорох твоих ресниц

* * *

На Россию
опять ложится
кровавым потом туман:
на песенно-белые ситцы –
очередной обман.
Теперь и шептаться

устали,

потребны опять –

вождь и кнут...

сраму – в нищете и

печали –

вновь «мёртвые не имут»



ИСХОД-НАШЕСТВИЕ

Мчатся

кони и люди:
с Востока на Запад.
с Восхода – на Закат
гнётся земля,

что медное блюдо:
женщины – дети – верблюды
несутся с Востока на Запад.
Ветер ли гонит,
иль Время,
или Голода наважденье,
а то и проще –
Тоска по Движенью
тянет за Солнцем
к стремени стремя:
за Солнцем,
что – ещё –
пока –
греет.

* * *

Окаменелость головы
(своей? былой? иль будущей?)
нашёл в заветрии залива
Fore
(или по-русски – Форё),
где стонут статуи,
изваянные морем
и ветром,
суровости которых
не оспорить...
им – каменным – отсюда
не уйти,
а мне – пока живому –
не остаться^^^.



* * *

Артистам «Другого театра»,
играющим в туниках
Перед зрителями в шубах
Я, возможно,
умру,
холодея
в заманчивой позе.

* * *

...И нежность тайную лелея,
Своим годам гляжу вослед...
Тень женщины в конце аллеи
Мне не догнать,
и лишь привет
Шепчу в вороньем тёмном грае.
Но...
Скрипка полонез играет.
Прощальный –
Не о чем жалеть!..

* * *

Мне приснились глаза Востока.
Раскосые, печальные, ночные –
Как вишни, чернюю налитые...
И краб в горячем солнечном песке –
Подарок грусти Такубоку.
Поэт с участием протянул мне руки,
Как будто звал в далёкие моря.
Мы говорили. Нет, не о разлуке –
О встрече на туманных островах.
И Юко...
Да, конечно ж – Юко:
Из сна – его иль моего? В тоске
Золотопёрой рыбкою мелькнула.
Волна и краб. Да иероглиф на песке,
Который мне уже не прочитать.



Может, ждёт там
Вторая коней перемена...

~~ ^^^-----

Конь твой зол и устал,
в землю ключьями пена.

И над пропастью алой
На дыбы не поднять,
И секунд не унять
Торопливый аллюр.
Но поверь – это только Начало...~~~~

ТРИОЛЕТЫ

А.Д.

1.

Уходят: детство
и отцы,
как первые влюблённости, –
уходят.

Но не вини себя, не стоит.
Уходят: детство и отцы –
у времени свои законы:
звонят колокола, и к вечности
звон их восходит.

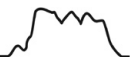
Уходят детство и отцы,
как первые влюблённости, – уходят...

2.

Топаза тихий жёлтый свет,
и серых глаз тревога:
прозрачность чайний
и тяжкий Дар –
от Бога.

Топаза тихий жёлтый свет:
как отражённая дорога –
луны в воде
и мысли полубред.

Топаза тихий жёлтый свет.
И серых глаз тревога...



Содержание

Следы на воде	3
Звериными тропами	71
Дорогой мечты	197
Путь мастера	231
Когда не пишется проза	288

Литературно-художественное издание
серия "Библиотека Калининградского ПЕНа"

Вячеслав Карпенко

ПРИДОРОЖНИК
Повести, рассказы

В оформлении использована графика
С. Калмыкова, Н. Джугана.
Портрет В. Карпенко
работы Б. Липовецкой (1969 г.)

Редактор, корректор - В. Голубев
Макет, верстка - А. Попов

Бумага офсетная, гарнитура - JournalSans,
печать цифровая
Тираж - 500 экз

Отпечатано в типографии
Калининградского ПЕН-центра
в рамках проекта "Балтославия"